

ГОЛОСА РЕВОЛЮЦИИ

БЫЛОЕ

ЖУРНАЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ИСТОРИИ
ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ



1926, №3 (37)

„БЫЛОЕ“.

Издаю журнала „БЫЛОЕ“, прекращенное „навсегда“ судебным приговором, возобновляется съ 1 июля 1917 года.

Редакторы: В. Л. Бурцевъ, В. В. Водовозовъ, П. Е. Щеголевъ.

Издатель: Н. Е. Парамовъ.

Журналъ посвященъ исторіи освободительнаго движенія. Выходитъ ежемѣсячно книгами 19—20 печ. листовъ.

Предполагаемый составъ ближайшихъ книгъ:

Воспоминанія: А. М. Александрова, М. Ю. Ашенбреннера, В. Л. Бурцева, В. А. Жданова, В. И. Юхельсона, П. А. Крапоткина, С. Кливянскаго (тов. Максима), А. А. Лопухина, I. Д. Лукашевича, И. И. Маинова, В. А. Маклакова, Н. К. Муравьева, Л. Ф. Пятельева, Г. В. Плеханова, М. В. Родзянко, Б. В. Савинкова, В. Н. Фигнеръ, Н. В. Чайковскаго, Л. Штейнберга.

Статьи: С. С. Анисимова, В. Л. Бурцева, С. А. Венгерова, В. В. Водовозова, В. Евгеньева, А. Ф. Керенскаго, Р. П. Краинфельда, М. К. Лемке, А. С. Лыкошина, Е. А. Ляцкаго, В. Л. Молдалевскаго, Н. А. Морозова, М. В. Новорусскаго, П. Н. Перверьева, Н. К. Пиксанова, А. С. Пругавина, Н. С. Русанова, С. Г. Святикова, Б. И. Срезневскаго, Е. В. Тарле, П. С. Тютчева, В. Г. Чехихина, П. Е. Щеголева.

Письма и донесенія: Евно Азефа, А. Гаргинга, М. Гуровича, С. Зубатова, А. Красильникова, Л. Ратаева, П. Рачковскаго; воспоминанія заслуженныхъ филеровъ.

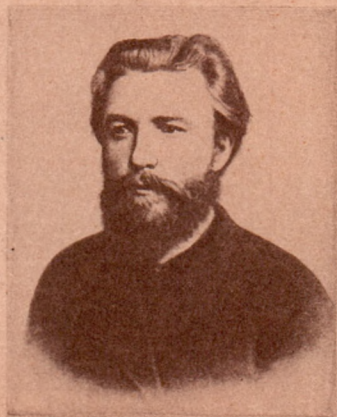
Материалы: Процессы: 1 марта 1887 г., В. Л. Бурцева въ Лондонѣ 1896 г., Ив. Пл. Каляева, Зинаиды Коноплянниковой; дѣло семи повѣшенныхъ; дѣло 1 марта 1881 г. — неизданные документы, двѣ записки Н. И. Кибальчича о его воздухоплавательныхъ аппаратахъ, съ замѣчаніемъ Александра III, и т. д.; дѣло с-д. фракціи 2-ой Государственной Думы 1907 г.; дѣло Малиновскаго; письма Столыпина къ Николаю II; Николай II и Вильгельмъ II (по документамъ); Николай II и Столыпинъ въ финляндскомъ вопросѣ; убійство Гр. Распутна, по официальнымъ даннымъ; полиція русская и берлинская о русскихъ революціонерахъ; дѣло фрейланы Васильчиковой; дѣло Е. Ф. Числовой.

Подписка принимается на полугодіе (іюль—декабрь 1917 г.)—15 руб. (до 1-го сент. 1917 г.). На три мѣсяца (іюль—сентябрь 1917 г.)—8 руб. (до 1-го сент. 1917 г.). Цѣна отдѣльной книги—5 руб.

Адресъ Редакціи и конторы — Петроградъ. Литейный, 21, кв. 16, тел. 26—69.

Контора открыта ежедневно отъ 10 до 4 час.

Редакторы принимаютъ по вторникамъ и пятницамъ (кромя праздниковъ) отъ 4 до 6 час. дня.



ГОЛОСА РЕВОЛЮЦИИ

БЫЛОЕ

**ЖУРНАЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ИСТОРИИ
ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ**

1926, №3 (37)

63.3(0)5
Б95

Составитель *Ф. М. Лурье*

Редактор *Ю. В. Артемьева*

Б 0503020000—132
М 171(03) 19—91
ISBN 5-289-01021-1

© Ф. М. Лурье, составление, вступительная
статья, комментарии, 1991

СОДЕРЖАНИЕ

В. Панкратов. 1 марта 1881 г. (Доклад, читанный в Музее Революции 1 марта 1922 г.)	4
В. Винберг. К биографии Н. В. Клеточникова (Письмо В. К. Винберга)	12
С. Коц. А. И. Желябов (Воспоминания товарища по гимназии).	14
М. Паозерский. Справка о Н. И. Кибальчиче	16
А. Фрейденберг. Памяти Петра Филипповича Якубовича-Мельшина (По поводу пятнадцатилетия со дня его смерти).	17
Д. Якубович. Пять писем П. Ф. Якубовича.	24
В. Евгеньев-Максимов. М. Е. Салтыков-Щедрин в его переписке с Н. А. Некрасовым (По неизданным материалам).	30
Ел. Коц. «Контрабандисты» (Воспоминания).	42
П. С. Ивановская. Боевая организация (Из воспоминаний). Окончание.	51
А. Емельянов. Ростовская коммуна 1905 года.	70
В. А. Бальц. Суд над первым Советом рабочих депутатов (Воспоминания прокурора). Окончание.	80
Конст. Шохор-Троцкий. К юбилею отлучения Толстого	105

БИБЛИОГРАФИЯ. Модзалевский Б. Л. Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 годах. М., 1925.—Троцкий И. М. Сергей Гессен. Декабристы перед судом истории (1825—1925). Л.—М., 1926.—Гессен С. Я. Б. Кубалов. Декабристы в Восточной Сибири. Иркутск, 1925.—Шебунин А. Н. Революция 1848 г. во Франции (Донесения Я. Толстого). Л., 1925.—Горбунов М. М. П. Сажин (Арман Росс). Воспоминания. М., 1925.—Фомин А. Г. О. Э. Вольценбург. Библиографический путеводитель по революции 1905 года. Л., 1925.—Николаев-Бергин Н. М. Русская сатира первой революции 1905—1906. Л., 1925.—Шатилова Т. К. В. Базилевич. Очерки по истории профессионального движения работников связи. М., 1925.	106
--	-----

ПРИЛОЖЕНИЕ

П. С. Ивановская. Дело Плеве (Из воспоминаний). Начало.	127
---	-----

ПРИМЕЧАНИЯ.	160
---------------------	-----

В. ПАНКРАТОВ

1 МАРТА 1881 г.

(Доклад, читанный в Музее Революции
1 марта 1922 г.) *

Прошел уже 41 год с тех пор, но память об этом знаменательном событии жива и по сие время. Убийство Александра II Исполнительным Комитетом партии Народной Воли было пророческим показателем для дальнейшей судьбы царского строя и царской власти. Этот акт устранения главы государства, которого не могли спасти никакие охранители, доказывал то, что царская власть в стране должна была или измениться, или перестать существовать, уступив место другой власти, но какой? Это вопрос, на который должна ответить сама самодержавная власть, гноившая народ в невежестве и рабстве не одну сотню лет.

Да, это было 41 год тому назад, но пережитое живо и ясно сохранилось в памяти. Был ясный морозный день — воскресенье. Я в то время жил за Невской заставой на Стеклянной ул. в деревянном домике у своего знакомого — Федора Пешехонова, с которым мы вместе работали на заводе бывш. Семянникова, в механической мастерской, в качестве токарей.

Мы сидели и пили чай, ничего не подозревая. Вдруг входит мой знакомый, — он ходил в Невскую лавру к поздней обедне, а потом куда-то к приятелю. «Знаете, государь убит или тяжело ранен бомбою», — сказал он взволнованным голосом. — «Где? Кем? Когда?» — засыпали мы его вопросами. — «Ничего не знаю. На улицах какое-то особое настроение». — «Это, наверно, народовольцы... Исполнительный комитет убил», — флегматично

пробормотал дядя Федор — старик слесарь, молчаливый и угрюмый. — «Надо сходить к Сашухе, быть может, он знает», — сказал я. — «Не ходи, Василий. Еще попадешься с кем-нибудь. Тайная полиция теперь, поди, носится повсюду», — отговаривал меня Федор. Он был всегда чрезвычайно осторожен, по словам же других, просто труслив.

Быстро одеваюсь и выхожу на улицу, волнуясь и думая, что, может быть, все это слухи или опять что-нибудь вроде взрыва в Зимнем Дворце¹. На улице, действительно, какая-то невидимая перемена. Идут люди, о чем-то разговаривают, но разговаривают почти шепотом, вполголоса и как-то странно озираются. Какая-то неуловимая перемена в настроении. Далее, полицейские, стоявшие на углах и перебрассывавшиеся прежде фразами с знакомыми прохожими, теперь как-то молчаливы и в каком-то выжидательном настроении. Наш район исключительно рабочих. В обыкновенное время — шумлив, болтлив и суетлив. У многих отношения к городским вполне открытые, если не приятельские, то во всяком случае отношения знакомых. Сегодня они как-то изменились. Встречаю двух рабочих с завода. «Слышал?» — тихо спрашивает один из них, и, не дождавись моего ответа, они быстро идут дальше.

Настроение и у меня напряженное, и жгучее любопытство палит мне нутро. Хочется знать все немедленно. Я в то время состоял в местном рабочем кружке, который имел довольно тесные связи с кружками других заводов. Все эти кружки посещались нелегальными народовольцами и чернопере-

* Печатается по рукописи автора без всяких изменений, за исключением незначительных поправок стилистического характера. — *Ред.*

дельцами. В старый арсенал на Литейной ул. ходил даже Желябов² под ключиком Тараса. Об его аресте мы еще не знали. — «Как это странно, — думаю я, — такое громадное событие, и к нам никто не пришел». Спешу к своим членам кружка. Одного не застаю дома. Другой еще в постели: он был в ночной работе и пользуется праздничным днем, потягивается. Он ничего еще не знает. Рассказываю ему, как слух. — «Ну-у! Поди, болтают зря. А ваш Федор мастак на этот счет. Знаю я его».

— Александр Иванович, к вам можно? Что случилось?

Влетела хозяйка квартиры моего приятеля: «Говорят, царя-то батюшку убили. Царица небесная! какой пошел ноне народ! Доконали-таки нашего государя злодеи», — поведала она.

— Ну, вы не очень-то, хозяйка, болтайте. Может быть, все это вздор. За болтовню попадешь с вами в каменный мешок. Вон городской идет, — сказал Александр Иванович спокойно, желая напугать свою хозяйку, страшную трусиху и монархистку.

— Что ты, Бог с ним, сердечным! Лучше уйду от греха, — пробормотала она и ушла.

— По-видимому, это не простая болтовня. Не придет ли сегодня Семен? Должен прийти, — сказал Александр Иванович и, вскочив с постели, быстро стал одеваться. — Если это правда, — нам надо что-то делать.

— Я пойду в Арсенал и на Васильевский. Там узнаю.

— Расходиться нам не следует. Ты подожди, — остановил меня Александр Иванович, — условимся вечером сойтись где-нибудь. У Гани, что ли? Может быть, какие дела придется делать.

— Он куда-то ушел. Пойду в город, там, наверно, уже все известно.

Условились, где вечером сойтись. На улице та же таинственная загадочность. Сажусь на проходящую конку. Пассажиров много. У всех на лице какой-то вопрос и не то испуг, не то недоумение.

— До смерти, говорят... в куски разорвали, — жестикулируя рукой, заговорил мужчина средних лет.

— И чего это полиция смотрела? Ее, как псов, много, а не усмотрела!

— А что она может сделать, если студенты забунтуют? Ничего не поделаешь. Захотели дворец взорвать — и взорвали. Студенты — народ дош-

лый, — возражал его сосед, какой-то торговец. — По-моему, все бы эти варнаситеты закрыть, вот и студентов не было бы. Одна только смута от них.

— Закрой, они пойдут на фабрики да на заводы. Ноне и заводский-то народ стал у студентов перенимать. Дворец-то взорвал кто? Столяр, а не студент. Мастеровой народ тоже в ученые лезет. И чего, подумаешь, им-то нос соваты!

Рядом сидящие сумрачно смотрят на болтающих торгашей и молчат.

— Чего болтать зря? Привыкли за прилавком молоть языком, — буркнул один из них и вышел из вагона.

На Невском сошел и я. Иду по направлению к Аничкову мосту. Небывалое многолюдство. Нет обычного оживления. Многие магазины закрыты. Публика идет, робко озираясь, как будто чего-то ожидая. Даже городские и околоточные стоят на постах в какой-то нерешимости. На проходящих по улицам они смотрят недоумевающе — не то хватать, не то самим удирать. По всему видно, что случилось что-то очень серьезное, большое, но боятся свободно разговаривать об этом. Даже извозчиков как-то меньше на улицах. На углу Литейного случайно встречаю своего сочлена по кружку Гаврилу. Он торопливо шагает домой.

— Ты куда? Не ходи. Пойдем домой, — говорит он, подавая мне руку. По тону и выражению догадываюсь, что он все знает. Мне кажется, что он знает даже больше. Он — старожил в кружке и старше меня лет на 5. Кроме того, у него сестра замужем за одним чиновником (сочувствующим Нар. Воле), служащим в одном из отделов экспедиции заготовления государственных бумаг. Этот чиновник — очень живой, любознательный и энергичный. К Гавриле он относился очень хорошо, брал читать у него нелегальную литературу, давал деньги на заключенных и вообще помогал. Но был очень осторожен и вел сношение только с Гаврилой.

— Конка скоро перестанет ходить. Сядем, — сказал Гаврила, направляясь к вагону. — Слышал? царь убит, — тихо прибавил он и замолчал.

Тогда телефоны еще не было. Сообщение было гораздо медленнее, чем в 1900-х годах. Правительство и полиция, по-видимому, прямо были оше-

ломлены событием и растерялись. До самого вечера никаких определенных распоряжений по городу дано не было. Никто не знал, что же делать? Ждать дальнейших событий?.. И как будто на самом деле ждали их со страхом.

Мы слезли с конки у Фарфорового переулка, что за Невской заставой. Здесь тогда сильно отдавало провинцией. Вечером выползали рабочие. Кто шел в трактир «Сан-Стефано» чайку попить, машину (орган) послушать, газеты почитать. Молодежь парочками разгуливала по улице взад и вперед, амуричная на свободе. Почтенные люди в летнее время сидели на лавочках у ворот и любовались малышами, копавшимися в песке у домов. В этот вечер на улице народу было мало. Но между прохожими — разговоры об убийстве царя. К вечеру обыватель как бы набрался смелости и свободнее стал рассуждать о том, кем убит. Фантазия работала без удержу. Говорили даже, что и наследник убит, а министры спрятались от страха. До вечера никаких распоряжений по полиции не было. Она очнулась только часов в 8 вечера и распорядилась закрыть трактиры и рестораны. Собирались было приказать службу по церквам.

— Но не знали, — какую же службу: панихиду или молебен, — пояснил мне Гаврило. — Говорят, царь не убит, а только тяжело ранен в нижнюю часть живота и потерял много крови. Но он жив и вряд ли долго проживет. Как же по живому служить панихиду? Да и молебен служить мудро, говорят — убит насмерть. От народа скрывают. Смятение большое в правительстве, как говорил зять. Ведь там у них, в экспедиции заготовления государственных бумаг, всё знают. Ждут еще взрывов и бунта...

После закрытия трактиров в 8 часов и улицы стали пустеть. В этот вечер мы напрасно просидели у Гаврилы, оценивая событие с разных сторон и ожидая вместе с обывателями дальнейших действий в том же духе и призыва к действиям с нашей стороны. Но к каким? К бунту и забастовкам на заводах и фабриках?

Если судить по тем настроениям и ожиданиям, которые как бы вдруг были созданы катастрофою, то можно сказать совершенно определенно, что очень немногие из обитателей Петер-

бурга спокойно переживали первые дни марта. Казалось, что все прислушивались молча, но трепетно, стоя перед жуткою загадкой — что же будет дальше? Чего ждать и с чьей стороны — со стороны ли правительства или со стороны Исполнительного Комитета, который для многих представлялся всемогущей, всепроникающей тайной силой. Разговоры шепотом, потихоньку, на эту тему возникли не только среди сторонников и противников Исполнительного Комитета, но и среди самых молчаливых, робких и равнодушных обывателей. И разговоры очень осторожные: первое время боялись и громко осуждать, и хвалить. Странной казалась такая осторожность со стороны враждебного лагеря: в обычное время он открыто и грозно высказывался против «скубентов»-бунтовщиков, против смутьянов-помещиков, которые будто бы мстили царю-батюшке за освобождение крестьян в 1861 г.; против «крамольников», «безбожников». Теперь такой обыватель был поражен и временно остановлен в своей слепой, неудержимой преданности и вере царю. Царю ли? Не царю, а силе, думалось мне: обыватель привык считаться и верить только в силу. Теперь явилась какая-то другая сила. Которая одержит верх, он не знал — и выжидал.

На следующий день, однако, — второго марта — правительство как бы спохватилось, освободилось от первого момента растерянности, стало делать вполне определенные распоряжения. Тайная полиция была пущена в действие. Стали хватать подозрительных лиц. По рабочим кварталам была не только усилена полиция, но установлены были казачьи заставы. За Невской заставой почти около самого завода Семяникова, точно по шучьему велению, появились вооруженные казаки с винтовками и пиками, под командою бравого офицера в шапке набекрень. Они останавливали не только всех пешеходов, но даже и конки, загоняя публику в наскоро устроенную канцелярию в одном из зданий, для проверки паспортов. Канцелярия была маленькая, а народу задержанного много, ибо дело было утром, когда рабочие шли на завод. Паспортов, конечно, у них не оказалось, вместо них они могли предъявить только свои заводские медные

номера. Задержано было нас очень много, и так как на нас были рабочие костюмы, то с нами и не особенно были вежливы: многим даже говорили на «ты».

— Здесь нас задерживают, не пускают на завод, оскорбляют, а на заводах будут штрафовать за прогул...— протестуем мы.— Пустите нас! Третий гудок просвистел.

— Не велики господа, подождете. Почисте вас ждут череду,— сердито и даже брезгливо проворчал один из казаков.

— Доложите офицеру, чтобы нас отпустили на завод. Пусть хоть казака и полицейского с нами пошлют, в конторе проверят — кто мы.

— Поговорите еще, — огрызнулся какой-то осовелый казак.

— Мы дело говорим...

— А этого вот хошь?— показав нагайку, сказал тот же казак.

— Ну, ты чего в свару полез,— вмешался другой казак, по-видимому, более толковый.— Наше дело: сказано — не пропускай никого, не пущай — и только, а свары не заводи.

Толпа все росла. Задерживали купцов, мелких торговцев, женщин, детей, дельцов всяких. Все ворчат, просят, умоляют.

— Меня пропустите к господину офицеру, по векселям надо нонче платить,— говорит круглый купец, протискиваясь к двери через толпу.

— Как же мне попасть к больному? слабый больной,— стыдливо бормочет врач.

— Бабоньки, когда же мы на рынок попадем,— голосят задержанные бабы с корзинками и кулечками.— Служивый, пропусти, ради Бога! У меня дома малые ребята остались, я только до булочной. Дома хлеба ни крошки и муки ни синь пороха...

— Сказано, никого не пущать,— и не проси. Стой и жди своей очереди,— отрезал стоявший городской.

— Да чего ж ждать, родной?

— Ишь, што наделали, басурманы... а народ страдай: мерзни здесь на холоду, в деле упущение. Наше дело торговое, иной раз и час тебе дороже месяца, в разор пустит. Взял бы я этих всех студентов, перепорол бы, а варнаситеты закрыл бы...— громко негодовал бородатый торговец в синей чуйке и в барашковой шапке.

Его поддерживали из толпы:

— Чего начальство с ними нянчится? На что они, эти студенты и сицилисты... только смута от них и убыток, а простому народу беспокойство.

— А вы уже знаете, что все это студенты! Кто это вам сказал? Почему же нас-то с вами здесь держат? Ловили бы студентов возле вашего «варнаситета»,— язвительно возразил один из рабочих.

— То-то и оно-то, что не одни студенты,— вмешался городской.— Ваш брат рабочий ноне тоже пошел в студенты. Говорят, в это дело замешан мастеровой, не то кузнец, не то шут его знает, какой. Тоже бунты затевать.

Возле городского стала собираться кучка любопытного народу. Со всех сторон сыпались вопросы, что, да как, да кто.

— А царь-то батюшка жив, аль помер?— тихо спрашивали его.

— Скончался... куда там жив, коли все внутренности вырвало.

— Ах, окаянные! Царство ему небесное, принял мученическую смерть... И за что? За свою доброту,— посыпались сожаления со стороны стоявших женщин и мужчин.

Между тем толпа не уменьшалась, а все росла, потому что начальство, устроившее импровизированную пропускную канцелярию для проверки паспортов, не приступало к таковой, а чего-то ждало. По-видимому, агентов тайной полиции.

Ропот в толпе рос. Критиковали и распоряжения начальства, ругали и студентов, и крамольников всяких, и даже рабочих. Последние отражали нападение, обвиняли нераспорядительное начальство.

— Какое это распоряжение? На что оно? Только народ от дела отрывают. А толку никакого!— ворчал один.

— Твое дело молчать. Тебя сделать начальством? То-то много толку бы было!— оборвал его другой.

— С тобой не говорят.

Поднялся шум, почти ссора.

— Не шуметь!— скомандовал подошедший казак.

— Да отпустите же нас на завод, наконец!— кричим мы.

Но получаем категорический отказ.

Вскоре появилось несколько каких-то темных личностей в штатском платье; подойдя к одному из казаков, они что-то тихонько сказали ему. Тот указал им на входную дверь в канце-

лярию, куда они и направились, протискиваясь сквозь толпу.

— Куды прете? Здесь пораньше вашего пришли, да ждут,— сердито говорим им.

— По делу...

— Не разговаривать! Пропущай!— крикнул казак повелительно.

Это были тайные агенты полиции — иначе, шпионы — и два дворника. Они были присланы, как потом оказалось, сыскным отделением узнавать каких-то лиц.

Только с их приходом и начался пропуск, но очень медленный.

Мы посмотрели на громадную толпу, которой и половину не успели бы пропустить, и решили пойти домой. Приближался обеденный час.

— Вы куда?— остановил нас казак.

— Домой. Чего нам ждать?

— Пусти, земляк. Это наши, семяниковские, мастера, — сказал казак подошедший старший городской, часто дежуривший у ворот завода.

Вслед за этим стали уходить и другие. Но вскоре из канцелярии появился пристав и приказал никого не отпускать, однако нас не вернули. Мы разбрелись по своим квартирам, решив не выходить на работу и после обеда, полагая, что все равно опять не пропустят, и надеясь, что контрольные заставы будут же сняты, как бесполезные и даже вредные.

Петербургская охранка сгоряча, очевидно, прибегла к этой мере, рассчитывая при помощи ее поймать некоторых революционеров, ускользнувших от нее, покинув свои квартиры. С целью поимки их были подняты на ноги швейцары, дворники и управляющие домами. Кому же, как не им, знать в лицо исчезнувших революционеров, кому же, как не им, прежде всего, надо знать в лицо жильцов дома и посторонних лиц, к ним приходящих. В это время уже было обнаружено, что владелец сырной лавки на М. Садовой Кобозев³ с женою и молодцом скрылись, бросив лавку и даже будто бы оставив управляющему домом записку и деньги. В этой записке скрывшийся Кобозев писал, что деньги оставлены для того, чтобы уплатить в мясную лавку за мясо, доставляемое для kota. Покинутая лавка оказалась удобным местом для ведения подкопа, чтобы взорвать царя, когда он поедет по этой ули-

це. Народное воображение, падкое на всякую таинственность, еще от себя прибавляло почти сказочные подробности. Самого Кобозева в обывательской среде считали одним из ближайших лиц к царской семье. С ним связывали вел. кн. Константина Николаевича, брата Александра II. А Исполнительному Комитету народная молва приписывала чуть ли не обладание чем-то вроде «шапки-невидимки». И с каждым днем создавались всё новые и новые басни.

Благодаря заставе мы прогуляли целый день, но наша заводская администрация сама догадалась обратиться куда следует с ходатайством о том, чтобы мастеровых и рабочих, предъявивших свои заводские номера, пропускали на заставах без задержки.

Когда на следующий день я пришел в свой токарный цех, здесь уже шли совершенно открытые разговоры об убийстве царя. Рабочие-монархисты, не скрывая своего негодования, беспощадно громили Исполнительный Комитет, не имея о нем никакого понятия. Ругали студентов, дворян-крепостников.

— Это они все смутьянят,— говорили они.

— Много вы знаете... Туда же рассуждать! Ох эти языки!— оборвал их токарь Зубков, человек очень умный, передовой рабочий, но чрезвычайно осторожный. Как токарь, он был хорошим мастером, не любил хвастунов и плохих работников, хотя всегда готов был выручить каждого. За это рабочие его уважали, прощали ему его слабость — придирчивость и желчность, когда он был пьян. А пил он запоем. Радикальный народолюбческий кружок за это и не посвящал его в свои дела, хотя некоторые и говорили, что хорошо бы привлечь его, как человека, к мнению которого прислушиваются рабочие.

— Спьяна-то он Бог знает что может наговорить; провалит еще всех,— протестовали более осторожные и предусмотрительные.

Событие первого марта повлияло на него как-то особенно. Он как будто стал бояться и за дальнейшее развитие революционного дела, и за возможность усиления притеснений и насилий со стороны правительства. Когда он слышал те или другие разговоры на

эту тему, то непременно старался обогреть. На заводе таких, как он, было немало, но тем не менее «суждение» шло на все лады, благодаря ходившим легендам.

— Говорят, под Троицким мостом нашли мину,— сообщал старик строгальщик, подойдя к кучке рабочих, собравшихся на чаепитие у железной печки.

— Старый, а дурной,— оборвал его Зубков,— и чего ты-то мелешь? В каменный мешок захотел?

— А ты словно белены объелся: чего ты на всех набрасываешься,— отрезал молодой высокий парень.— Не любо — не слушай.

— Гвоздем бы я вам языки прибил...

В это время подошло еще несколько человек. Один из них сообщил, что в числе убитых царя замешан и один рабочий — Тимофей Михайлов⁴.

— Э, да это наш Тимоха, котельщик. Я его знаю. Я с ним работал у Голубева, — почти закричал молодой бабистый токарь, прозванный «Бородавкин» за свой густой бас.

— Договорились! Убирайтесь от станка прочь! Чего тут собрались? Трактир вам тут? Убирайтесь к черту! — набросился Зубков, гоня собравшихся. Нервно поставив чашку с чаем на ящик, он принялся за работу.

— Убирайтесь от станка, не мешайте работать! Мастер идет,— прибавил он, и все, кроме «Бородавкина», бросились по своим местам.

— Ишь, словно мыши, разбежались,— пустил им вдогонку Зубков.

На самом деле никакого мастера не было.

— А ты свой язык-то прикуси,— тихо сказал он «Бородавкину». — Народ-то ведь какой: пойдет болтать, смотришь — и притянут. Почему ты думаешь, что это тот Тимоха Михайлов?

«Бородавкин» рассказал ему, что ночевал у одного из своих знакомых токарей из Арсенала, и тот ему сообщил об аресте Михайлова, затем еще какого-то рабочего из Арсенала и об аресте «Тараса», нелегального (кличка Желябова).

— А Николку еще не забрали? — желчно спросил Зубков о своем земляке, работавшем в Арсенале⁵.

«Бородавкин» ответил незнанием и отошел к своему станку. Зубков продолжал ворчать и ругать болтунов.

Проходил день, другой, кружок на-

родовольщев-рабочих был озабочен тем, что же ему делать. Первые дни после первого марта почему-то из руководителей-нелегальных никто не являлся. Прокламация, выпущенная Исполнительным Комитетом «Народной Воли», была получена рабочими группами только на третий день. И из нее нельзя было заключить, что же должны делать рабочие революционные кружки. Некоторые ожидали, что будет призыв к забастовкам и демонстрациям рабочих, чтобы поддержать требования партии «Народной Воли». Особенно такое настроение наблюдалось в революционных кружках старого Арсенала, на заводе Голубева, за Невской заставой и на патронном заводе. Здесь некоторое время рабочие упорно ждали призыва. Они чувствовали и думали, что им как-то надо отозваться на такое большое событие. Но по привычке ждать распоряжения или указания сверху сами они ничего не предпринимали, ни в чем не проявляли инициативы. Помню разговор арсенальских рабочих с невосми.

— Мы только собираемся да болтаем. Надо дело делать,— упрекнул один из токарей.

— А прокламации кто распространяет? — перебил его другой рабочий.

— Надо сговориться, чтобы действовать согласованно, а не вразброд. Исполнительный Комитет призвал бы нас, если бы это нужно было. Он лучше знает, а мы что? Ничего не знаем.

— А если призовут? Что ты будешь тогда делать?

— Что укажут, то и буду делать. Делали... Небось, руководителей пришлют, как прежде. Если самого царя сумели взять, то бунты-то устроить и подавно,— так рассуждал ткач с Калининской фабрики, горячий, но мало развитой парень, зато без оглядки верующий во всемогущество Исполнительного Комитета, кроме того, уже переживший бунт на фабрике в семидесятых годах.

— Наш Ванюха всегда горячится и преувеличивает. Холодной воды на него,— заметил слесарь из механической мастерской Гаврила, большой приятель ткача.— А ведь я, право, не знаю, что мы могли бы сделать, если бы Исполнительный Комитет нас позвал... Ведь нас всего кучка, а народу много, как его поднять? Я часто над этим ду-

мал. Каждый из нас конечно, может сам что-нибудь сделать, ну, бомбу бросить... А тут надо не то.

— То-то и оно, что не то, потому что мы не знаем — что, Комитет нам должен указать, тогда будем знать и сумеем. Народ поднять — поднимем, надо только знать, чего добиваться, чего требовать. А так, зря... только народ губить. Комитет не таков...

— А ты думаешь, даром пройдет?.. Погибать-то непременно придется кому-нибудь.

— Но не без толку.

— Все это споры впустую. Комитет не зовет, значит, не надо, сколько бы мы тут ни говорили, — заметил рассудительный Гаврила.

— По-твоему, значит, и нельзя обсуждать? Чай, мы живые люди, — обиделся один из рабочих.

Гаврила запротестовал против такого неверного истолкования его слов.

Чрез несколько дней мне пришлось отправиться на Васильевский остров к знакомым рабочим из революционных кружков, где была возможность узнать хотя что-либо о намерениях Исполнительного Комитета. Но и здесь рабочие находились в таком же неведении, как и в нашем районе. Правда, прокламации имелись и здесь. Но и только.

На некоторых рабочих это действовало довольно плохо. Поведение Исполнительного Комитета истолковывалось весьма различно. Одни объясняли молчание партии как признак подготовки к дальнейшим, и более грандиозным, действиям. Это толкование совпало с широким обывательским ожиданием. Благодаря ему по городу ходили невероятные слухи и догадки. Шепотом говорилось о том, что под весь Зимний дворец подведены мины, что вокруг Аничкова дворца тоже ведутся подкопы, что среди певчих царской капеллы есть люди, которые вооружены особыми маленькими бомбами, чтобы бросить их в Александра III во время похорон Александра II; что даже подо льдом Невы заложены адские машины. Словом, фантазия народная творила всякие страхи и планы, каких, конечно, у Исполнительного Комитета и не было. Подобные разговоры по городу шли во всех уголках и на все лады.

Правительство, растерявшееся в первое время, но затем оправившееся,

совершенно увлеклось «ловлею» членов Исполнительного Комитета. Несомненно, оно в этом имело успех, благодаря малодушию Рысакова и случайностям. Но оно совершенно упустило из виду ту глубокую почву для агитации, какую создал факт убийства Александра II. Оно совершенно не учло вредных для себя последствий таинственности арестов и всей обстановки события. Да оно, пожалуй, и не могло ничем ослабить этого впечатления и не сделало ни одной умелой к тому попытки. В умах населения таинственность арестов только еще более увеличивала веру в Исполнительный Комитет. Народ верил, что первым марта дело не кончится, народ ждал чего-то еще более грандиозного. Народная темнота и невежество помогали тому. Даже праздная болтовня и ругня крамольников-социалистов в устах неразвитых лабазников служила во вред царской власти. Лабазники уверяли, что все это — дело рук дворян и студентов, но им указывали, что Тимофей Михайлов вовсе не дворянин и не студент, он простой рабочий — котельщик и крестьянин Смоленской губ.

— Ну, это уж какой-то шалый или подкупленный дворянами, — объясняли лабазники.

На это им приводили такие возражения:

— А тот, кто взорвал Зимний дворец, разве студент или дворянин? Тот был столяр. Да столяр-то какой! Краснодеревец! А тот, которого повесили недавно, Пресняков⁶, — тот тоже был рабочий-слесарь.

На конках часто слышны были разговоры на эту тему.

— Как там ни говори, а это дело не простого народа, простому народу тут нечего делать. Царь-батюшка, царствие ему небесное, для простого народа много добра сделал, — ораторствовал один из пассажиров.

— А вот, поди ты! В это дело все же какой-то мужик затесался, — слабо возражал ему сосед в засаленном черном пальто и в шапке с бобровым околышем.

— Поди, сдуру или спьяна. А то подкупили, поди... — пробурчал первый пассажир.

— Подкупили! Скажут — подкупили! Поди-ка, тебя подкупишь на такое дело? Ну-ка, скажи, ты пошел бы,

а?— вмешался сидевший рядом пассажир, здоровый мужчина с рыжей бородой, одетый в черное пальто не первой свежести.— Нет, тут что-то неспроста.

— Меня чего подкупать... Я и не пойду... наше дело торговое,— как-то нерешительно возразил ему торговец.

— То-то торговое... На Малой-то Садовой тоже торговали сыром... Скажешь, и их подкупили... Всех подкупили. Их дело было тоже торговое...

— Наше дело маленькое. Мы народ необразованный, ничего не знаем... Я что, так себе. Все говорят, ну, по глупости и по необразованности нашей обмолвишься,— смущенно и даже испугавшись, пробормотал первый торговец. С испугу он даже перекрестился и произнес: — Господи, прости мое согрешение.

— То-то оно и есть, что мы ничего не знаем. А кто виноват? Ты вот и рассуди. Оно и окажется, что подкупы-то тут и ни при чем. Допреж надо подумать, а потом говорить — подкупили. Ан дело-то выходит не так.

Вагон конки был полон пассажиров. Ближайшие соседи молча слушали эти рассуждения. Но в этом молчании было что-то своеобразное, редко наблюдаемое. Такие рассуждения можно было наблюдать на улицах, на конках, в трактирах. Что же говорилось в домашнем кругу, среди более или менее близких людей, даже не сочувствующих революционерам?

Сонная и застывшая мысль, разбуженная взрывом бомбы на Екатерининском канале, как бы проснулась и зашевелилась. Эта разбуженная сильным толчком мысль пытливно заползала туда, куда бы никогда не заглянула без этого взрыва. В рабочей среде такие разговоры иногда принимали более острый и даже ожесточенный характер, особенно — когда они происходили в интимном кругу. В те необычайные дни многие находились в состоянии какой-то заряженности, которая при случае разряжалась взрывом дикой грубости. Наш бас «Бородавкин» чуть было не сделался жертвою такого разряда.

Он сидел со своими приятелями в трактире и мирно вполголоса говорил на злобу дня. Хвалил Тимофея Михайлова за смелость и за отзывчивость.

— У Голубева на заводе он раз при-

грозил мастеру, что побьет его, если тот не бросит своей привычки грубо обращаться с рабочими,— рассказывал «Бородавкин», — а своего родного брата Григория чуть не убил за то, что тот, попав в тюрьму, оговорил некоторых.— Рассказывал и о Халтурине и о Преснякове:

— Это были настоящие социаллисты.— Рассказывал, как был арестован Пресняков, как он, защищаясь, ранил швейцара и дворника, бросившихся его арестовывать по приказанию переодетому швейцару растолковали, что он задержал не жулика, а честного рабочего-социалиста. Швейцар пожалел и даже отказался от награды, присланной ему будто бы самим царем, сказав, что если бы он знал, то никогда бы не вмешался...

Возле «Бородавкина» за соседним столом сидела группа рабочих из цеха сварочных печей, народ темный и забитый. Один из них, услышав слово «царь», привязался к «Бородавкину».

— И тебе царь помешал, ты тоже из таких,— грубо сказал он.

— Тебя не толкают, ты и не вздрагивай,— грубо оборвал его один из приятелей «Бородавкина».

— А ты что тут о царе говоришь?— вмешался другой сварочник.

— А почему бы нам и не говорить? Что царь — Бог, что ли? Такой же человек, как и все мы, грешные. Если бы был Бог, то не убили бы. А знаешь, за что его убили? Читал?— спокойно возразил «Бородавкин».

Сварочники на минуту почувствовали себя озадаченными и не знали, что отвечать. Но вдруг один как бы очнулся и, хлопнув по столу своим черным кулачищем, вскрикнул:

— Замолчи! Не моги!

— А ты здесь что? Околодок или пристав?— неосторожно ответил «Бородавкин».

Его слова заделали сварочников. Один из них вскочил и ударил «Бородавкина». Последний дал сдачу.

— Ребята, вот он — сицилист, против царя, против Бога... бейте их,— закричал первый сварочник. Его группа вскочила со стульев и бросилась на «Бородавкина». Кроме того, к ней присоединились и сварочники, сидевшие за другими столиками. Приятели «Бородавкина» вступились за своего, но так как их было очень мало, то «Бо-

родавкину» попало несколько сильных ударов, правда, и сам «Бородавкин» человек был здоровый, не оставался в долгу. Но ему все-таки жестоко попало бы, если бы содержатель трактира не вмешался и на помощь ему не пришли рабочие из других цехов.

— Уходите на улицу драться. Авось там всех в полицию заберут,— сказал трактирщик.

— Он против царя тут... против Бога!— шумели сварочники.

— А вы что, сыщики? Околодки, что ли?— говорили мастеровые.— Вам какое дело? Ишь, учителя нашлись! Поди, никто и грамоте не знает. Туда же — учить других!

Эти слова обескуражили некоторых сварочников, и свалка кончилась без крови.

Бомба, взорвавшая Александра II, убила царя, но она же разбудила мысль народа, ту мысль, которая спала столетия и как наяву, так и во сне

видела только одно рабство и тьму, видела в этой тьме на недосыгаемой высоте царя, власть которого даруется только Богом и Богом отнимается. И вдруг эта божественная неприкосновенность валится от взрыва бомбы.

Если бы Александр III и его приближенные хоть на минутку добросовестно заглянули в недра народной души и мысли после убийства Александра II, то они убедились бы в том, что мысль народа разбужена, что дальше так царствовать нельзя, что рыть пропасть между народом и властью — преступно, бесчеловечно и губительно для самих царей и страны, хозяевами которой они себя считали. Слово «революция» их пугало, и они хотели уничтожить ее, беспощадно и неустанно тормозя эволюцию, мирное развитие народа. Они забывали при этом, что революция есть именно результат задержанной насилем эволюции.

Так душители сами готовили революцию.

К БИОГРАФИИ Н. В. КЛЕТОЧНИКОВА ¹

(Письмо В. К. Винберга) *

С Николаем Васильевичем я познакомился в Ялте в 1868 г. или в начале 1869 г. Он был среднего роста, худощав, с правильными чертами лица, шатен, умен, сдержан, молчалив. Склонность к туберкулезу заставила его поселиться в Ялте. Нуждаясь в заработке, он поступил на должность письмоводителя дворянской опеки, хотя такая деятельность была ему не по душе: он находил, что мало работы, что даром получает деньги, называл себя стипендиатом дворянства. Все старания найти себе другую платную работу ни к чему ни приводили.

Несмотря на то что должность составляла его единственный заработок, он от нее отказался, как только бывший тогда предводителем дворянства Галахов (черносотенный) потребовал исполнения распоряжения, не согласного с его, Клеточникова, убеждениями. Более года он бедствовал без заработка. Наступили новые выборы.

* Воспроизводимое письмо известного земского деятеля Владимира Карловича Винберга написано в 1916 г. в ответ на обращенную к нему просьбу сообщить то, что ему известно о Николае Васильевиче Клеточникове. — *Ред.*

Вместо Галахова предводителем дворянства был избран В. С. Корсаков, человек в высокой степени порядочный. Клеточников занял свою прежнюю должность. Корсаков и Клеточников близко сошлись, хотя они были диаметрально противоположных политических взглядов: Корсаков — убежденный монархист, Клеточников — совершенно иного направления.

В 1871 г. Николай Васильевич, при содействии Корсакова, занял место секретаря съезда мировых судей. Большая трудоспособность, безусловная честность, обходительность с публикой завоевали ему общее расположение и уважение. В это время я был мировым судьей и вместе с тем и непрременным членом съезда мировых судей. Почти ежедневные общения не только на службе, — он часто целые вечера проводил у нас в семье, — тесно сблизили нас с ним. Сдержанный и молчаливый с посторонними, он охотно делился своими впечатлениями и душевными переживаниями с близкими людьми.

В 1873 г. я с семьей переехал в Симферополь на постоянное жительство.

Наши свидания стали редки,— вместо почти ежедневных встреч стали видаться раза два-три в год. Оттого за время от 1873 г. примерно до 1879 г. я о его деятельности и душевных переживаниях мало что могу сказать. Знаю только, что он продолжал служить в съезде мировых судей, что в 1873 г., взяв отпуск, ездил за границу для окончания своего образования, прерванного начавшимся туберкулезом. Знаю также, из бесед при наших редких встречах, что он продолжал быть недоволен собою, что его мучило сознание, что он ничего не делает для, как он выражался, облегчения страданий обездоленного народа, что продолжал горько упрекать себя и всю интеллигенцию в безучастном отношении к существенным нуждам народа, говорил, что мы живем среди родного нам населения, как иностранцы: берем все от него и ничего ему не даем. В 1879-м, а может быть в 1878-м—хорошо не помню,—Николай Васильевич переехал в Петербург. Проезжая через Симферополь, он заехал к нам проститься, при этом объяснил, что его здоровье настолько окрепло, что ему безопасно жить на севере, и что едет для поступления в университет. Действительно, через некоторое время получил я от него письмо, в котором писал, что поступил вольнослушателем в Петербургский университет. Примерно через полтора года получил я второе письмо от него, крайне странного содержания. К сожалению, подлинного текста письма воспроизвести не могу, его у меня нет. Но содержание письма, своим несоответствием со всем духовным обликом Николая Васильевича, настолько неизгладимо врезалось в мою память, что за верность передачи смысла его и даже отдельных фраз ручаюсь. Николай Васильевич писал: вот уже более года я в университете, подвинулся ли я в науках—не знаю, но зато знаю, что вполне освободился от того дурмана, в котором я находился, живя в Крыму, в чудной природе, среди прекрасных людей, вдали от действительной жизни со всею ее грязью. Окружавшая меня природа приучила видеть только светлые стороны жизни. Здесь же, в Петербурге, при иной обстановке, я узнал правду жизни, научился видеть жизнь, как она есть, а не как она кажется. Студенчество, казавшееся из прекрасного

далека таким возвышенным, на деле оказалось сбродом пошляков, прикрывающим громкими фразами свои личные мелкие, пошлые интересы. Я рад, что я только вольнослушатель, что позорное имя студента ко мне не относится. Затем он продолжает: жизнь, как она есть, а не как кажется, заставила меня изменить мой взгляд и на правительство. Я убедился, что наше правительство идет впереди народа: оно умнее, нравственнее и гуманнее его. Кончает письмо так: своего адреса не сообщаю из опасения, что дальнейшая переписка выроет между нами такую пропасть, которую не засыпешь и тогда, когда и Вас жизненный опыт приведет в мою веру. После этого письма целые годы мы не имели никаких вестей от него и о нем. Ходили смутные слухи, что он служит в тайной полиции. Этим слухам мы, т. е. ни я, ни моя семья, не придавали веры. Затем распространился более вероятный слух, что он арестован.

В начале 1883 г. я получил от Николая Васильевича письмо, написанное хорошо мне знакомым твердым, четким почерком. Каким образом письмо, писанное им за день до объявления ему приговора, попало на почту и каким образом оно беспрепятственно дошло до меня, находившегося тогда в своем имении под гласным надзором полиции с приставленным урядником,—составляет для меня до сих пор загадку.

Из этого письма видно, что Николая Васильевича сильно тревожила мысль, что друзья его могут его заподозрить в предательстве. В письме приводится много фактов, освещающих его деятельность в качестве агента тайной полиции, указываются лица, знавшие цель поступления его в охрану, а также образ действия его в ней. Ни я, ни семья моя, ни его друзья в Крыму не нуждались в этих данных; мы слишком хорошо его знали, чтобы в нас могло зародиться малейшее подозрение. В этом же письме он объясняет, что вышеприведенное письмо им было написано с целью прекратить сношения с нами, опасаясь, что мы неосторожным словом повредим затеянному им делу, затем он пишет, каким путем он пришел к решению вступить на нелегальный путь: он думал сперва, что все зло происходит от корысти, глупости и невежества лиц, облеченных

властью, затем убедился, что дело не в лицах, а существующем строе, изменить который легальным путем нельзя. Письмо кончается так: «Завтра будет объявлен приговор, молю, чтобы был смертный приговор». Затем приписка, видимо, на другой день сделанная: «Объявлен

смертный приговор — боюсь, что последует помилование, — кто прожил два года такую полную жизнью, тому смерть не страшна». Подчеркнуты подлинные слова письма.

6 июня 1916 г.

В. Винберг

С. КОЦ

А. И. ЖЕЛЯБОВ

(Воспоминания товарища по гимназии)

Застал ли я в 1864 году, когда поступил в 3-й класс Керченской гимназии, Желябова, не помню, — кажется мне, что он одновременно с Тригони¹ перевелся к нам в 4-й класс из Симферополя. Прекрасно помню облик того и другого: Желябов тогда был небольшого роста, белобрысый мальчик, довольно живой, резвый, любитель всяких игр, изрядный шалун и хороший товарищ. Тригони — изящный франтик, аристократ по внешности и по происхождению, с орлиным носом, выше среднего роста, очень живой. Если в Желябове сразу заметно было происхождение демократическое, то уже одна внешность Тригони говорила о близком его родстве с аристократией; и действительно, его родной дядя был в то время у нас в Керчи градоначальником (генерал Спицын). Прохождение курса гимназии до окончания ее в 1869 году шло совместно с нами. У нас тогда существовала система рассаживания учеников по отметкам, и первые места занимались лучшими учениками; Желябов и я чередовались все годы, занимая то 2-е, то 3-е место, тогда как Тригони питал особое пристрастие к «Камчатке», где он оставался до выхода из гимназии.

Керченская гимназия, к году моего поступления туда, существовала всего не больше 4—5 лет и отличалась хорошей постановкой дела преподавания и хорошим составом администрации и учителей. Телесные наказания переживали последние дни, и только в виде анахронизма учителем чистописания Сперанским — археологической редкостью — изредка практиковалось применение такого орудия, как линейка, причем он для усиления впечатления ударял ребром линейки. Помню случай, когда к Желябову эта мера воз-

действия была применена за какую-то пустую провинность без всякого протеста с его стороны. Учился он хорошо и всю гимназию прошел в качестве хорошего ученика. Товарищ он был хороший, но, как сказано, и шалун изрядный. Прекрасно помню маленького Желябова рядом с гигантом Сергеем Бершадским² (впоследствии выдающийся профессор Петроградского университета) во время перемены, при игре в мяч. Получалась забавная картина. Так как Бершадский был очень мягкосердечным и милым товарищем, то Желябову приходилось всегда быть под его защитой. Забиякой был Желябов, задирала и сочинитель всевозможных каверз. Пустой урок. Ученики шумят, шалют; Желябов откуда-то раздобыл селедку и бросил ее в топившуюся классную печь (дело было зимою). Следующий урок — учителя немецкого языка Андреяевича. В классе смрад, копоть, атмосфера такая, что оставаться там невозможно. Андреяевич приходит и тотчас же ретируется, направляясь к директору. Начинается допрос. Конечно, виноватого никто не выдает. В наказание мы все — весь класс in cogroge³ — изображаем прелестную картину, стоя на коленях в зале. Это было в 4-м или в 5-м классе. Другой случай. Андреяевич имел свою систему проверки знаний учеников: всегда спрашивал 3—4 учеников в порядке записи их в журнале и лишь изредка устраивал «мышеловку», как он говорил. Желябов был из числа пятерочников. Вот приходит раз немец-толстяк, взбирается на кафедру, раскрывает журнал и с добродушной улыбкой заявляет: «Устроим сегодня мышеловку; ну-ка, Желябов, иди к доске». Желябов не приготовил заданного, пыхтит, краснеет, — ничего не вы-

ходит. «Пошел вон, сморкач,— разда-ется из уст учителя,— а еще пятерочник!» Это говорится ученику 5-го клас-са. Эти случаи не свидетельствуют ли, как мало внушительного было в Же-лябове в бытность его в гимназии. Хо-тя он и был хорошим учеником, выда-ющегося в нем не было решительно ничего, ни во внешности, ни в позна-ниях. Лев Тихомиров был классом ни-же нас и решительно выдавался уже тогда; сочинение, им написанное, до того поразило учителей, что они не могли поверить в принадлежность его ученику гимназии. У Желябова же ра-боты выходили безусловно не выдаю-щимися, а обычными для хорошего ученика. Кончил он гимназию в 1869 году с медалью. Кончил гимназию и «камчатник» Тригони. Все мы (я, Же-лябов и Тригони) поступили в Ново-российский университет.

В университете Желябов и Тригони были на юридическом факультете, я — на естественном; встречались мы очень редко, тем более что оба они, окунув-шись во внеуниверситетскую жизнь, редко бывали в университете. В то время, в 1870 году, в Одессе сущест-вовали политические кружки, в один из которых оба они и попали. То был кружок, во главе которого стоял про-фессор Ярошенко⁴. Желябов, видимо, очень увлекся политической деятель-ностью. Затем произошла история с профессором Богишчем⁵, следствием которой явилось исключение Желябо-ва из университета.

В 1871 году я поступил в Медико-хирургическую академию в Петербур-ге и до 1874 года потерял из виду сво-их товарищей, оставшихся в Одессе. Летом 1874 года приезжаю в Одессу на каникулы, начинаю работать в го-родской больнице, где, между прочим, знакомлюсь с фельдшерницей — сестрой милосердия Желябовой. Узнаю, что она — жена Андрюши Желябова. Сле-дует приглашение на обед. Прихожу, Андрюши нет. Наконец, является плот-ный, довольно красивый молодой че-ловек, выше среднего роста, с длинной шевелюрой и окладистой русой бород-кой, с огненным взглядом. После пер-вого замешательства узнаю в нем сво-его школьного товарища, с которым в течение 4—5 лет тянул бок о бок школьную ляжку; встреча довольно хо-лодная; разговор вертится все время вокруг да около прошлого, о настоя-

щем ни слова; беседа часто то и дело прерывается звонками, на которые Желябов сам бегаёт открывать дверь, кого-то впускает, вводит в другую ком-нату; так проходит все время обеда. Обед кончен, Желябов извиняется, уходит, просит заходить, по-видимому, больше из деликатности. Это — по-следняя моя встреча с ним.

В 1881 году я — врач в Темир-Хан-Шуре, Дагестанской области. Теле-граммы разносят весть о событии 1 марта. Все мы, живущие в глухой и далекой от центра провинции, ждем газет с подробностями покушения. За огромным клубным столом масса пуб-лики в ожидании газет. Газеты полу-чены. Кто-то читает вслух: «Главным руководителем покушения был Желя-бов». Я невольно вскрикнул: «Неуже-ли Андрюша Желябов?» Все обратили свои взоры и вопросы ко мне. В числе прочих за столом был и жандармский полковник (как оказалось впоследст-вии, очень милый человек); услышав мой возглас, он тотчас же встал и вы-шел из зала. «Ну, — думаю, — конечно, наверное, завтра арестуют». Мое пред-положение не оправдалось. Арестова-ли многих, но меня не тронули.

В 1884 году меня судьба забросила в станицу Прохладную, Терской обла-сти⁶, где я познакомился с К. Н. Рос-сиковым, известным орнитологом. От него я узнал о Желябове следующее: в конце 70-х и начале 80-х годов ему, Россикову, приходилось бывать на не-легальных собраниях, куда приходили убежденные седиными лица из мира уче-ных, чтобы послушать Желябова. Опи-сывает Россиков Желябова так: высо-кого роста, плотно сложенный субъект с симпатичным лицом, обрамленным русой бородой. Речь его льется плав-но, легко; она настолько интересна, что ничто не нарушает тишины в за-ле; видно из этой речи глубокие зна-ние истории вообще, истории России в особенности. Рассказ Россикова о Желябове произвел на меня такое впе-чатление, что я совершенно не узнал в нем того белобрысого мальчика-гим-назиста, каким я его знал, — до того далек был мой товарищ гимназических лет от того лица, которого Россиков окрестил Иисусом Христом, как по внешнему образу его, так равно по проповедям, которые производили на всех слушателей ошеломляющее впе-чатление.

СПРАВКА О Н. И. КИБАЛЬЧИЧЕ²

Во время рассмотрения дела перво-мартовцев в особом присутствии Сена-та произошло маленькое разноречие между обвинением и защитой по по-воду образовательного ценза одного из обвиняемых — Ник. Иван. Кибаль-чича.

Обвинительный акт утверждал, что Кибальчич получил среднее образова-ние в Новгород-Северской духовной семинарии; защита говорила, что обви-няемый обучался в Новгород-Север-ской гимназии.

На это противоречие ни суд, ни про-куратура не только не обратили вни-мания, но, по-видимому, даже и не за-метили его; не ускользнуло оно толь-ко от тогдашнего обер-прокурора св. синода К. П. Победоносцева, главного пособника и руководителя Александ-ра III в борьбе с революцией.

Победоносцев, зорко следивший за малейшими проявлениями революци-онного настроения среди духовенства и его детей, тотчас же пожелал выяс-нить, в какой же именно школе полу-чил образование такой «крамольник», как Кибальчич: в духовной или свет-ской?

Вместе с тем, стоя на той точке зре-ния, что у революционера и родствен-ники не могут быть вполне благона-дежными политически *, Победоносцев выразил желание иметь сведения и о семействе Кибальчича.

В силу этих соображений, 8 мая 1881 года Победоносцев послал епи-скопу черниговскому Серапиону сле-дующее письмо, помеченное № 110:

«Секретно.

Преосвященнейший Владыка,
Милостивый Государь
и Архипастырь!

Из воспроизводившегося в Особом присутствии Правительствующего Се-ната дела о совершенном 1 марта се-

го года злодеянии, жертвою которого пал в бозе почивший государь император Александр Николаевич, между прочим, известно, что один из главных виновников этого страшного преступле-ния Кибальчич (ныне казненный смертью) по своему происхождению был сын священника, уроженец Кроле-вецкого уезда, Черниговской губернии. Сведения же о первоначальном его об-разовании в процессе по сему делу представляются различно: по словам обвинительного акта — он учился в ду-ховной семинарии в Новгород-Север-ске (где, однако, семинарии не суще-ствует, а есть только одно духовное училище); по словам же защитника Кибальчича, он окончил курс в Нов-город-Северской гимназии.

Сверх сего, ныне я имею сведения, что в последнее время арестован по подозрению в преступных сношениях с крамольниками состоящий в числе пев-чих придворной певческой капеллы Молчановский, по происхождению сво-ему также сын одного из духовных лиц Черниговской епархии и воспитан-ник тамошних духовно-учебных заве-дений.

Принимая во внимание, что Кибаль-чич и Молчановский оказались — к ве-ликому прискорбию — детьми духов-ных лиц вверенной Вам епархии, дол-гом поставляю покорнейше просить Ваше Преосвященство сообщить мне точные сведения о происхождении Ки-бальчича, равно как и Молчановского, и о месте их первоначального воспи-тания в духовных школах.

Поручая себя молитвам Вашим, оста-юсь Вашего Преосвященства покор-нейшим слугою.

К. Победоносцев».

На это письмо Серапион отвечал следующим отношением от 3 июня 1881 года за № 2595:

«Секретно.

Ваше Высокопревосходительство
Милостивый Государь!

Вследствие отношения Вашего Вы-сокопревосходительства от 8 мая 1881 года за № 110, долг имею представить Вам собранные мною точные сведения о происхождении Кибальчича и Мол-

* Такой взгляд Победоносцева на родителей революционеров особенно ярко выразился в письме его к епископу смоленскому Нестору по поводу сыновей священника Макаревского, привлеченных в 1887 году к ответственности по обвинению в государственном преступле-нии: «Отец, воспитавший таких детей, сам на-влекает на себя подозрение», — писал Победо-носцев (Дело канцелярии синодального обер-прокурора за 1887 год, 1 отд. 2 ст. № 16).

чановского и о месте их первоначального воспитания в духовной школе.

Кибальчич Николай, по метрической книге Успенской церкви заштатного города Коропа, Кролевецкого уезда, значится родившимся 19 октября 1853 года от священника этой церкви Иоанна Кибальчича; затем, по клировым ведомостям³ означенной церкви, показано ему, Николаю Кибальчичу, в 1863 году 10 лет от роду; живет он в доме отца и обучается чтению и письму; по таковой же ведомости за 1864 год показано ему, Кибальчичу, 11 лет от роду, с объяснением, что он обучается в Новгород-Северской гимназии на средства отца; в последующие затем годы, до 1871 года, он числится обучающимся в той же гимназии; в 1872 году ему показано 18 лет, с объяснением, что он поступил в Институт инженеров путей сообщения на содержании отца; в 1873, 1874 и 1875 годах Николай Ки-

бальчич показывается обучающимся в Медико-хирургической академии; в 1877 году в тех же ведомостях значится: «Николай Кибальчич состоит под надзором полиции на содержании отца».

Отец этого Кибальчича — священник Иоанн Кибальчич — умер в 1878 году, и с того времени сын его не показывается в клировых ведомостях... *

Призывая на Вас Божие благословение, остаюсь Вашего Высокопревосходительства покорнейший слуга и богомолец

Серапион,
епископ черниговский
и новгород-северский».

Убедившись, из этого отношения, что отца Кибальчича уже нет в живых, Победоносцев сделал на деле пометку: «к сведению», и сдал его в архив **.

А. ФРЕЙДЕНБЕРГ

ПАМЯТИ

ПЕТРА ФИЛИППОВИЧА ЯКУБОВИЧА-МЕЛЬШИНА

(По поводу пятидесятилетия со дня его смерти)

До моего знакомства с Петром Филипповичем Якубовичем и его женой Розой Федоровной, рожденной Франк, я много слышал о них от близкого им лица. Это относилось к началу 80-х годов, к тому времени, когда Петр Филиппович только что окончил историко-филологический факультет Петербургского университета, а Роза Федоровна слушала лекции на женских врачебных курсах. Роза Федоровна Франк проживала тогда на Песках, на одной из Рождественских улиц, недалеко от Николаевского военного госпиталя, где помещались курсы. Она занимала скромную меблированную комнату, а в смежной жила ее однокурсница Мария Федоровна Каган вместе с подругой Рыковской. С М. Ф. Каган Розу Федоровну связывала тесная дружба, они одновременно проходили курсы и проживали вместе до 1884 г., до дня ареста Розы Федоровны. От М. Ф. Каган я и получил многие сведения, касающиеся этого периода их жизни. По ее словам, комнаты молодых курсисток были местом, где собиралась учащаяся молодежь и где ча-

сто по вечерам происходили горячие споры на литературные и политические темы. Роза Федоровна обладала и необыкновенно привлекательной наружностью, и большим даром слова, умением спорить, глубоко захватывая вопрос, и благодаря всему этому она стала центром кружка молодежи. У нее был горячий темперамент, и вместе с тем речь ее всегда отличалась той глубиной и трезвостью, какие редко встречаются у молодых людей, а Розе Федоровне шел только девятнадцатый год. Не удивительно поэтому, что в числе студентов, находившихся под ее обаянием, вскоре оказался и молодой Якубович, только что окончивший университет со степенью кандидата русской словесности. Несмотря на то что ему было всего только 22 года, он имел уже некоторую известность

* Далее идут сведения о Молчановском, которые опускаются нами, как не имеющие отношения к биографии Кибальчича.

** Дело канцелярии синодального обер-прокурора за 1881 год, 1 отд. 2 ст. № 50. Находится во II отдел. Историко-культурной секции Ленинградского Центрального исторического архива.

в литературе и помещал свои стихотворные опыты в «Живописном обозрении» и «Русском богатстве». Последнее тогда почти погубило. Над Петром Филипповичем шутили, что он один заполняет все отделы, а потом разносит книжки подписчикам.

По счастливой случайности у Якубовича был такой же горячий, можно сказать, боевой революционный темперамент, как и у Розы Федоровны, и прошло немного времени с момента их знакомства, как молодые люди сблизились и вскоре стали женихом и невестой.

В письме, полученном мною на днях от Марии Федоровны Каган, она так описывает характер Петра Филипповича: «Редкой доброты и необыкновенной мягкости характера, окруженный ореолом поэта, он скоро сделался у нас общим любимцем. Стихи свои читал он нам очень охотно, и мы все ими увлекались; но не это одно нас к нему привлекало,— увлекал нас революционный дух, которым он был исполнен и которому он тогда еще искал приложения. Что удивительного, что они скоро сблизились с Розою Федоровною? Одним аккордом звучали их души, и был только один порыв — жертвовать собою для дела, которое стояло выше всего и было единственной целью жизни. Серьезность задачи и опасность, с нею сопряженная, все-таки не мешала их веселому настроению. Собирались и весело проводили время, но самым веселым был всегда Петр Филиппович, и часто среди беззаботной болтовни он прочитывал какое-нибудь новое стихотворение. Вдохновением горело его лицо, и вдохновение охватывало и наши души. Но надвигались серьезные дни. Не могу сказать, когда Петр Филиппович вступил в партию и когда занялся революционной работой. Кажется, это было еще в 1883 году. Работа захватывала, дело шло, кажется, об издании номера «Народной Воли», настроение становилось все серьезнее; беззаботные веселые вечера улетучивались. Куда-то улетели красивые, мягкие, полные лиризма стихи; встречи наши стали реже. Петр Филиппович по-прежнему часто бывал у Розы Федоровны, у них были длинные, серьезные разговоры и озабоченные лица. К нам Петр Филиппович в то время почти не заходил, очевидно, из опасения

навлечь и на нас внимание полиции. Был зимний вечер, я возвращалась с Розой Федоровной от приятельницы, у которой мы обе обедали; я пошла домой одна, а она дальше, если не ошибаюсь, на Фурштадтскую улицу. Вечер проходил, я успела вздремнуть, а Розы все не было. Мы с Рыковской заволновались, был уже первый час. Вдруг раздался звонок, резкий и бесцеремонный. Сердце дрогнуло, мы поняли, что это неспроста. Хозяйка поспешила открыть дверь; ввалилась целая толпа полицейских и жандармов. В обеих комнатах был сделан обыск, продолжавшийся почти до утра, несмотря на скудость нашего имущества. Мою сожительницу Рыковскую арестовали и увезли с собою, а Роза Федоровна, как оказалось впоследствии, была арестована на улице, сейчас после того, как мы с нею расстались. В тот же день был арестован и Петр Филиппович. Велико было наше горе. Роза Федоровна просидела в Доме предварительного заключения три месяца, затем ее отпустили под залог некоторой суммы денег — кажется, тысячи рублей — и отправили на родину в Каменец-Подольский, откуда через несколько месяцев в Сибирь*.

В числе частых посетителей курсисток были молодые люди, которые впоследствии оказались в первом ряду деятелей «Народной Воли». Тут перебивали Стародворский¹, Шебакин², Гриневицкий³, Рысаков⁴ и многие другие. Рысаков провел там часть вечера, предшествовавшего делу 1 марта. Надо удивляться тому, что событие 1 марта, вызвавшее страшные преследования и аресты молодежи, долго не касалось ни Якубовича, ни Розы Федоровны. Несмотря на наступившую черную реакцию и на преследование со стороны администрации всего живого и мыслящего, комнаты наших курсисток по-прежнему служили местом, где собиралась рядовая молодежь, хотя, как оказалось впоследствии, охранная полиция установила наблюдение за Якубовичем и Розой Федоровной. До 1884 г. их не трогали и не мешали им работать: она усердно проходила медицинские курсы и перешла уже на 5-й курс. Он, помимо любии-

* Только в 1887 г., как указано ниже.

мой литературной работы, весь погрузился в революционную деятельность. Якубович отдался этому делу со всей энергией, со всем жаром, свойственным его боевому, горячему темпераменту.

Еще в марте 1883 г. Якубович указывает Шебалину, что «Петербургская организация Народной Воли нуждается в людях, которые могли бы взять на себя содержание конспиративной квартиры или типографии»*. Типография Шебалина начинает работать, и связь с ней поддерживается через Якубовича. В январе 1884 г. с шифрами писем, спрятанными в карманных часах, Якубович едет завязывать связи в Киев, к Шебалину.

К 1883 году же относится свидетельство Лопатина⁵ (некролог Караулова) о составе Исполнительного Комитета, включавшего, по словам Лопатина, бр. Карауловых⁶, Якубовича, Усову⁷ и запутывавшего всех, ведшего двойную игру Дегаева⁸.

Как известно, в 1884 г. Якубович выступает инициатором «Молодой Народной Воли», сначала становящейся в резкую оппозицию к официальному курсу и официальным руководителям старой партии, а затем примиряющейся с нею и возвращающейся вновь в ее лоно.

В июне того же года Якубович организует (и, по словам И. И. Попова⁹, «великолепно забронировывает») новую тайную типографию в Дерпте, печатает и распространяет № 10 «Народной Воли», затем по подложному паспорту продолжает работать в Петербурге.

15 ноября 1884 г., в один день, арестуют и Петра Филипповича, на Бассейной улице, и Розу Федоровну, на Кирочной.

Роза Федоровна была заключена в Дом предварительного заключения, а через некоторое время выслана на родину впрямь до рассмотрения ее дела. Петр Филиппович попал в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Таким образом, мечты молодых людей о браке рассеялись, как дым, не говоря уже о том, что Роза Федоровна лишилась, и притом навсегда, возможности окончить врачебные курсы, а она

была уже на 5-м курсе. Через два с половиною года, 1 апреля 1887 г., по высочайшему повелению, Франк была выслана в Восточную Сибирь под гласный надзор полиции на три года. В Якутске ей пришлось испытать все ужасы, связанные с кровавой трагедией, имевшей место 22 марта 1889 года¹⁰.

Последовавшим за кровавой бойней военным судом Роза Федоровна была приговорена к бессрочной каторге, сокращенной судом, во внимание смягчающих обстоятельств, до 15 лет. По конфирмации же приговора командующим войсками Иркутского военного округа Веревкиным срок был сокращен до 4 лет. 4 августа 1889 г. Роза Федоровна попадает в Вилюйскую тюрьму, откуда за 6 лет до того был освобожден Николай Гаврилович Чернышевский, томившийся там 12 лет.

Петр Филиппович Якубович, просидевший 2½ года в Трубецком бастионе, предстал, наконец, в мае 1887 г. перед Петербургским военным окружным судом по делу о 21-м государственном преступнике. К этому процессу были привлечены, между прочим, кроме него Герман Лопатин, Стародворский, Конашевич¹¹, Елько¹², Салова¹³, Френкель¹⁴ и другие.

Личность Якубовича с необыкновенной яркостью выступила в этом процессе, особенно в сказанном им последнем слове, посвященном, между прочим, памяти покойного Степурина¹⁵, народовольца, покончившего с собою в Доме предварительного заключения еще до процесса. Дело в том, что во время серьезных трений между старой и новой организациями шли постоянные перекоры между членами партий, переходившие часто на личную почву. Петр Филиппович в письмах к Шебалину отзывался о Степурине как о человеке бездарном, мерзком, мелочном и лживом, с которым он, Якубович, работать не согласен. Когда же на предварительном следствии поведение Степурина выявило его личность в совершенно другом свете, Петр Филиппович со свойственной ему искренностью публично покаялся в своей ошибке. Он сказал на суде: «Я заявляю теперь, что все, что я писал о покойном Степурине,

* Былое, 1907, № 1.— Ст. М. П. Шебалина.

все приданные ему позорящие его эпитеты,— все это абсолютная ложь, казавшаяся мне истиной лишь в минуты партийного пристрастия. Я не знал близко Степурина как человека. Но я узнал о нем еще в бытность мою на воле, уже после ареста Степурина, от умершего недавно поэта Надсона¹⁶, служившего с ним вместе в одном полку и сообщившего мне, что это был человек высокой честности, человек замечательный по своим редким нравственным качествам. Целые 3 года лежал у меня на сердце этот тяжелый камень клеветы на человека, и мне больно, что я не могу уже лично просить прощения у Степурина.

Необыкновенно блестящую характеристику исключительной личности Петра Филипповича дал на суде присяжный поверенный В. Д. Спасович¹⁷, и я считаю уместным привести здесь выдержку из его защитительной речи:

«Всех людей нашего, а может быть, и всех веков можно подвести под несколько типов, из коих 2 крайние, а остальные посредствующие. Первый крайний тип — это люди сознательно и цинически беспринципные: у меня в каждом кармане по принципу, какие понадобятся, такие я и вынимаю...

Второй крайний тип — это люди, интересующиеся только одними принципами, а все остальное для них мелочь, шелуха, нечто скучное, о чем не стоит говорить. Я отношу Якубовича к этому именно типу и нахожу, что он сам себя портретировал в заключительных фразах письма к Ивану Ивановичу*: «Об организации я не говорю, так как это уже последнее дело». Писать о политике партии 5 листов и только о принципах, а в конце концов поместить несколько слов об организации, как будто бы она последнее дело,— это характерно и это прямо определяет человека, нежели показания его на дознании и даже на суде, внушенные, конечно, тем присущим Якубовичу критицизмом, который он применял и к себе, но в котором, пожалуй, мог бы кто-нибудь заподозрить и самобичевание тенденциозное с целью самоумаления, во избе-

жание наказания или для уменьшения наказания: «Мой слабый характер, моя неспособность к практической деятельности, моя вечная несговорчивость и склонность к розни». Я не могу вполне поверить этим словам Якубовича, я полагаю, что написавший письмо к Ивану Ивановичу заслуживает более высокой оценки. Для дополнения характеристики сделаю еще два замечания. Люди отвлеченных принципов бывают обыкновенно сухие и упрямые. Якубович — ни то, ни другое,— он поэт даже в рассуждениях и принципах. Каждая его фраза тепла теплотою чувства, колоритна, сильно колоритна, а от упрямства спасала его относительно большая многосторонность его образования, вследствие которой он и развивался в мыслях, а, раз переходя с одной точки зрения на более возвышенную другую, он уже и не стеснялся в признаниях, что его воззрения изменились, расширились...»

20 июля 1887 г. Петр Филиппович отправлен в каторгу, которой заменен ему смертный приговор. По счастливой случайности, следуя в Сибирь с партией каторжан, он встречается дорогой после трехлетней разлуки со своей невестой Розой Франк, отправлявшейся в административную ссылку в Якутскую область. Впрочем, свидание длилось недолго. В Иркутске, откуда Якубович должен был направиться в Карийскую каторжную тюрьму¹⁸, им пришлось расстаться. Не стану распространяться о жизни Петра Филипповича там, а затем в Акатуйевских рудниках. Об этом писали Лев Дейч¹⁹, Богучарский и другие. Упомяну лишь о том, что по манифесту 1893 г. Петр Филиппович, в числе других политических каторжан, после трехлетнего пребывания в рудниках попадает, наконец, на относительную свободу, в так называемую «вольную команду», в деревушку Кадаю, Нерчинского округа. Год спустя туда прибыла его невеста Роза Франк, что ей удалось сделать ценою огромных усилий и хлопот. 22 августа того же года они обвенчались в Горном Зерентуе, через 12 лет после их помолвки в Петербурге. Около года прожили они вместе в Кадае, отсюда удалось им впервые

* И. И. Попову. См. его книгу «Минувшее и пережитое».

завязать переписку с родиной, отсюда же началась литературная связь с новой редакцией «Русского богатства», именно с Н. К. Михайловским²⁰. Благодаря этой связи Петру Филипповичу удалось отправить в Петербург и поместить в «Русском богатстве» всем известные записки «В мире отверженных». Таким образом, годы тяжелых испытаний в Петропавловской крепости, в сибирских этапных тюрьмах, в каторге не сломили крепкого духа Петра Филипповича, не убили его творческого таланта, и кроме названных записок он успел за это время написать целый ряд прекрасных стихотворений. Манифест 1895 г. открывает Якубовичам путь на запад; летом 1895 г. они приезжают в Курган, Тобольской губернии. Здесь, по словам их сына Д. П. Якубовича, они в качестве ссыльнопоселенцев уже пользуются относительно большей свободой, имеют право переписки, живут вместе с М. Р. Гоцем²¹ и его женой в тесном дружеском кругу, получая журналы и книги, проводя время в горячих спорах (становившихся особенно долгими и бурными между Гоцем и Розой Федоровной — двумя неутомимыми спорщиками), спорах на общественно-политические и литературные темы*.

Через два года у Якубовичей родился сын Дмитрий, и вслед за его появлением Роза Федоровна тяжело заболевает послеродовой горячкой. Положение оказывается настолько серьезным, что приходится отправить ее для излечения в Петербург. «Памятен будет мне 1897 г., — пишет Петр Филиппович украинскому поэту Грабовскому²² (см.: Русское богатство, 1912, № 5), — не было еще в моей памяти такого сплошь горького ужасного года, говорю это в твердой и полной памяти обо всем пережитом, с самого 1881 года»**. В августе 1897 г. Роза Федоровна, поправившись, возвращается к своему мужу в Курган. В эти годы в «Русском богатстве» появляется начало записок «В мире отверженных», они имеют огромный успех среди читающей публики, и имя П. Ф. Яку-

бовича получает широкую известность. Надобно добавить, что записки эти, ввиду цензурных условий, печатались не за подписью автора, а под псевдонимом Л. Мельшина. Фамилия эта заимствована Якубовичем у одного из каторжан. Но, несмотря на псевдоним, настоящее имя автора «записок» вскоре сделалось известным широкому кругу читателей «Русского богатства». Одновременно в том же журнале помещались повести и стихотворения Якубовича. Стихотворения подписывались его инициалами: «П. Я.». Впрочем, первый томик его стихов вышел еще в 1887 г. под псевдонимом М. Рамшева.

В 1899 г. Якубовича поражает тяжелая нервная болезнь, выражающаяся, между прочим, расстройством речи. В 1899 г. в одном из номеров «Русских ведомостей» Петр Филиппович прочел статью, в которой описывался случай смерти одного германского ученого от голода. Этот ученый, страдая раком языка, не мог принимать никакой пищи. У Петра Филипповича в это время на кончике языка была небольшая язвинка, совершенно безвредная, но он под влиянием своего нервного состояния счел это за начало ракового заболевания и впал в сильное нервное возбуждение, грозившее перейти в психоз. Так как курганские врачи оказались бессильными успокоить больного, то Роза Федоровна написала в Петербург Ольге Николаевне Флоровской-Фигнер²³, с просьбой выхлопотать разрешение привезти больного в Петербург для лечения. Так как у Флоровской-Фигнер не было связей в высших сферах, то она обратилась за содействием к своей приятельнице Екатерине Павловне Султановой-Легковой²⁴, сотруднице «Русского богатства». Последняя приняла горячее участие в этом деле. Екатерина Павловна нашла доступ к директору департамента полиции Зволянскому²⁵, от которого зависело все дело. Она передала ему письмо Розы Федоровны и просила сделать все необходимое для перевода Якубовича в Петербург. Однако Зволянский сначала отказался перевести Петра Филипповича в Петербург, ссылаясь на то, что это «приведет к бесконечному паломничеству

* См. ст. Д. П. Якубовича в сборнике «Якутская трагедия».

** См. там же.

молодежи к популярному поэту», и согласился лишь только на перевод больного в Казань, о чем тотчас же сделал распоряжение по телеграфу. По получении разрешения Якубовичи немедленно выехали в Казань. Вследствие какого-то недоразумения Петра Филипповича поместили, вместо нервной клиники, в психиатрическую. При тогдашнем нервном состоянии Якубовича это могло привести к печальным результатам, и Роза Федоровна поспешила вторично написать Флоровской-Фигнер о случившемся. На этот раз Зволянский оказался уступчивее, и Екатерине Павловне Султановой-Летковой удалось, хотя и не без труда, добиться его согласия на переезд Якубовичей в Петербург. Там он был немедленно помещен в нервную клинику Бехтерева²⁶. Несколько времени спустя Якубович получает разрешение поместиться в Удельной, в городской больнице имени св. Пантелеймона. После недолгого в ней пребывания он устраивается на частной квартире, в которой остается до 1905 г. Постепенно состояние здоровья его улучшается, что дает ему возможность снова приняться за литературную работу. Он скоро становится постоянным сотрудником «Русского богатства», а с 1904 г. является уже одним из редакторов этого журнала и помещает в нем ряд повестей и стихотворений. Однако здоровье его, надорванное каторгой и ссылкой, снова ухудшается, и он неделями и месяцами не встает с постели. Его поддерживает только самоотверженный уход его любящей жены, делящей свое время и заботы между уходом за мужем и слабым ребенком — сыном.

Весною 1900 г. мне, наконец, удалось лично познакомиться с семьей Якубовича. Они жили в то время на даче на станции Удельной, а я проводил лето недалеко от Удельной, в Озерках. Благодаря тому, что Якубовичи еще раньше были предупреждены о моем посещении их старинным другом Марией Федоровной Каган, я был встречен и мужем, и женой чрезвычайно радушно, как старый знакомый. В течение моей долгой жизни я встречался с массой людей, но не запомню, чтобы кто-либо произвел на меня такое сильное

впечатление, как Якубович и его жена. Тяжкое прошлое, конечно, наложило на обоих резкий отпечаток. Измученные физически, они тем не менее были бодры и крепки духом. Казалось, что время и тяжкие испытания вовсе не коснулись их. Особенно поразила меня речь Петра Филипповича, полная энергии и огня. От него и Розы Федоровны веяло такой душевной свежестью, их так живо захватывали интересы литературы и политики, что, беседуя с ними, нельзя было поверить, что эти люди провели лучшую часть своей жизни в мертвящей обстановке каторги. Я пробыл у них несколько часов, и мое первое посещение послужило началом нашей многолетней дружбы. В течение лета мы встречались чуть не ежедневно, то у них, то у меня на даче, а начиная с осени я редкую неделю не ездил к ним из Петербурга в Удельную. Якубович, не имевший еще тогда права проживать в столице, лишь изредка бывал в городе, главным образом в те дни, когда происходили собрания в редакции «Русского богатства». Если позволяло время, то Петр Филиппович иногда из редакции заходил на часок другой ко мне. Время шло, проходили годы, Петр Филиппович упорно работал, но здоровье его, подорванное каторгой, заметно ухудшалось, особенно стал он чувствителен к простуде, которая нередко неделями заставляла его не вставать с постели; но и больной, он не оставлял работы, подготавливал историко-литературную хрестоматию «Русская муза», нес редакционную работу, писал рассказы, составлял библиографические заметки для «Русского богатства», не говоря уже о стихотворениях, из которых, к сожалению, многие в то время по цензурным условиям не могли появиться в печати. Если не ошибаюсь, то около этого времени Петр Филиппович занялся изданием стихотворений Надсона, и эту работу он нес с особенною любовью и заботливостью не только потому, что любил этого поэта, но также потому, что доход с этого издания шел в пользу Литературного фонда, интересами которого он очень дорожил.

Наступили январские дни 1905 г. Якубовича, в числе ряда других общественных и литературных деяте-

лей, арестовали снова. Двухнедельное пребывание в «Крестах» губительно подействовало на его здоровье,— обострился старый ревматизм, вынесенный из каторги, и Петр Филиппович вернулся домой совершенно разбитый физически. Легко себе представить, как отразился его арест на Розе Федоровне и сколько забот пришлось ей приложить, ухаживая за больным мужем, возле постели которого пришлось ей провести немало бессонных ночей. В эту пору у него впервые появились сердечные припадки, как результат обострившегося ревматизма.

Между тем революционная волна продолжала все шире и глубже захватывать русскую жизнь и привела, наконец, к всеобщей забастовке. Революционный дух Якубовичей сильно всколыхнулся, и они с жадностью и волнением следили за развивающимися политическими событиями. В это время я чаще прежнего стал бывать у них, и мы много спорили по поводу происходящего. Петр Филиппович смотрел на развертывающиеся явления более оптимистически, чем его жена, которая критически относилась к событиям. Затем появился Манифест 17 октября. Политический подъем увлек и Петра Филипповича, и он чуть не ежедневно приезжал из Удельной в Петербург, где выступал на собраниях, произнося горячие речи. Учащаяся молодежь встречала и провожала его самым восторженным образом; помещения, в которых он появлялся, всегда бывали переполнены; с таким же успехом выступал Якубович и на литературных вечерах; места в аудиториях буквально брались с бою. Однако эти выступления обходились ему недешево, после каждого из них он долго не мог успокоиться, а главное, очень часто выносил из таких собраний простуду, которая снова на время приковывала его к кровати. Тяжело отзывались на Петре Филипповиче кровавые погромы, происходившие во многих городах России и Сибири под покровительством администрации вскоре после манифеста 17 октября. Но оптимистическое настроение окончательно покинуло Якубовича после разгрома I и II Государственных Дум. Затем сильно потрясла диктатура Столыпина с ты-

сячами виселиц в течение 1906 и 1907 годов. Вместе с тяжелым настроением у него шло обострение его болезни, чаще прежнего стала мучить одышка, усилились сердечные припадки, и Петру Филипповичу нередко приходилось работать в постели. Так писал он свои воспоминания, первая часть которых («На ранней зорьке») появилась в 1910 г. в «Русском богатстве». Сравнительно сносно чувствовал он себя в первое время после переселения в Петербург, когда проживал на Нюстадтской улице Выборгской стороны, но с переездом на Петербургскую сторону, на Ижорскую улицу, здоровье его стало внушать всем близким серьезные опасения. Врачи посоветовали ему проводить лето на даче или курорте. Он прожил один сезон в деревне под Лугой, ездил в Одессу и даже за границу, провел несколько недель в климатической станции Наугейм, но пользы это ему принесло мало. Роза Федоровна, можно сказать, окончательно превратилась в сиделку, так как больной неделями не вставал с постели. В начале марта 1911 г. Петр Филиппович заболел воспалением легких, утомленное жизнью и недугами сердце не выдержало, и 17 марта его не стало. Не стало человека недюжинных литературных способностей, редкой по благородству и нежности души, полного духовной силы и революционного темперамента, не стало на 51-м году жизни.

Горе и скорбь Розы Федоровны, ее престарелой матери и сына были безграничны.

Многочисленные друзья и почитатели Петра Филипповича во все время его болезни, а также после кончины переполняли его скромную квартиру. Посылались телеграммы с выражением сочувствия от многих редакций, общественных учреждений, частных лиц. Лучшие представители литературы, множество учащейся молодежи сопровождали его останки до Волкова кладбища. Полиция, опасаясь демонстрации, сняла красные ленты с венков и в последний момент переменяла ранее объявленный маршрут похоронной процессии, из-за чего массам учащих и рабочих не удалось примкнуть к шествию. Петр Филиппович нашел веч-

ное успокоение рядом с могилами его товарищей по «Русскому богатству» — Н. К. Михайловского и С. Н. Южакова²⁷.

Через 11 лет, 9 апреля 1922 года, скончалась на руках сына Роза Федоровна и похоронена на православном кладбище Ново-Васильевки, Мелитопольского уезда. Ее предсмертное желание лежать на Волковом

кладбище около Петра Филипповича не могло быть выполнено.

К Петру Филипповичу и его героической подруге жизни Розе Федоровне можно применить слова Н. Г. Чернышевского, сказанные им в 1861 г. в некрологе Н. А. Добролюбова: «Людям такого закала и таких стремлений жизнь не дает ничего, кроме жгучей скорби».

Д. ЯКУБОВИЧ

ПЯТЬ ПИСЕМ П. Ф. ЯКУБОВИЧА

В числе бумаг моего отца П. Ф. Якубовича-Мельшина, ныне погибших, находилось пять писем-записочек отца к родным, написанных им накануне и после вынесения ему смертного приговора (сохраненные его сестрой М. Ф. Якубович, они впоследствии, в 90-х годах, были переданы ею отцу). Копии с них, снятые мною в 1918 году, с возможной точностью, сохранились, благодаря любезности А. Г. Горнфельда²⁸, как и некоторые другие копии, до сих пор. Напомню, что письма относятся ко времени, когда кончился бурный период жизни П. Ф. Якубовича, занимавшего уже с весны 1882 года одно из центральных мест в группе петербургских народовольцев*, сохранившего вместе с В. А. Карауловым после страшного разгрома остатки партии до приезда из-за границы Г. А. Лопатина**, а после его ареста (6 октября 1884 г.) оставшегося фактическим руководителем революционного движения в Петербурге.

Все эти годы, сплошь занятые организацией революционных сил, попытками оживления разгромленной «Народной Воли», мучительнейшими теоретическими исканиями,— все это в атмосфере, отравленной дегаевским предательством,— требовали от П. Ф. Якубовича величайшего напряжения энергии, непоколебимой веры в дело. Он пытался организовать «Молодую Народную Волю», вел чтения, занятия и пропаганду среди рабочих, агитировал среди

студентов, поддерживал революционную связь с провинцией и заграницей. Он конспирировал и переписывался (огромная, простая и шифрованная, переписка поражала в суде), он организовывал тайную типографию в Дерпте, занимался составлением прокламаций, печатанием № 10 «Народной Воли» (в качестве автора статей, редактора, составителя арестной хроники, наборщика)*. Но вся эта лихорадочная деятельность, то в Петербурге, то в Киеве, то в Дерпте, при необходимости постоянно скрываться, жить по чужим паспортам, заботиться о том, чтобы сбить с толку филеров и замести за собой следы, все это как-то изумительно сочеталось с двумя другими сторонами души П. Ф. Якубовича — его нежным отношением к близким людям (матери, сестре, невесте — революционной соратнице)** и его любовью к литературе.

Через всю жизнь и творчество этого человека,— будут ли это стихотворения поэта «П. Я.», или записки бытописателя каторги Мельшина, переписка заговорщика «Александра Ивановича», или переписка литератора и редактора «Русского богатства» Гриневича-Якубовича,— проходят с исключительным постоянством эти три мотива — нежность к любимым людям, литературное горение и революционный долг.

Таков он и в эти годы: пишет кандидатскую диссертацию о Лермонтове и создает центр революционной

* См.: *Оберучев К. М.* Год жизни П. Ф. Якубовича.— Голос минувшего, 1914, № 7.

** См. заметку мою, посвященную моей матери, Р. Ф. Франк-Якубович, в сборнике «Якутская трагедия». — М., 1925, с. 171—184.

* Ср.: *Фигнер В. Н.* Запечатленный труд, 1922, II, 110.

** См.: *Попов И. И.* Минувшее и пережитое, 1925, I, 103.

партии; спорит о терроре и знакомит русскую публику с Бодлером²⁹; в до-суге между шифровкой писем и составлением прокламаций посвящает нежнейшую лирику любимой девушке; набирает номер подпольной газеты и пишет литературный некролог Тургенева. Ждет смертного приговора и пишет шуточные стихи. То же — и в письмах из крепости.

П. Ф. был арестован в один день со своей невестой, утром 15 ноября 1884 г., на Бассейной улице, в самый разгар своей кипучей деятельности, когда, по донесению графа Д. Толстого³⁰ Александру III, он проявлял «чрезвычайную осторожность и подвижность», и наблюдавшие за ним агенты полиции «опасались потерять его след»*.

В тот же день П. Ф. был заключен в камеру № 63 Трубецкого бастиона Петропавловской крепости.

Только теперь, когда его революционная энергия была парализована и «борьба не мешала быть поэтом», он может отдаться поэзии. В первый же день заключения он пишет стихотворение «Обряд окончился позорный», но, конечно, и в первых стихах его (они печатались всегда как якобы перевод «из поэмы Никколини») все одна мысль — о деле, вырванном из рук, о друзьях за стенами тюрьмы:

Вот вижу я, бродят они,
Отряды бойцов неумелых,
Лишенных в ненастные дни
Вождей закаленных и смелых.

В темницу я тело принес,
Но душу оставил на воле!

И так характерно, что в стихах этих дней и этих лет, в «сырых стенах» «с решеткою тройной», звучат только оптимистические слова, бодрые звуки: «не падайте гордой душою», «ходите, веселость храня», — это утешения, ободрения оставшимся.

И этот бодрый, не усталый, но из самой тюрьмы зовущий к борьбе и гордости тон, оставшийся навсегда в П. Ф.-че, звучит и в записках к дорогим людям.

В камере № 63 П. Ф. пришлось пробыть до декабря 1886 г., когда его перевели в Дом предваритель-

ного заключения. От этих двух лет до сих пор были известны только несколько стихотворений — среди них все больше шуточные тюремные строфы, утешающие родных, полные юмора над собственным положением:

За мое к свободе рвенье
Дал мне царь на много лет
Даровое помещенье,
И квартиру, и обед*.

19 апреля 1885 г. П. Ф. получил известие о выходе из Дома предварительного заключения и высылке на родину в Каменец-Подольск своей невесты — Розы Федоровны Франк. А он остался один в ожидании суда — каторги или смерти.

Дело вел товарищ прокурора М. М. Котляревский, защищать Якубовича должен был известный юрист В. Д. Спасович. Процесс Лопатина в С.-Петербургском военно-окружном суде происходил с 20 мая по 5 июня 1887 г.

Приводимый ниже текст упомянутых пяти писем сохраняет точность первоначальной копии, за исключением орфографии и пунктуации**.

Первая записка (без даты) относится, по-видимому, к 4 июня 1887 г., написана на крошечном лоскутке бумаги мелким бисерным почерком, несколько мельче обыкновенного.

1

Смею надеяться, что Вы, многоуважаемая Антонина Петровна, не рассердитесь на меня за то, что я без Вашего ведома и позволения воспользовался Вашим адресом для настоящего письма. Будьте добры — передайте его моей сестре. Вам самим целую ручки и*** посылаю сердечный привет. Остаюсь любящий Вас П е т р.

По указанию моей покойной матери Р. Ф. Якубович, эта записка относится к Антонине Петровне Кравцовой — либеральной пожилой даме,

* Во всех изданиях стихотворений П. Я. печаталось по цензурным условиям: «Дали мне на много лет» (изд-во «Просвещение», 1910, I, 119).

** Зачеркнутое в подлиннике — оговаривается в примечании. Характерно, что даже в этот драматический момент чувствуется внимание автора к своему стилю!

*** Зачеркнуто: «всей семье».

* См. Поляков А. С. Царь-миротворец. — Голос минувшего, 1918, № 1—3.

хорошей приятельнице отца. По-видимому, Кравцова и является каким-то образом передатчицей дальнейших его писем к сестре М. Ф. Якубович.

II

Среда, 4 июня, утро.

Быть может, еще успею написать Вам, мои дорогие. Коли нет — не беда, пот. что я все уже высказал Вам, и настроение мое не переменилось ни на йоту. Теперь же только о деле. Страшно тороплюсь. Теперь около 8 часов, и, чего доброго, сию минуту нас поведут. — Конечно, маленькая фея и др. разные сердобольные души всегда будут помогать кое-кому в Доме Пр. Закл., и часто помогают так. обр. черт знает кому! Лучше же помогать бедному С-му (если останется, понятно, жив), положение которого будет во сто раз хуже. Отец его небогатый сельский поп. Если бы ему (т. е. отцу) посылали хотя в два месяца один раз по пяти рублей (лишь бы аккуратно) да он что-ниб. прибавлял от себя — тогда было бы отлично. В этом смысле должно быть и письмо, и хорошо, кабы с первым же письмом ему было отправлено несколько рублишек, тогда о трусости и проч. с его стороны не могло бы быть и речи. Он размягчился бы. Сам С-кий только в том случае и просит писать, если будет найдено возможным какую-ниб. доброю душою помогать ему, самому же отцу он всегда отписывал свое положение хорошим. На первый раз спроси несколько рублей у жены Вас. Ивановича, у них куры, кажется, не клюют. С-ий заранее шлет горячее спасибо, а в случае отказа просит не церемониться. Сам он, впрочем, больше готов к смерти — и все это лишь на случай. Но я бы советовал все же сделать. Это на первый раз, не дожидаясь конца*. Особенных ужасов, как я сначала сказал, С-ий умоляет не описывать, а лишь в общих чертах. Еще раз повторяю адрес: Кам.-Под. губ., Летичевский уезд, станция Женшиковцы, слобода Шелеховская, Петру Федоровичу С-му. Прощай, милая Машенька, прощайте все, мои дорогие.

* Что я горжусь — ведь конец через сутки (примеч. П. Ф. Якубовича).

Надо, значит, объяснить только: куда посылать деньги. Вероятно, в Департамент, а не в самый Шл.? — Кроме того, объяснить отцу, что много-то денег и не нужно, что шесть или 8 рублей, кажется, наиб. число, кот. позволяют. Авось в складчину тебе и удастся по временам собирать кое-что для этой цели.

Хорошо бы отыскать ту барышню, о кот. я говорил, и велеть ей делать то же самое с родителями Д-ой. Но есть ли у нее родные? Я спрошу у нее*.

Р. С. Относительно Д. не надо заботиться — устроено**. Но для С. будет передавать деньги тебе жена В. И.***.

Четверг, 4 июня

(или среда?),

шесть часов вечера.

Милой Розочке еще один поцелуй. Пусть останется бодрой и веселой, как я, — об одном этом молю. Верю, что увидимся еще. Я все вынесу, если только**** окажется в человеческих силах, духом никогда не упаду — не бойтесь.

Прощайте все, мои милые, хорошие!

Суд, кажется, спит — ни слуху, ни духу. Я даже и теперь сравнит. спокоен, хотя знаю, что приговор мне один, неизбежный.

Что бы еще сказать? Совсем голова пустая — ждать надоело. Целую еще раз всех и особенно Розу, так как с Вами увижусь.

Крепко, крепко целую.

Письмо это по внешности — типичная записка из тюрьмы и по содержанию примыкает к типу прощальных писем революционеров, с минуты на минуту ожидающих казни. Записка, видимо, пишется нервно, спешно, тайком, урывками (даты обнаруживают, что она писалась в два приема), причем нет уверенности даже в две недели. В Дом предварительного заключения Якубович был переведен в декабре 1886 г., и письмо это писалось как раз в ночь перед вынесением смертного приговора.

* Зачеркнуто: «Отн.».

** Зачеркнуто: «Также и».

*** Дальше — на обороте той же мелко написанной записочки.

**** Зачеркнуто: «это».

ра Лопатину, Саловой, Якубовичу, Антонову³¹, С. А. Иванову³², Конашевичу и Стародворскому. Из письма видно, что П. Ф.-чу удалось уже разговаривать с родными. Характерно, что настроение его «не переменялось ни на одну йоту». Характерна и забота в последний момент о друзьях — о «деле». Характерна и забота в последний момент о друзьях — о «деле». Даже в заключении он не перестает действовать — организует через сестру коллективную помощь с воли заключенным и прежде всего — кандидатам в Шлиссельбург.

М. Ф. Якубович — «Машенька» — любимая сестра П. Ф. Лично не принимая участия в революционном движении, она и раньше и позже (и не только для одного брата, как мне приходилось слышать от П. Ф.-ча) являлась связью с волей — во время свиданий.

Роза — Р. Ф. Франк-Якубович.

«Маленькая фея» — прозвище, данное П. Ф.-чем А. М. Шеталовой, близкой приятельнице, также помогавшей с воли сидящим в Д. П. З.

С-кий — Н. П. Стародворский, фактический исполнитель казни над Судейкиным, тогда, по выражению Спасовича, «отборный член боевой дружины, человек надежный, с отвагою и стойкостью», впоследствии 18 лет просидел в Шлиссельбурге. Стародворский был семинаристом, а потом гимназистом в г. Каменец-Подольске. Исключен «за беспорядки» из гимназии, редактировал «Подольский листок». Товарищ Р. Ф. Франк, он через нее был впервые введен в петербургские революционные кружки. Еще в декабре 1881 г. — январе 1882 г. Департамент полиции допрашивал Франк о знакомстве с ним, обвиняя ее в посредничестве между каменец-подольской революционной группой и кружком П. Ф. Якубовича.

Стародворский судился вместе с Якубовичем по Лопатинскому процессу.

В письме идет речь об его отце — сельском священнике, через которого (как родственника) П. Ф. Якубович предполагал устроить передачу денег с воли.

Вас. Иванович — В. И. Сухомлин³³ — также сопроцессник Лопатина. Он вместе с его женой А. М. Сухомлиной³⁴ были позже вместе с

Якубовичами товарищами по каторге и ссылке.

Шл. — Шлиссельбург.

Под родителями «Д-ой» разумеются родители Г. Н. Добрускиной³⁵, впоследствии жены Адриана Михайлова³⁶. Добрускина в качестве агента организованной П. Ф. Якубовичем «Молодой Народной Воли» была в начале мая 1884 г. направлена им по революционным делам в Ростов.

III

Утро 6 июня.

Милые друзья мои! Вот, наконец, и приговор. Я боюсь, что, несмотря на вчерашний наш разговор и мое предупреждение, Вы поражены страшно. Но я ведь так и ожидал, что меня приговорят без оговорок. Выслушал я приговор так спокойно, что и сам того не* предвидел, и ночь спал по обыкнов. хорошо. Конечно, надежда еще есть, и помирать мне неохота, но все-таки я стараюсь не думать о надежде и почти уже приготовился к настоящей смерти. Сегодня на прогулке беседовал с Лоп. и Стар., и это меня еще больше ободрило — на людях как-то и смерть красна. Вся моя забота о том, как бы Вы смогли все это вынести. Дорогие мои, не огорчайтесь. Ведь все равно умирать когда-нибудь нужно каждому человеку, а к тому, что меня заключат в Шлюшино, вы уж давно должны были подготовить себя. Главное, не заглядывайте в будущее!

Всех Вас крепко обнимаю и целую. — Я очень рад за Кирсанова и др., что суд взглянул на их** пустяки трезвыми глазами. — Простите***, что пишу мало — как-то не хочется. Но не подумайте только, что это потому, что я не бодр. Вот вы увидите сегодня на свидании, какой я веселый, без всякого принуждения, Ваш П. Я.

Лопатин гов., что Котляревский съел два прескверные гриба: что Сухомлина оправдали по мнимой распор. комиссии, а его, Лоп., по уб. Судейкина, что доказать было мечтою К.

* Зачеркнуто: «ждал».

** Зачеркнуто: «плевое».

*** Перед «простите» зачеркнуто: «пиши».

Дата письма — утро 6 июня. В ночь на 5 июня был вынесен смертный приговор. Таким образом, письмо написано непосредственно после него. Двадцатипятилетний юноша — автор письма — истомлен почти трехлетним тюремным заключением и последними днями: тринадцатью днями суда, на котором вновь пришлось пережить драму последних лет, на котором сам он только накануне произнес полную энергии и силы 5-часовую речь. Приговор несколько неожиданный для него, ждавшего каторги или Шлиссельбурга, — смертный приговор. Но в письме к родным ни тени уныния, только разве впервые один штрих, намекающий на некоторую усталость, — он пишет мало, потому что «как-то не хочется». Письмо полно душевного здоровья и бодрости, которую ему хочется перелить в родных, подготовить их к неизбежному.

Письмо интересно и как свидетельство о жизнерадостности других товарищей.

Лоп. — Г. А. Лопатин*.

Стар. — Н. П. Стародворский.

Шлюшино — Шлиссельбург.

Кирсанов — В. И. Кирсанов³⁷, поименован 15-м в обвинительном акте, был присужден в тюрьму на 4 месяца.

«К.» — упомянутый товарищ прокурора М. М. Котляревский. Он изображен был П. Ф. Якубовичем в писавшейся в крепости поэме «Сын».

Отрывок, пересланный через М. Ф. Якубович на волю, появился в печати в том же 1887 году в изданных ею «Стихотворениях Матвея Рамшева» (стр. 107). На суде Котляревский, усмотрев памфлет на себя, присоединил рукопись поэмы к делу. К характеристике прокурора привожу примечание отца к его другим стихам, имеющим в виду того же Котляревского:

Вы говорите: «Не нужна
Нам слава, не страшны потомки,
Укроют наши имена
Забвенья мирные потемки».
Забвенья ждете вы? — О, нет!
Вам мало было бы забвенья**.

* О взаимоотношениях Лопатина и Якубовича на воле см.: Лопатин Г. А. По поводу «Воспоминаний народовольца» А. Н. Баха. — Бюл., 1907, № 4, а также: «Современник», 1911, № 1, с. 158.

** См. все стихотворение в изд. «Просвещение», 1910, 1, 146.

Вот это примечание отца, неизвестное в печати:

«По поводу одного разговора с тов. прокурора М. М. Котляревским, который вел мое дело. Он, именно, говорил мне елейным, иудушкиным тоном: «Мы — люди маленькие. Славы нам не нужно, и, конечно, потомки не будут нас помнить».

IV

8 июня 87 г., понедельник.

Милые мои, дорогие! Не могу написать много, пот. что пишу без очков: еще не приходил доктор и не разрешил. Но и откладывать также не хочу, ввиду возможности скорого перевода еще куда-ниб. дальше; а мне так нужно хоть немного утешить Вас.

Я как будто предчувствовал вчера на свидании, что мы видимся последний раз в Доме Предв. Закл. Но Вы, мои бесценные, не ждали этого, и я воображаю, какой был Вам удар — прийти сегодня и уже не застать меня. Но зато я никогда не прошу себе, что, уходя из суда, забыл, совершенно забыл взглянуть на Ваше место. Ах, если бы по какой-ниб. случайности оно было в этот посл. раз пустое! А то как было Вам горько, что я прошел мимо и не заметил Вашего взгляда, не послал Вам улыбки. Простите ли Вы меня за это? Но я* полон был такими разнородными чувствами и мыслями.

Но что же говорить о прошлом. Вы, конечно, прежде всего интересуетесь** моим теперешним положением и состоянием духа. Если бы дело было зимою, я, мож. быть, и пожаловался бы Вам на то, что сижу теперь в нижнем этаже, а не*** в верхнем, как бывало прежде, и что внизу потемнее и посурее; но теперь ведь лето и везде хорошо. Но, ради Бога, не думайте, что бы это**** ничтожное ухудшение было прологом к другим всякого рода ужасам и чтобы это делалось кем-ниб. намеренно и проч. Все эти слухи — вздор, я Вам всегда говорил это и теперь опять повторяю. Причина одна: недостаток места наверху, и к тому же

* Зачеркнуто: «на».

** Зачеркнуто «теперь».

*** Зачеркнуто «вв.».

**** Следующие 12 слов вставлены сверху.

ремонт. Все остальное, начиная с обращения и кончая пищей, точь-в-точь то же самое, что и прежде; лучше пожелать ничего невозможно. Признаюсь, я и сам провел несколько часов в порядочной хандре; но сейчас окончательно убедился, что все страхи — вздор, после того как побывал на прогулке и снова увидел мой любимый садик, моих голубков и воробышков. Ну, все, решительно все, как и прежде. Одно только грустно на душе, когда вспомнишь о Вас, моих милых, любимых, дорогих, когда вспомню тебя, Машенька, такую, какою ты была третьего дня, когда прощалась со мною и плакала. О, нет! ради Вас* судьба оставит мне жизнь, я в это верю.

Смерти я не боюсь — Вы знаете, и встретил бы ее, как друга, улыбаясь, но что бы случилось тогда с тобой, моя дорогая голубушка? Эта мысль меня терзает, и она же подсказывает мне: «Этого не будет, этого не должно быть!».

Не плачьте же, ничего не бойтесь и не теряйте надежды. Шлиссельбург вовсе не так страшен, как рисуют его слухи. Никто ничего верного не знает — вот в чем и все дело. Но я узнал теперь наверное: там библиотека лучше, чем в крепости, там дают письм. принадлежности и прогулки; только камеры очень маленькие. Но это не беда. Если не будут давать физич. работ, я все равно целых полдня буду заниматься гимнастикой, разумеется, с передышками (как, напр., сегодня). Здоровье буду беречь, веры в будущее не потеряю. Не такой же я страшный преступник, чтобы мне был уже отрезан всякий путь к возврату; смертный приговор — был простой случайностью, так сложились обстоятельства, и само начальство, вероятно, прекрасно это понимает. Глядите же на наше горе философски, как я: давно уже идут под гору наши семейные дела; теперь мы очутились** у самой подошвы горы, и верьте, что скоро опять начнем подниматься вверх. Право, так. Если оставят меня в живых — ну, что же?*** Проведу в Шл. 3—5 лет, а затем, наверное, и опять увидимся: Вы будете хлопотать, я буду вести

себя «тихо, скромно, благородно». Только будьте здоровы, мои милые, и не унывайте. Хорошо, если бы Вы успели передать мне еще одну пару теплого белья из сосн. шерсти. Шубы, понятно, не нужно.

Милая, добрая Машенька, крепко, крепко поцелуй за меня Розу и скажи ей то же самое, что я говорю тебе. Мужайтесь, не плачьте! Прощайте, прощайте, целую всех Вас и обнимаю несчетное число раз.

П. Якубович

Это письмо написано через 3 дня после приговора, уже вновь из Трубецкого бастиона (но из нижнего этажа, где и «потемнее и посырее»), куда П. Ф. был переведен тотчас же после приговора.

Мать и сестра, не зная о переводе, добились разрешения свидания в Доме пр. закл., но П. Ф. уже там не было.

Письмо характерно для П. Ф. своей почти детской душевной ясностью. Так типичны для него эти укоры себе за то, что, уходя из суда, «забыл взглянуть» в сторону родных, нежная заботливость и беспокойство, чтобы они не тревожились по поводу «ничтожных ухудшений», наивные ухищрения обьяснить их «недостатком места» и «ремонтom» наверху. И только здесь проскальзывает невольной фразой о «нескольких часах хандры», сейчас же, впрочем, завуалированная бодрим и нежным тоном, даже этими упоминаниями о тюремных голубях (им посвящены и две пьески в стихотворениях П. Я.). Все письмо драматично тем, что человеку, приговоренному к смерти, приходится убеждать родных в том, во что он сам, конечно, ни на минуту не верит. И вот Шлиссельбургский гроб под его пером превращается чуть не в идилию...

Не следует упускать из виду при чтении этого письма, что цель его прежде всего утешение матери. В упомянутой поэме П. Ф. «Сын» революционер не хочет открыть врагам своей фамилии, чтобы не узнала мать:

Матушка, жди! Не поникни душой!

.....
Страхом за милого сына томимая,
Думу за думой гадай,

* Зачеркнуто: «мои хорошие».

** Зачеркнуто: «по».

*** Зачеркнуто: «Провд.».

Но про печальную правду, родимая,
Ты никогда ничего не узнай!

В чистое поле гляди,
Сына погибшего жди!

Ремонтированная Шлиссельбургская тюрьма начала (по инициативе гр. Д. Толстого) вновь функционировать как раз с августа 1884 г.* и представлялась в то время наиболее страшным местом заточения.

С петлей на шее сидел П. Ф. и семь его товарищей в течение трех недель. Через неделю после «помилования» он был снова переведен в Дом предварительного заключения и 20 июля 1887 г. отправлен в Сибирь, на каторжные работы.

У

У нас стоят морозы в 53 градуса по Цельсию, что равняется 40° по Реомюру... Бедная Розочка! Как-то ей живется в эти страшные холода? Ведь там они еще сильнее...

Очень заинтересовал нас отзыв в некоторых журналах об англ. романе Уоллеса из жизни Христа. Он переведен недавно на р. яз. и издан редакцией «Недели». Прочитай его, пожалуйста, и скажи, что это за вещь. А быть может, тебе удастся как-нибудь и для нас его раздобыть. Заглавие забыл.

В стих. «Яркие звезды»:

Верной они** стезей
Двигутся — гордые, вечные!

При случае напиши, пожалуйста, полный текст одной из «Песен о разлуке», именно той, где говорится в начале:

Серебряным блеском луны залитое
Окно озаряло каморку дремавшую —

Под жизненной вьюгою
Как родное дитя берегла.

В. ЕВГЕНЬЕВ-МАКСИМОВ¹

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

В ЕГО ПЕРЕПИСКЕ С Н. А. НЕКРАСОВЫМ

(По неизданным материалам)

М. Е. Салтыков и Н. А. Некрасов в 60-х, а главным образом в 70-х годах находились в теснейшем деловом

конечно, в исправленном виде этого текста.

В др. стих. читай: «Руки горестно сжав, с болью в сердце* тупой и бессильной в рыданиях излиться... наступил нам навек разлучиться». Еще в другом: «Когда сомненья коршун жадный, всю выпив кровь из наших жил, во мраке ночи непроглядной покинул нас, лишенных сил (хоть сил кипучих в полном цвет!) — вдруг» и проч. В конце: «вдруг звуком слов холодных, медных» (а не «кинжалом слов»).

Это письмо по внешности — такая же восьмушка бумаги, исписанная мелким почерком, как и предыдущие письма. Датирую его зимой 1888—1889 г., так как упоминаемый исторический роман Л. Уоллеса «Во время оно» закончился печатанием в июльском номере «Книжек Недели» за 1888 год. Эту зиму П. Ф. проводил в Карийской государственной тюрьме, а Р. Ф. Франк, с которой ему удалось свидеться и вновь расстаться 6 декабря 1887 г. в Иркутске**, уже проходила через Якутск.

Стихотворные поправки имеют в виду старые стихотворения***. Следует заметить, что Марья Филипповна Якубович, к которой адресовано данное письмо, как и раньше, являлась, с одной стороны, посредницей для карийцев с волей, а с другой стороны, именно она в годы каторги брата знакомила «волю» с его стихами и, беззаветно преданная ему, «каждый стих» его

* Ср.: Якубович П. Шлиссельбургские мученики [СПб., 1906].

** Зачеркнуто: «неизменной».

* Зачеркнуто «глухой».

** Ср.: Стихотворения П. Я., 1910, I, 177.

*** После революции «Стихотворения П. Я.» не переиздавались; в прежних изданиях см. цикл «Возмущение любви».

слова, являлись в это время знаменосцами одного и того же литературно-общественного направления, проповедниками одной и той же идеологии. Но в предшествующее десятилетие — в 50-е годы — этого контакта между ними не существовало; мало того, они, по-видимому, не слишком симпатизировали друг другу. Хотя первое, относящееся к 1857 г., упоминание Некрасова о Салтыкове-Щедрине, в связи с его литературным дебютом, «Губернскими очерками», носит вполне благожелательный характер*, но каким-нибудь месяцем спустя Некрасов, недавно возвратившийся из-за границы и плохо еще разбиравшийся в новых для него впечатлениях русской жизни, которая за годовое почти отсутствие его в России далеко ушла вперед, готов был бранить русскую литературу вообще («все доносы на квартальных да на исправников — однообразно и бездарно»), в частности, сетовать на «односторонность» Чернышевского и называть Щедрина, этого «гения эпохи», туповатым, грубым и страшно зазнавшимся господином**.

Впрочем, в этих резких и, конечно, по существу своему, глубоко несправедливых словах сказало, по-видимому, неприятное впечатление от

* В письме к Тургеневу от 30 июня 1857 г. (Пыпин Н. А. Некрасов. СПб, 1905, с. 173) Некрасов называет «отличной» статью Чернышевского о «Губернских очерках», в которой Чернышевский, поставив Щедрина на одну доску с Гоголем и Тургеневым, заявлял: «Губернские очерки» мы считаем не только прекрасным литературным явлением, — эта благородная и превосходная книга принадлежит к числу исторических фактов русской жизни. «Губернскими очерками» гордится и долго будет гордиться наша литература. В каждом порядочном человеке русской земли Щедрин имеет глубокого почитателя. Честное имя его между лучшими и полезнейшими и даровитейшими детьми нашей родины. Он найдет себе много панегиристов, и всех панегириков достоин он. Как бы ни были высоки те похвалы его таланту и знанию, его честности и пронизательности, которыми поспешат прославлять его наши собратия по журналистике, мы вперед говорим, что все похвалы не будут повышать достоинств книги, им написанной».

** Набранные разрядкой слова мы берем из подлинного письма Некрасова к Тургеневу от 27 июля 1857 г. А. Н. Пыпин, печатая это письмо в своей книге о Некрасове, из ложной тенденции замалчивать отрицательные отзывы писателей передового лагеря друг о друге, не включил этих слов в текст письма, заменив их многоточием,

личного знакомства с Салтыковым, угловатость в манерах и обхождении которого общеизвестны и не на одно-го Некрасова действовали отрицательно. Достаточных же оснований утверждать, что Некрасов в корне изменил свое благожелательное мнение о Салтыкове, как писателе, эти слова, несмотря на их резкость, все же, думается, не дают. Как бы то ни было, в конце 1857 г. на страницах некрасовского «Современника» (№ 10) Салтыков напечатал «картину провинциальных нравов» «Женных», в 1859 г. — рассказ «Развеселое житье» (№ 2); а с 1860 г. становится почти исключительным сотрудником «Современника», в конце же 1862 г. входит в редакционную коллегию журнала.

Характерно, что относящиеся к концу 50-х и самому началу 60-х годов упоминания о Некрасове в его переписке свидетельствуют, что и его отношение к Некрасову в это время не было доброжелательным. Так, в письме 1859 г. к Анненкову² из Рязани* Салтыков сетует на Некрасова за то, что он, несмотря на его просьбы, не удосужился прочесть его рассказа, предназначенного к помещению в «Современнике» (очевидно, речь идет о «Развеселом житье»). В следующем письме тому же адресату (от 3 февраля) Салтыков, сообщая о похвалах Некрасова его рассказу, добавляет: «Я как-то не доверяю его похвале, потому что он все в воздухе нюхает и заботится только о том, чтоб на публику впечатлительное было». В письме к Анненкову начала 1860 г. (от 27 января) Салтыков заявляет, что «с Некрасовым тяжело иметь дело», и выражает желание перейти в «Библиотеку для чтения» — к Дружинину³. Однако переход этот все же не состоялся; разрыв с «Современником», который, по признанию самого Салтыкова (в письме к Дружинину от 13 февраля 1860 г.), «всего более в ходу» у русской читающей публики, о «честной деятельности» которого «говорят даже на актах в гимназиях», — Салтыков не решался. Жалеть об этом ему,

* В тех случаях, когда мы ссылаемся на письма Салтыкова, не оговаривая источника, речь идет о письмах, напечатанных Н. В. Яковлевым в издании «Письма Салтыкова-Щедрина» (Л., 1925).

разумеется, не пришлось. Оставшись в «Современнике», он остался в главном русле русской литературы своего времени; он связал свое имя с именами общепризнанных «властителей дум» 60-х годов — Чернышевского и Добролюбова. Да и недостатки Некрасова, на которые он указывал в своих письмах, оказались, при более близком соприкосновении с ним, не столь существенными, как это представлялось ему ранее. А затем — и в этом, быть может, основная причина сближения Салтыкова с Некрасовым — Салтыков не мог не почувствовать в Некрасове идеологически и даже психологически родственного себе писателя. Проведение аналогии в указанном смысле между произведениями того и другого — дело специального и, без сомнения, могущего дать весьма ценные результаты исследования. Не задаваясь целями такого исследования, считаю все же не лишним отметить, что через творчество и Салтыкова, и Некрасова красною нитью проходит страстная, все существо названных писателей проникающая любовь к родной природе, к родному народу. Эта органическая, «нутряная», если так можно выразиться, любовь лежит в основе и салтыковского, и некрасовского «народничества». Некрасов, обращаясь в 1875 г. к Салтыкову, уезжавшему за границу, со стихотворным пожеланием: «О нашей родине унылой в чужом краю не позабудь!», — мог быть совершенно уверенным в том, что этого не случится, ибо Салтыков еще на страницах своих «Губернских очерков» признавался: «Перенесите меня в Швейцарию, в Индию, в Бразилию, окружите какую хотите роскошною природою, накиньте на эту природу какое хотите прозрачное и синее небо, — я все-таки везде найду милые серенькие тоны моей родины, потому что я всюду и всегда ношу их в моем сердце, потому что душа моя хранит их, как лучшее свое достояние». Эти слова, в сущности, повторяют то, что в том же 1857 году было сказано Некрасовым в его «Тишине». Здесь поэт, обращаясь к «родной стороне», восклицает:

За дальним Средиземным морем,
Под небом ярче твоего,
Искал я примиренья с горем,

И не нашел я ничего...
Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль.

А разве известная тирада Салтыкова из удивительного по своему лирическому подъему рассказа «Христос Воскресел» о «сером армяке», который целый год обливает потом кормилицу-землю, не находит себе десятков параллелей в творчестве «печальника горя народного»?

Число подобных примеров можно было бы во много раз увеличить, но и приведенных достаточно, чтобы судить о том, что уже в 1857 г. Салтыков и Некрасов, еще очень мало зная друг друга и, как мы видели, не слишком даже симпатизируя один другому, были братьями по убеждениям, так как ими владело одно и то же настроение, одно и то же пламя пылало в их сердцах...

Вот это сродство убеждений и настроений и обусловило собою тот факт, что Салтыков, порвавший в начале 1862 г. с чиновничью службой (на этот раз не окончательно), причалил свою ладью к корме того большого журнального корабля, который назывался «Современником». Причалил, несмотря на то, что данный момент был одним из наиболее тяжелых в истории этого журнала. В июне 1862 г. «Современник» был запрещен на целых восемь месяцев и арестован его главный сотрудник — Н. Г. Чернышевский. И это запрещение, и этот арест были вызваны усилением реакции как в правительстве, так и среди представителей имущих классов и стремлением реакционеров, с помощью крутых мер, расправиться с ненавистным «нигилизмом». И если Салтыков не побоялся в это именно время занять в редакции «Современника» одно из наиболее видных мест, то в этом нельзя не усмотреть и проявления солидарности с направлением журнала, и акта некоторого гражданского мужества. С другой стороны, отношения между Салтыковым и Некрасовым вполне уже, надо думать, урегулировались, базируясь на чувствах взаимного уважения и доверия. Как раз в исходе 1862 г. произошло, если судить по воспоминаниям Елисеева⁴ (см. нашу статью «Редакция «Современни-

ка» в 1866 г.».— Голос мин., 1915, № 1), некоторое охлаждение между Некрасовым и ближайшими сотрудниками «Современника» Антоновичем⁵ и Елисеевым. Они готовы были подозревать Некрасова (и совершенно неосновательно, как выяснилось в скором будущем) чуть ли не в ренегатстве и имели в виду прекратить свое сотрудничество в «Современнике». Салтыков, очевидно, совершенно не разделял этих подозрений, ибо именно в это время вошел в редакцию «Современника». Письмо Салтыкова к Некрасову от 29 декабря 1862 г. не оставляет никакого сомнения в том, что Некрасовым были доверены Салтыкову такие дела, которые составляют функцию если не самого редактора, то, во всяком случае, одного из соредакторов: Салтыков, судя по этому письму, вел сношения с цензурными инстанциями, принимал от авторов статьи и оценивал их литературные достоинства, имел голос при установлении порядка печатаемого в номере материала, отправлял материал в типографию и т. д. С другой стороны, его сотрудничество в «Современнике» в 1863—1864 гг. было исключительно интенсивным. Без всякого преувеличения можно сказать, что он был самым плодовитым его сотрудником. Так, например, по данным А. Н. Пыпина, Салтыковым в 1863 г. было напечатано в «Современнике» 25 статей и заметок и 12 рецензий, что, в общей сложности, составляет огромный том в 550 страниц убористой печати. Однако обследование разысканных мною конторских книг «Современника» приводит к убеждению, что в списке Пыпина имеются значительные пробелы. По моим подсчетам, сверх указанных Пыпиным, Салтыков в 1863 г. напечатал в «Современнике» 4 статьи и заметки и 7 рецензий, занимающих 77 страниц. В результате получаются колоссальные цифры: 29 статей и заметок и 19 рецензий, составляющих 627 страниц.

И это итог сотрудничества Салтыкова в течение одного только года! Само собой разумеется, что Некрасов не только должен был доверять ему, но и чрезвычайно ценить его, раз он дал ему возможность столь широкого сотрудничества в «Современнике». И он не ошибся в своих

расчетах. Салтыков, заполняя страницы «Современника» своими писаниями, делал важное и нужное дело: его публицистика 1863—1864 гг. была в своем основном итоге проникнута пламенным и неукротимым стремлением — дать отпор все усиливавшемуся реакционному поветрию и, без сомнения, в пределах возможного достигала своей цели. В упомянутой уже книге Пыпина подробно излагается содержание наиболее важных по своему общественному значению публицистических статей Салтыкова этого времени, а потому, не загружая статью повторением уже сказанного покойным исследователем, отмечу, что констатированное выше идеологическое сродство Салтыкова и Некрасова в эту пору их совместной деятельности выступало в еще более ярких формах, чем раньше. Вот два примера разительного совпадения в полемических выпадах того и другого. Достаточно было Салтыкову посмеяться над оппортунистом Краевским⁶, издателем «Отеч. Зап.» и «Голоса», который, стараясь уверить, кого следует, в своей благонадежности, не уставал твердить, что «Ледрю-Роллен был, да вышел весь», газету же свою превратил в «Куриное эхо», от первой до последней строки умилявшееся якобы наступившему в курином мире благоденствию, как Некрасов посвящает редакции «Куриного эха» целую сатиру, в которой, буквально повторяя Салтыкова, вкладывает в уста Краевского, между прочим, такие слова:

Но теперь с Ледрю-Ролленом
Баста! Вышел весь!

И наоборот: достаточно было Некрасову, разошедшемуся с Тургеневым вследствие его принципиальных несогласий с направлением Чернышевского и Добролюбова, составить себе отрицательное мнение о романе «Отцы и дети» (в относящемся к середине 1861 г. стихотворном «Послании к Тургеневу» поэт упрекает своего бывшего друга в том, что он, «едва луч блеснул сомнительного света, задул свой факел и ждет рассвета», направляя «удары» «на идущих до конца»), как Салтыков не усомнился заявить о «страшной услуге», оказанной делу русского прогресса Тургеневым, окрестившим

представителей молодого поколения «нигилистами».

Несмотря на интенсивность литературной работы Салтыкова в 1863—1864 гг., он не чувствовал себя вполне удовлетворенным ею и начал подумывать о возврате к прежнему роду деятельности. Здесь, надо думать, прежде всего сказывалась приобретенная им в течение долгих лет и еще не атрофированная привычка к практической деятельности, которая в большей мере давалась чиновничьей службой, чем литературой. Ведь из дошедших до нас воспоминаний о Салтыкове-чиновнике мы знаем, что он вкладывал в свою службу много кипучей энергии, много искреннего стремления быть полезным и умел (редкое качество для чиновников старого режима!) служить не лицам, а делу. Затем прямая и угловатая натура Салтыкова не мирилась с необходимостью приспособляться к требованиям цензуры, ладить с цензорами, вообще идти на многое множество всяких компромиссов, без чего очень трудно, почти невозможно было обойтись передовому литератору того времени. В воспоминаниях Панаевой-Головачевой⁷ содержится не лишенный колоритности рассказ об обстоятельствах, предшествующих отходу Салтыкова от литературы: «Я была свидетельницей, однажды, страшного раздражения Салтыкова против литературы. Не могу припомнить названия его очерка или рассказа, запрещенного цензором... Салтыков явился в редакцию в страшном раздражении и нещадно стал бранить русскую литературу, говоря, что можно поколоть с голоду, если писатель рассчитывает жить литературным трудом, что он не заработает на прокорм своей старой лошади, на которой приехал, что одни дураки могут посвящать себя литературному труду при таких условиях, тогда как какой-нибудь вислоухий камергер имеет власть не только исказить, но и запретить печатать умственный труд литератора, что чиновничья служба имеет перед литературой хотя то преимущество, что человека не грабят, что он каждое утро отсидит известное число часов на службе и получает каждый месяц жалованье, а вот он теперь и свищи в кулак. Сал-

тыков уверял, что он навсегда прощается с литературой, и набросился на Некрасова, который, усмехнувшись, ему заметил, что не верит этому...»

Точно желая доказать свою правоту, Салтыков в конце 1864 г. оставляет «Современник» и вновь поступает на службу. Хотя его впечатления от Пензы и пензенской казенной палаты, председателем которой он был назначен, были безотрадны, хотя его надежды иметь некоторый досуг от служебных занятий, который мог бы быть использован в интересах литературной работы, не оправдались, но все же первые два года, т. е. 1865 и 1866 гг., он твердо выдерживал наложенный на себя искус, почти ничего не писал и не печатал в «Современнике». Однако переписку с Некрасовым поддерживал. Одно из его писем к этому последнему (от 8 апреля) весьма интересно в том отношении, что вскрывает скептическое, если не сказать отрицательное его отношение к тем сотрудникам «Современника», которые пытались «заступить место» сосланного Чернышевского и умершего Добролюбова, в особенности к М. А. Антоновичу. Осенью 1867 г. и в течение всего 1868 г. переписка между Салтыковым и Некрасовым стала особенно интенсивной. Дело в том, что после годового с лишним бездействия, вызванного запрещением «Современника» (в мае 1866 г.), Некрасов решил вернуться к журнальной деятельности и остановился на мысли заарендовать «Отеч. Зап.» А. А. Краевского. Эту мысль Некрасов развивал на особом собрании литераторов в октябре 1867 г., на котором присутствовал и Салтыков, находившийся в Петербурге, перед тем, чтобы ехать на место своего нового назначения — в Рязань. Из воспоминаний Елисеева (отрывки из них мною напечатаны в ст. «Некрасов и Елисеев». — Голос минувшего, 1916, № 2) известно, что план Некрасова признавался, в общем, приемлемым, но вопрос о том, кому быть ответственным редактором «Отеч. Зап.», возбудил «страстные дебаты». Так как не было никакой надежды на то, что в звании редактора будет утвержден кто-либо из бывших сотрудников «Современника», то Некрасов, за неимением

Другого исхода, считал возможным оставить в качестве ответственного, хотя и фиктивного, редактора Краевского; Салтыков же и Елисеев горячо восстали против этого, утверждая, что «это будет измена направлению „Современника“». «Некрасову пришлось напрячь всю силу своей диалектики, чтобы заставить их уступить...» Салтыков должен был, однако, уехать в Рязань раньше, чем переговоры с Краевским пришли к благополучному завершению, а как только это произошло,— Некрасов прислал ему телеграмму с предложением участвовать в «Отеч. Зап.». Сотрудничество Салтыкова в «Отеч. Зап.» сразу же приняло необычайно деятельный характер: даже по данным далеко не полной библиографии А. А. Шилова⁸, приложенной к книге К. Арсеньева⁹ о Салтыкове, в 1868 г. Салтыков печатался в восьми №№ «Отеч. Зап.». Само собой разумеется, что интенсивное сотрудничество должно было вызвать и интенсивную переписку. И действительно, в «Письмах Салтыкова» находим 15 писем (№№ 36—50) Салтыкова к Некрасову, относящихся к последним двум месяцам 1867 г. и первым пяти месяцам 1868 г. Содержание их преимущественно касается тех произведений, которые пересылались Салтыковым Некрасову для помещения в «Отеч. Зап.», и вопросов, связанных с их напечатанием. В нескольких письмах имеются упоминания о той чисто редакторской работе, которую Салтыков взял на себя по просьбе Некрасова,— подготовке к печати романа Решетникова¹⁰ «Где лучше». Общий тон писем свидетельствует о наличии между корреспондентами отношений, основанных на готовности помогать друг другу и доверии. Так, например, Салтыков не только «сердечно» благодарит Некрасова за «выказываемое тепло к нему участие», в частности за заем в размере 2500 руб., но и обращается к нему за советами по вопросам чисто литературного характера, например: «стоит ли продолжать» начатое им произведение. Я имею возможность познакомить читателей еще с тремя до сих пор неизвестными письмами Салтыкова к Некрасову 1868 г.

Рязань, 21 марта [1868 г.]

Посылаю Вам, уважаемый Николай Алексеевич, разбор «Бродящих сил»*. Извините, более не успел, не по недостатку времени, а оттого, что мною овладела страшная тоска. К майской книжке пришлю все остальное**. Тут же, кстати, будет святая, и времени выйдет довольно. Отчего Вы не печатаете фельетон?*** Оттого ли, что он не хорош, или оттого, что печатать его не время теперь? Скажите, пожалуйста, прямо, ибо это необходимо для моих соображений. Я было собрался другой фельетон писать.

Мои «Письма из провинции» весьма меня тревожат. Здешние историографы****, кажется, собираются жаловаться, а так как тут все дело состоит в том, я ли писал эти письма или другой, и так как, в существе, письма никакого повода к преследованию подать не могут, то не согласится ли Слепцов***** или кто другой назвать себя отцом этого детища, в случае, ежели будут любопытствующие узнать это. Впрочем, я оставляю это на Ваше усмотрение, потому что я теперь потерял всякую меру. Скоро, кажется, горькую буду пить. Так оно скверно.

Весь Ваш
М. Салтыков

* Разбор двух повестей В. Авенариуса, объединенных в книге под заглавием «Бродящие силы», появился в № 4 «Отечественных записок» за 1868 г.

** В майской книжке кроме очередного «Письма из провинции» помещена неподписанная рецензия Салтыкова на книгу Д. Д. Миньева «В сумерках. Сатиры и песни».—СПб, 1868.

*** Речь идет об очерке «Легковесные», впоследствии введенном в «Признаки времени». Очерк этот хотя и был напечатан в «Отеч. Зап.», но лишь в 9-й кн. 1868 г. Причина задержки в напечатании очерка была, очевидно, цензурная: по напечатании «Легковесные» вызвали серьезное неудовольствие цензуры и навлекли на «Отеч. Зап.» обвинение в «сродстве» с «Современником».

**** В «Письмах из провинции» (первое было напечатано в февральском номере «Отеч. Зап.», 1868 г.) Щедрин бичевал провинциальную администрацию, называя ее представителями «историографами».

***** Вас. Алекс. Слепцов, известный беллетрист, сотрудничал в «Современнике» и «Отеч. Зап.», ум. в 1878 г.

Рязань, 25 марта [1868 г.]
 Многоуважаемый
 Николай Алексеевич!

Отвечать СПб. Вед.* значило бы только раздуть глупейшую историю, которая, несомненно, упадет сама собою. Да и на что отвечать? На каком основании утвердиться? Основание это есть, но оно нецензурное.

В этом-то вся и беда, что мы не можем высказывать всей своей мысли. Я намеревался писать о священных отечественных нужниках и о каплунах — статья эта могла бы быть косвенным ответом на вздорные нападки по поводу «Нарцисса», но отложил это писание до напечатания первого посланного Вам фельетона. Теперь я вижу, что фельетон мой, по обстоятельствам, едва ли может быть напечатан, и на святой пришлю Вам другой фельетон, который будет служить ответом Пб. Ведомостям**. Роман Решетникова такой навоз, который с трудом читать можно. Однако я его выправляю и думаю, что в этом виде можно будет его печатать. Боюсь, не надует ли Вас Решетников и не есть ли этот роман его перепечатка романа «Глумовы», когда-то печатавшегося в Рус. Слове***. Я «Глумовых» не читал, но есть признаки, которые наводят сомнение. Во всяком случае, послезавтра я эту работу кончу и вышлю Вам роман.

Здесь все узнали, кто автор «Писем из провинции», — и дуются безмерно.

Разумеется, нельзя думать, чтобы 2-е письмо смягчило впечатление. Мне очень трудно и тяжело; почти неминуемо убраться отсюда. Нельзя ли пристроить меня при новом управлении Никол. железн. дорогой чем-нибудь вроде директора по счетной части, или в новом поземельном

* Имеется в виду, надо думать, № 80 «СПБ. Вед.» 1868 г., в котором были напечатаны письма сторонников земства с выражением огорчения по поводу критического отношения Щедрина к работе земства, выразившегося в его очерке «Новый Нарцисс, или Влюбленный в себя» («Отеч. Зап.», № 1 за 1868 год).

** По-видимому, такого фельетона Салтыков не написал.

*** Двойная ошибка Салтыкова: 1) Роман «Глумовы» печатался не в «Русск. слове», а в «Деле» 1866—1867 гг. и 2) Роман Решетникова «Где лучше», присланный ему на просмотр, ничего общего с «Глумовыми» не имеет.

банке. Я был бы крайне рад, потому что обстоятельства мои из рук вон плохи.

Весь Ваш
 М. Салтыков
 Готового у меня ничего нет.

3

[Петербург,
 сентябрь — октябрь 1868 г.]*
 Посылаю Вам, многоуважаемый Николай Алексеевич, две формы «Современных Заметок»**. Я думаю, что букет их не совсем понравится. Поправлять и исключать тут нечего, потому что все одинаково. По мнению моему, фельетонная форма вообще мало пригодна для «Внутреннего обозрения», ибо она неминуемо влечёт к подбору фактов в известном смысле. Но все-таки должно сказать, что статья Розанова очень хороша, только она неминуемо навлечет целую историю!

Посылаю Вам еще некролог Ковалевского***. Я извлек, что мог, из «Вестника Европы», но так как я знал покойного очень мало, то статья моя вышла весьма слаба. Вы, конечно, дадите себе труд исправить ее и дополнить.

Ваш М. Салтыков

Нет надобности распространяться, что эти три письма представляют и историко-архивный, и биографический интерес. Они, во-первых, дают возможность установить авторство Салтыкова в отношении рецензии на «Бродящие силы» и статьи (некролога) о Е. П. Ковалевском, во-вторых, содержат отзывы о произведе-

* Дата письма устанавливается приблизительно: Е. П. Ковалевский, о котором упоминается в письме, скончался 21 сентября 1868 г.; некролог его появился в октябрьской книжке «Отеч. Зап.». Следовательно, письмо могло быть написано или в конце сентября, или в самом начале октября.

** Под таким заглавием в «Отеч. Зап.» в 1868 г., с некоторыми, правда, перерывами, печатались статьи Розанова¹². Та статья, о которой упоминает здесь Салтыков, появилась в № 10 «Отеч. Зап.».

*** Егор Петрович Ковалевский (1809 — 1868), государственный деятель, путешественник, писатель, один из основателей и первый председатель Литературного фонда. В 40-х и 50-х гг. сотрудничал в «Современнике» и принадлежал к числу хороших знакомых Некрасова.

ниях двух сотрудников «Отеч. Зап.» (Решетникова и Розанова), в-третьих, объясняют, почему Салтыков не отвечал на нападки, вызванные «Новым Нарциссом», и, в-четвертых, позволяют утверждать, что одним из главных мотивов его окончательного на этот раз ухода со службы явилась враждебность местной бюрократии, негодовавшей на него за его «Письма из провинции».

Следующая группа имеющих в моем распоряжении писем Салтыкова относится к весне 1869 г., когда Некрасов находился за границей, а Салтыков, освободившийся из «служебной тины», уже стоял у кормила «Отеч. Зап.» в качестве одного из членов редакционного триумvirата. Эти письма — числом три — неодинаковы по своему значению. В то время, как первое из них относится к разряду более или менее обычных деловых писем одного соредатора к другому, продолжающему и во время своего отсутствия интересоваться делами журнала, второе и третье касаются одного из крупнейших эпизодов тогдашней литературной жизни. О нем необходимо вспомнить.

При организации новой редакции «Отеч. Зап.», в исходе 1867 г., Некрасов обратился с приглашением участвовать в журнале не только к Салтыкову и Елисееву, но и к двум другим ближайшим сотрудникам «Современника» — Ю. Г. Жуковскому¹³ и М. А. Антоновичу (к Жуковскому непосредственно, а к Антоновичу, по-видимому, через посредство Жуковского). Однако обращение это оказалось безрезультатным, ибо Жуковский предъявил Некрасову такие материальные требования (половинное участие в доходах), на которые Некрасов не мог согласиться. В результате Некрасов, Елисеев, а затем и Салтыков объединились в «Отеч. Зап.», а Жуковский и Антонович попытались обосноваться в новом журнале «Современное обозрение» — Тиблена¹⁴, самое название которого как бы подчеркивало связь его с запрещенным «Современником». В то время, как «Отеч. Зап.» почти сразу завоевали себе симпатии читающей публики и приобрели значительное число подписчиков, «Современное обозрение» очень быстро захирело. Раздраженные плачевным исходом их начина-

ния и искренно, надо думать, веря в то, что Некрасов и его сотоварищи, примирившись с ответственным редакторством* А. А. Краевского, с которым «Современник» вел ожесточенную полемику, изменили своим радикальным убеждениям, Жуковский и Антонович раннею весною 1869 г. выпустили брошюру «Материалы для характеристики современной русской литературы», в которой упрекали Некрасова в ренегатстве, силились доказать, что за год своего существования под новой редакцией «Отеч. Зап.» проявили полнейшую бессодержательность и пустоту, а присоединившихся к Некрасову бывших сотрудников «Современника» третировали, как «нестоющих людей» (выражение Жуковского), как легковесную «шешуру и шелуху», летающую по воле ветра (выражение Антоновича). По целому ряду причин, на которых здесь не место останавливаться, Некрасов, подвергшийся наибольшим оскорблениям со стороны авторов брошюры, предпочел им ответить молчанием; брошенную же Жуковским и Антоновичем перчатку подняли Салтыков и Елисеев. В апрельской книжке «Отеч. Зап.» за 1869 г. появилась обширная, в 11 печатных страниц, рецензия Салтыкова на «Материалы» и большая, в два печатных листа, статья Елисеева «Ответ на критику». В своей рецензии Салтыков без обиняков заявлял, что в основе распри Жуковского и Антоновича с Некрасовым лежали «некоторые неудавшиеся денежные расчеты» первых двух и что нападки их на него, Салтыкова, можно объяснить только тем, что они, «снедаемые бессильной яростью на бывшего хозяина», находятся в состоянии «полной невменяемости». «Сколько лет,—спрашивал Салтыков,—и в каком протухлом, уединенном месте должны были прожить эти, пользующиеся правом невменяемости, кусатели, чтобы воспитать в себе столь чудовищную неразборчивость в обращении со словом?»

* «Ответственное редакторство» Краевского являлось чистой фикцией: на него пришлось согласиться за отсутствием какого-либо другого исхода. Согласно договору, Краевский совершенно не мешался в редакционные дела, довольствуясь крупной суммой, которую он получал в качестве собственника «Отеч. Зап.».

«Полный мерзости, угроз и припоминаний» «ультиматум» Антоновича Салтыкову, о котором последний говорит в печатаемом ниже письме к Некрасову от 18 апреля, и был вызван этою именно рецензией Салтыкова.

4

Петерб., 5 апреля [1869 г.]

Посылаю Вам, многоуважаемый Николай Алексеевич, сейчас полученные мной и адресованные на Ваше имя письмо и поэму Жемчужникова*. Я телеграфировал ему (на его счет) Ваш парижский адрес.

Поэму я читал: некоторые места, которые кажутся мне неудобными в цензурном смысле, отметил. Мне несколько странно кажется идея поэмы; полемизировать с Катковым¹⁶ и «Вестью». Есть место, где «Весть» может привлечь автора к суду. Прочтите и, буде случай найдется, объяснитесь с автором, который тоже едет в Италию.

«Отеч. Записки» будут, как я полагаю, отосланы в цензуру во вторник, т. е. 8-го числа, а 10-го, вероятно, выйдут. Елисеев несколько задерживает с своей статьей, которая уже в типографии, но я еще не видал ее. Впрочем, все благополучно. В понедельник мы собирались в Вашей квартире, и Василий предложил нам разнообразную закуску. Более писать покуда нечего. Кланяйтесь Ал. Ник., Петру Ив., Анне Алексеевне¹⁷. В «Вестнике Европы» мою книгу учтиво обругали** на тему — не видно, дескать, какие у него политические и общественные убеждения, а остроумие, мол, есть. Писал эту труху развязный малый Суворин; но тут же в «Воспоминаниях о Белинском» И. С. Тургенев весьма трогательно говорит: как бы рад был Белинский, ес-

ли б увидел такие таланты, как Салтыков, Толстой и Решетников*.

Все это передал мне П. В. Анненков, а я «Вестника Европы» еще не видел. Сейчас иду в типографию.

Ваш М. Салтыков

5

П.-бург, 18 апреля [1869 г.]

Нельзя не позавидовать Вам, многоуважаемый Николай Алексеевич, что Вы, по крайней мере, находитесь хоть временно вне литературных наших помой. Не хотелось бы даже писать Вам об них, чтоб не испортить Ваше расположение духа; но пишу единственно потому, что нужно же Вам знать, что тут делается.

На этот раз Вы уже в стороне; на сцену выступаю я. На днях я получил, в форме письма, ультиматум от г. Антоновича, в котором он требует ответа, мне ли принадлежит рецензия, напечатанная в № 4 «Отеч. Зап.». Мерзостей, угроз и припоминаний, которыми наполнено это гнусное письмо, я не берусь передавать Вам; письмо это сохранится мною, как монумент и доказательство, до каких пределов может доходить литературное бешенство; я Вам покажу этот любопытный документ при свидании. Ультиматум дает мне сроку неделю, чтобы ретрактироваться, а затем, дескать, пойдут обличения. Обличения эти обещаются поставить на точку измены и т. д. Я, разумеется, ничего не отвечал и отвечать не буду (т. е. на письмо), а буду ждать обличений, которые, вероятно, появятся в приложении к «Космосу»**. Посмотрим, что будет, а между тем, сознаюсь откровенно, я очень сильно чувствую Ваше отсутствие из Петербурга, хотя и прошу Вас не принимать это с моей стороны за просьбу или настояние возвратиться сюда. Я опасаясь, чтобы обличения не произвели какого-нибудь недоразумения в редакции «Отеч. Зап.». Я показывал, впрочем, письмо Елисееву и Ун-

* Речь идет о написанной в 1868 г. поэме А. М. Жемчужникова¹⁸ «Пророк и я», в первоначальный текст которой, по-видимому, входило и стих. «Кентавр». Поэма была переслана Салтыковым Некрасову, который в письме от 5 мая 1869 г. к Жемчужникову дал о ней подробный отзыв. Напечатать поэму в «Отеч. Зап.» Некрасов затруднялся, и она в них не появилась.

** В № 4 «Вестника Европы» напечатана рецензия на книгу Салтыкова «Признаки времени и письма из провинции»; рецензия, в общем, благожелательна, но в ней, действительно, несколько раз указывается на бедность «сколь-ко-нибудь определенными идеалами».

* Здесь Салтыков, несомненно, имеет в виду следующее место из статьи Тургенева, напечатанной в № 4 «Вест. Европы» 1869 г.: «Как бы порадовался он (т. е. Белинский) поэтическому дару Л. Н. Толстого, силе Островского, сатире Салтыкова, трезвой правде Решетникова».

** Журнал, в котором сотрудничал тогда М. А. Антонович.

ков.,¹⁸ и они сказали, что это гнусные пустяки, о которых не стоит говорить. Я объяснялся с Елис. довольно подробно, и он не изменил своего мнения. Для меня ясно, что все, что ни напишет этот негодяй, будет клевета и притом сознательная, но, во всяком случае, это так отвратительно, что просто бежал бы из этого нужника, называемого (ошибочно) русской литературой. Напишите, во всяком случае, что Вы думаете.

Напишите также, когда выйдет в Париже 2-ой том романа Виктора Гюго, чтобы нам как-нибудь не нажать процесса*. Майская книжка у нас, вероятно, будет к 10 мая готова. Набрано уже листов до 14 или более, но белых листов доставлено лишь только три.

Кланяйтесь А. Н. и всем Вашим.
М. Салтыков

6

[Петербург], 22 мая [1869 г.]

Я к Вам недавно писал в Париж по прежнему адресу, многоуважаемый Николай Алексеевич, и в письме этом подробно излагал наши петербургские обстоятельства. Вероятно, Вы письмо это уже получили. А. и К.** покуда не показывают особенных признаков жизни, только в вышедшем на днях приложении к «Космосу» поместили статейку*** по поводу воспоминаний Тургенева, ругнули Вас да, кстати, и меня назвали «шелухой», летающею по воле ветров. Как я подвернулся тут — нельзя понять, но, видно, теперь всякий повод хорош, чтоб задеть меня. Но, вообще говоря, статейка дрянная и не стоит внимания, тем более что приложения к «Космосу» расходятся, говорят, не более, как в 200 экземплярах. О книге Рождественского**** я Вам уже писал; по-моему, она ни то ни сё, но я слышал, что Жуковский ее хвалит; следовательно, она

* В «Отеч. Зап.» в № 4, 5, 6 и 7 печатался роман В. Гюго «Человек, который смеется».

** Под «А. и К.» Салтыков, надо думать, разумел Антоновича и Компанию.

*** Имеется в виду статья, напечатанная в приложении № 1 к «Космосу» (2-е полугодие) на с. 84—102.

**** Ив. Рождественский в 1869 г. выпустил полемическую брошюру против Антоновича и Жуковского по поводу их нападок на Некрасова под заглавием: «Литературное падение гг. Антоновича и Жуковского».

достигла отчасти своей цели. Жуковский, впрочем, прислал меня спросить, не хочу ли я прочитать его ответ на мою статью в «Отеч. Записках», с тем чтобы я исправил его, если он покажется мне резким; я отвечал, что предпочитаю читать мерзости печатные и исправлять статьи, противу меня написанные, не намерен. Где он намеревается печатать этот ответ и когда — неизвестно; но с тех пор ни гугу, а Европеус*, который, конечно, все это знает, перестал ко мне ходить. Я, впрочем, встретил на днях Жуковского у Лермонтова²⁰, и он подошел ко мне первый; но разговора у нас никакого не состоялось. Я хочу написать детский рассказ под названием «Повесть о том, как один пономарь хотел архиерейскую службу сослужить», и посвятить ее Ант. Но все это оставляю до Вашего приезда.

До сих пор, т. е. до сего числа, у «Отеч. Зап.» 5615 подписчиков, а с даровыми 5675. По-моему, недурно, остается свободных 325 экземпляров, которые к концу года, вероятно, подберутся. Надо сказать правду, что летние месяцы журнала очень бесцветны. Но это, право, не моя вина. Я ничего своего не помещаю, потому что берегу силы для осени. Из прочих сотрудников тоже кто мало делает. Июньская книжка выйдет около 6-го числа. Я написал туда статью по поводу «Обрыва»**, т. е. не касаясь собственно романа, а философии Гончарова. Прежде, нежели печатать, я был настолько осторожен, что дал статью на просмотр Елисееву, который сегодня прислал мне письмо, что статья очень хороша.

У нас материала много, но все материал средний, т. е. самый скучный. Не знаем, как его сбыть. Лавров²¹ пудами присылает, каждую книжку по 3½ листа печатаем — и не видать конца***. Еще угрожает М. А. Мар-

* А. И. Европеус (1827—1885) был близок к редакции «Современника» и, хотя не являлся сотрудником журнала, участвовал в редакционных сборниках и обедах.

** Статья М. Е. Салтыкова об «Обрыве» не подписана автором; она называется «Уличная философия».

*** Ст. Лаврова в № 4 «Отеч. Зап.» — «Антропологи в Европе» занимает 51 стр., ст. в № 5 и 6 — «Цивилизация и дикие племена» — 118 стр. Таким образом, Салтыков нимало не преувеличивал, говоря, что «Отеч. Зап.» каждую книжку по 3½ листа печатают.

кович²²: к августовской книжке — записками причетника, а с сентября — романом в 4-х частях*. Теперь она уехала и не оставила даже материала переводного, обещала, но, Бог весть, исполнит ли.

Я через месяц уеду в деревню на месяц, т. е. возвращусь в начале августа. Обе книжки (июльскую и августовскую) перед отъездом организую, причем в августовскую помешу несколько своих рассказов (маленьких) — и фельетон**.

Зайцеву²³ писал в одно и то же время, как и Вам, в Париж, но ни от него, ни от Якоби²⁴ не получаем статей***, так что июньская книжка выйдет без них.

Прощайте, будьте здоровы, напишите поопределеннее, когда Вы будете.

Ваш М. Салтыков

7

Остальные, относящиеся к 1869 году, письма Салтыкова к Некрасову напечатаны в собрании Н. В. Яковлева²⁵ (№№ 52 и 53). Из них, как и из публикуемых мною, видно, что отношения между писателями становились все ближе и ближе. Уже инцидент с брошюрой Антоновича и Жуковского не мог в этом смысле пройти бесследно, так как объектом их нападков послужили, правда не в одинаковой мере, оба писателя, а самый факт нападков, да еще несправедливых, естественно, сближает тех, кто является их жертвой. С другой стороны, рецензия Салтыкова на «Материалы», столь уязвившая Антоновича и Жуковского, должна была быть приятной Некрасову, хотя автор ее, очевидно, вполне сознательно, отнюдь не становился в позу при-

сяжного апологета Некрасова. Тем не менее в течение пятилетия, с 1870 г. по 1874 г. включительно, их переписка не была деятельной, что объясняется тем, что особенно долгих перерывов в их деловом контакте почти не было. Несколько писем, относящихся к началу 70-х гг., напечатано в «Архиве села Карабихи»²⁶ (из них наибольший интерес представляет письмо от 28 июля 1872 г., написанное под впечатлением известия о получении «Отечественными записками» первого предостережения); в собрании Н. В. Яковлева дается текст семи писем и записок (№№ 54, 55, 56, 71—74) этих лет, которые по содержанию своему не являются сколько-нибудь значительными. То же приходится сказать и об имеющихся у меня письмах и записках Салтыкова начала 70-х годов.

Петербург, 14 апреля 1870 г.

Прочитайте, пожалуйста, рацею, которую получил от Анненкова, по делу Потанина*²⁷. Вот до какого свинства дошел этот подлый комитет, что адресоваться туда за пособием значит просто компрометировать себя. Я не знаю, что делать, тем более что мне неизвестно даже, не вдовец ли Потанин. Вы намеревались захватить ко мне завтра утром; нельзя ли не позднее 12^{1/2} часов, ибо нужно, посоветовавшись с Вами, съездить к Анненкову. Пожалуйста, привезите обратно записку Анненкова, она нужна, как документ.

Ваш Салтыков

8

[Петербург, январь 1872 г.]

Сюда приехала Смирнова**, которая будет завтра около 2-х часов

* «Записки причетника» печатались в «Отеч. Зап.» 1869 г. (№ 9—12) и 1870 г. (№ 10—11). Таким образом, это произведение, очевидно, и изменило тот большой роман, о котором упоминает Салтыков.

** В августовской книжке Салтыков напечатал только очередные «Письма из провинции». Под «несколькими рассказами (маленькими)» он, вероятно, разумел «Испорченные дети», напечатанные в следующей (9-й) книжке.

*** И В. А. Зайцев, и зять его д-р Якоби, жившие тогда в Париже, предполагали прислать статьи о выборах во французскую палату депутатов. Прислал ли статью Якоби — неизвестно; статья же Зайцева была прислана, но редакция «Отеч. Зап.», по цензурным соображениям, не смогла ее напечатать,

* 10 апреля 1870 г. Салтыков письменно просил П. В. Анненкова, исполнявшего в то время обязанности секретаря Общ-ва для пособия нуждающимся литераторам и ученым («Литературного фонда»), посодействовать выдаче вспомоществования Г. Н. Потанину. Однако Комитет Общ-ва в заседании 13 апреля постановил «собрать сведения о положении просителя», признав, очевидно, свидетельство Салтыкова недостаточным. Этим и объясняется неудовольствие Салтыкова против комитета.

** С. И. Смирнова (1852—1921) в 70-х гг. была деятельной сотрудницей «Отеч. Зап.», напечатав в них несколько своих повестей и романов, имевших значительный успех.

утра (несколько ранее) у меня. Так как в пятницу она уезжает обратно, то не зайдете ли Вы ко мне, чтоб познакомиться с нею. Она очень желает. Ежели деньги за ее янв. книжку* не отосланы, то прикажите не отсылать.

Салтыков

9

[Петербург, 1 февраля 1872 г.]

Николай Алексеевич, родился сын Константин**, который, очевидно, будет публицистом, ибо ревет самым наглым образом. Происшествие сие случилось сего 1-го февраля в 3¹/₂ часа ночи.

Салтыков

10

[Петербург, март 1872 г.]

По обыкновению, Унковский напугал, и я не буду сегодня на бенефисе Горбунова²⁸, чему я, впрочем, очень рад.

Пожалуйста, напишите к Смирновой и, кстати, напомните ей о присылке 3-й части. Пожалуйста. Ее непременно отобьют.

Салтыков

Не уговоритесь ли с Унковским завтра или послезавтра вечером ко мне. Дайте знать. Давно у меня никто не был.

11***

Я конец Боборыкинской²⁹ статьи (собственно критическую часть) значительно сократил. По-моему, это пустословие, соединенное с сквернословием. А впрочем, посмотрите (все-го четыре гранки); может быть, Вы найдете, что для удовлетворения Бо-

* В январе 1872 г. на страницах «Отеч. Зап.» начался печатанием роман С. И. Смирновой — «Соль земли».

** Надежды Салтыкова на литературную карьеру его доньне здравствующего сына, как известно, не оправдались. Совсем недавно, в 1922 г., К. М. Салтыков выпустил книгу «Интимный Щедрин», в которую, наряду с не лишними интереса подробностями, рисующими семейную жизнь и домашний обиход его отца, внес немало черт, представляющих облик великого писателя односторонне и субъективно.

*** Определить дату [двух] этих писем по их содержанию невозможно. Руководствуясь их внешностью (бумага, почерк), их надлежит отнести к 70-м годам, вернее всего к началу их.

бор[ыкина] нужно и восстановить кое-что.

М. Салтыков

12

Вчера я был несколько пьянее вина.

Ваш М. Салтыков

30 декабря

Сегодня проснулся с таким изобилием смешных мыслей, какого давно не было.

13

Витенево*, 20 июня [1872 г.]

Совестно мне тревожить Вас, уважаемый Николай Алексеевич, но приходится. Не можете ли Вы ссудить меня 200 рублей, сделав распоряжение, чтобы мне выдал эти деньги И. Г. Соловьев. Если это возможно, то пришлите Соловьеву письмо об этом, чтоб он мне или кому я прикажу выдал деньги. Я 30 июня думаю быть в Москве, а потому хорошо бы, если к этому времени пришло Ваше письмо к Соловьеву. Если Вы имеете что-нибудь написать мне, то сделайте это к тому же времени через Соловьева же. На дальнейшее время мой адрес таков: 3-я Мещанская, дом Аббакумовой, Александре Александровне Кардановской для передачи М. Е. Салтыкову. Желал бы я также знать, долго ли Вы пробудете в Карабихе.

Я еще не видел последнего № «Отеч. Зап.», но, судя по отзыву П-бургских Вед., должно быть, Демерт³⁰ что-нибудь сильное сморозил**. Я хотел написать коротенькую заметку, но, во-первых, не знаю Демертовой статьи, а, во-вторых, жду, не будет ли еще чего-нибудь со стороны Петербургских Ведомостей. Негодяй Буренин³¹, который не по-

* Так называлось имение Салтыкова, в 25 верстах от Москвы, купленное им в 1861—1862 гг. и описанное в «Благонамеренных речах».

** В № 6 «Отеч. Зап.» в статье Демерта «Наши общественные дела» содержались указания, что в борьбе за концессию на постройку Вяземской жел. дор. «С.-Петерб. Вед.» определенным образом поддерживали домогательства группы капиталистов-евреев с Абр. Моис. Варшавским во главе. Эти указания остро уязвили газету Корша и вызвали с ее стороны ряд резких нападок на Демерта и на «Отеч. Зап.».

стыдился сказать, что мой предпоследний фельетон написан на Боборыкина, конечно, и на будущее время не воздержится от своих пакостей*. Поэтому будущую неделю пережду и посмотрю, что будет. Так как мое объяснение не может быть длинно, то к 8 июля оно поспеет в Петербург.

Суворина я в Москве видел, но он мне показался несколько сконфуженным; хотел быть у меня и даже назначил час, но не пришел. Впрочем, по последнему фельетону Вы можете судить, как легкомыслен и как выдохся этот человек.

Работа моя идет довольно медленно, впрочем, в августовскую книжку наверное пошлю фельетон, а к сентябрьской подготовлю и рассказ-фельетон**.

Дела мои гадки до крайности. Крестьяне затрудняют выкуп по имени и оброков не платят.

Брат пьет запоем и, как кажется, при последнем издыхании. Что из всего этого выйдет — ума не приложу. 30 июня я еду в Москву собственно для того, чтоб видиться с братом, который к тому времени при-

едет туда же, или, вернее, его туда привезут. Боюсь, что вовсе останусь без куска хлеба. Может быть, и опять придется ехать в Углич: поэтому-то и прошу у Вас денег.

Как писать при таких условиях?

Деньги я уплачу в два раза: при выдаче за август и за сентябрь.

Поклонитесь от меня Зинаиде Николаевне³².

Весь Ваш
М. Салтыков

Читатель видит, что приведенные письма, если не считать письма от 20 июня 1872 г., интересного в биографическом и историко-литературном отношении (отзывы о Буренине), не слишком значительны по своему содержанию. Однако они, в особенности записки о рождении сына и записка от 30 декабря, могут служить лишним подтверждением того, что в рассматриваемый период деловой контакт и деловая близость между Салтыковым и Некрасовым успели перейти в личный контакт и личную близость³³.

Ел. КОЦ

«КОНТРАБАНДИСТЫ»

(Воспоминания) ***

Мои студенческие годы совпали с эпохой наиболее яркой и памятной в истории студенческих движений, ког-

да революционное напряжение в среде учащейся молодежи достигло своего апогея и как бы воплотило революционные порывы всего русского общества. Эта эпоха охватывает 1899, 1900 и 1901 годы.

Я приехала в Петербург с далекого Кавказа прямо со школьной скамьи и поступила на курсы Петра Францевича Лесгафта¹. Говоря о своих тогдашних настроениях и переживаниях, я, вероятно, не ошибусь, если скажу, что они были общими для большинства учащейся молодежи того времени. Я еще не принадлежала тогда ни к каким революционным организациям, имела очень смутное понятие о рабочем движении, но была уже яркой «материали-

* Салтыков не ошибся в своих предположениях. Присяжный полемист «СПб. Вед.» В. Буренин в № 170 газеты не преминул обрушиться на него за печатавшийся в «Отеч. Зап.» «Дневник провинциала». Буренину с крайней резкостью отвечал Н. К. Михайловский в № 7 «Отеч. Зап.» на последних стр. своих «Литературных и журнальных заметок». Так как в том же № журнала и Демерт отвечал «СПб. Вед.», то в напечатании полемической заметки Салтыкова, о которой он говорит в своем письме, уже не было надобности, и она так и не появилась в печати.

** В августовском № «Отеч. Зап.» 1872 г. Салтыков напечатал очередной очерк цикла «Дневник провинциала», а в сентябрьском только «Ташкентцев».

*** Приступая, в связи с исполнившимся только что 25-летием студенческих волнений 1901 г., к опубликованию находящихся в ее распоряжении материалов по истории студенческого движения 90-х и 1900-х годов, редакция в настоящей книге журнала помеща-

ет воспоминания Ел. Коц об одном ярком эпизоде этого движения, связанном с постановкой на сцене Малого театра пьесы «Контрабандисты». — *Ред.*

стой» и очень скоро сделалась «марксисткой». Занятия и лекции не составляли главного содержания нашей жизни. Если мы знали, что вечером Туган-Барановский² читает об экономическом материализме, мы пытались ускользнуть от пронизательных всевидящих глаз Петра Францевича, рискуя на другой день получить от него нагоняй. Мы бежали на 4-ю роту в битком набитые комнаты Вольно-Экономического Общества³ и там, приткнувшись где-нибудь на хорах, стиснутые со всех сторон, в атмосфере, накаленной от жары и возбуждения, жадно ловили слова одного из лучших популяризаторов марксизма того времени. Приземистая фигура Туган-Барановского сменялась на кафедре длинной и тощей фигурой П. Б. Струве⁴, с клоком рыжеватых волос, свисавшим на лоб, и рассеянным взглядом близоруких глаз из-под пенсне. Струве говорил необычайно туманно и бесконечно длинными немецкими периодами, так что вряд ли мы много выносили из его речей. Но он был «глашатаем» новых идей и гармонировал с общим настроением, а это было главное. Идеи носились в воздухе, мы их схватывали и усваивали на лету, и даже мало понятные слова, произносившиеся в атмосфере напряженного внимания и сочувствия, приносили свой плод.

Как-то Струве выступал в актовом зале Университета. Был морозный, настоящий петербургский зимний вечер. Мы с подружкой подъехали на извозчике к главному входу Университета. Обе мы, как южанки, совершенно не привыкли к 20-градусному морозу, и резкий, ледяной ветер при переезде через мост и на набережной довел нас почти до слез. В довершение всего, тяжелая входная дверь Университета ни за что не поддавалась нашим усилиям, и мы беспомощно стояли перед закрытыми воротами храма. В это время к подъезду подошел какой-то студент, который также направлялся на лекцию Струве. Он легко повернул ручку двери, широко распахнул ее и, с улыбкой взглянув на нас, сказал ласково-насмешливым тоном: «Что, видно нелегко дается марксизм?» Прошло 20 лет, но я до сих пор помню эту фразу. Она так хорошо выра-

жала наше настроение того времени: препятствий не существовало, а если они были, тем лучше...

8 февраля 1899 года, в день акта Петербургского университета, начались студенческие волнения. Студенты были избиты нагайками на Университетской набережной. Это послужило сигналом к всеобщему движению, вылившемуся в форму студенческой забастовки. В течение короткого времени учебная жизнь Петербурга совершенно замерла. Во главе движения стоял Университет, alma mater⁵ — цвет студенческой интеллигенции и ораторского искусства, рядом с ним Бестужевские курсы⁶. Далее шло бесконечное число специальных учебных заведений. Среди них резко выделялся Лесной институт. Лесники всегда принимали самые радикальные резолюции. Они были «демократией» среди студенчества, как путейцы были его «аристократией». Лесники ходили в цветных косоворотках, с косматой шевелюрой и всем своим видом являли протест против существующего строя. Путицы были одеты с иголочки, носили крахмальные воротнички и манишки и гладко причесывались. Лесники устраивали у себя в Лесном конспиративные вечеринки, на которые собиралась такая же косматая, эсеровского типа, публика, как и они сами. Путицы задавали в великолепных залах своего Института на ротах такие балы, которые охотно посещались представителями высшего петербургского света. Поэтому, когда путейцы на сходке постановили примкнуть к забастовке, было всеобщее торжество, радость и умиление. Этим актом они, «белоподкладочники», стоявшие в стороне от студенческой семьи, как бы побратались с нею. И надо отдать им справедливость, они честно и до конца шли бок о бок с остальной массой студенчества. Серьезные революционные настроения царили среди технологов и студентов Горного института, проявивших большую стойкость в движении. За ними шли Военно-медицинская академия, Женский медицинский институт и бесконечное множество других высших учебных заведений Петербурга, которые на момент выплывали из мрака неизвестности, чтобы блеснуть в

ежедневном бюллетене, где печатался список учебных заведений, прикрывших к забастовке.

Два месяца мы жили в какой-то непрекращающейся горячке. Бесконечные сходки и вечеринки, пламенные речи, горы прокламаций, отпечатанных на гектографах и мимеографах, необычайная широта движения, его успех и интерес к нему в обществе,— все это держало нас в непрерывном нервном напряжении. Сюда присоединились вскоре обыски и аресты, что в то время было для нас еще ново и делало нас «героями» в собственных глазах и в глазах окружающих. Появилась масса новых студенческих песен, из которых любимой была знаменитая «Нагаечка». Эта песня, несмотря на грубость содержания, антихудожественную форму и немзыкальный мотив, приобрела огромную популярность сперва в Петербурге, а потом и по всей России, по разным углам которой мы развезли ее с весной. И каким веселым задором звучал тогда ее безобразный припев:

Нагаечка, нагаечка, нагаечка моя,
Вспомни, как гуляла ты восьмого февраля...

Прокламационное творчество достигло своего апогея, при обысках находили целые горы гектографированных материалов. Во всем этом было мало таланта, но много молодости, радостного стремления к свободе и боевого задора. Некоторые прокламации имели стихотворную форму. Вот, например, начало стихотворения, посвященного курсисткам:

Вы не рассеетесь, спутницы верные,
С нами поднявшие флаг,
Вас не раздавят враги лицемерные,
Сделан решительный шаг, и т. д.

И все это бездарное стихоплетство*, размноженное в сотнях экземпляров, ходило по рукам и вызывало у нас, «верных спутниц», слезы умиления на глазах. Оглядываясь на-

* В какие забавные формы выливались иногда вдохновение и зуд стихоплетства, показывает, например, такой перл художественного творчества, относящийся ко времени Казанской демонстрации 4 марта 1901 г. После демонстрации Литовский замок¹ был переполнен арестованными студентами и курсистками, одна из них написала там стихотворение, начинавшееся словами: «Студенты рядками, как шпроты, лежат».

зад, теперь только отдаешь себе отчет в ценности этого «соборного» настроения, этого сознания общности на почве большого идейного дела, которое формировало наши молодые души и возвращало в них семена общности и любви к свободе.

Ранней весной молодежь разъехалась по домам. Вместе с нею волна революционного подъема прокатилась по всей России. Путешествие запомнилось на всю жизнь, как и все, связанное с этим временем. Вагоны были битком набиты студентами и курсистками. Проводы, встречи на вокзалах, импровизированные «делегатские» собрания на узловых станциях, несколько дней бесконечных разговоров и вечера в едва освещенных вагонах третьего класса, где мерный стук колес сливался с звуками песни:

Пусть нам погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых,
Дело всегда отзовется
На поколеньях живых...

Так мы пели, так чувствовали и так верили.

Приезд домой, в глухие провинциальные углы, был событием. Небольшой город, знавший своих студентов и курсисток наперечет, ждал их, гордился ими или негодовал против них за «свержение основ». До приезда ходили мрачные слухи о том, что студента уже «там» повесили. А по приезде каждому приходилось выслушать ряд нравоучительных пословиц, вроде: «Лбом стену не прошибешь», «Выше носа не прыгнешь», «Уши выше лба не растут», «Яйца курицу не учат» и т. п. И все-таки его слушали, его расспрашивали, им интересовались, и он чувствовал себя героем. А местная гимназическая молодежь уже смотрела на него, как на своего идейного учителя. И этот новый взгляд на его личность развивал в нем неожиданные свойства пропагандиста и агитатора.

1899—1900 учебный год прошел сравнительно спокойно. Каникулы были длиннее обычных, занятия запущены, безделье надоело,— все взялось за работу. Осенью все сдавали экзамены, «заложенные» с весны из-за забастовки. Вообще надо было спешить учиться, пользуясь передышкой, так как атмосфера была слыш-

ком насыщена, чтобы не прорваться при малейшем поводе. Такой повод не замедлил представиться осенью 1900 года в виде постановки пьесы «Контрабандисты» в театре Суворина. Демонстрация в театре и суд над демонстрантами вылились в целое общественное событие. Понять это можно только, окунувшись в атмосферу студенческих настроений того времени, которые я и пыталась вывить на предыдущих страницах.

* * *

Как это началось, сказать трудно. Тогда ничто не начиналось, а все делалось сразу. В «Северном курьере» князя Барятинского⁸, самой радикальной газете того времени, появилась 15 ноября следующая заметка, напечатанная мелким шрифтом в отделе «Театр и музыка»: «В театре литературно-артистического общества подготавливается постановка пьесы гг. Ефрона и Крылова «Сыны Израиля»⁹, роли из которой уже розданы исполнителям. Л. Б. Яворская отказалась от исполнения главной женской роли и вообще от какого бы то ни было участия в этой пьесе, ввиду ее тенденций, ничего общего не имеющих ни с художественной литературой, ни с задачами искусства». В ответ на опровержение «Нового времени», утверждавшего, что пьеса была принята под названием «Контрабандисты», а не «Сыны Израиля», появилась новая заметка в «Северном курьере», указывавшая на лживость этого опровержения и настаивавшая на том, что новое название «не меняет гнусного содержания пьесы». Эта незначительная полемика двух газет, стоявших на противоположных политических полюсах, оказалась достаточной для взрыва. Скромный протест любимой газеты был принят за сигнал к демонстрации. Ни я лично и никто из моих знакомых пьесы этой не читал и никогда в глаза не видел. Можно поручиться, что в таком же положении были если не все, то почти все, принимавшие участие в демонстрации. Да, по правде сказать, никто из нас вовсе и не стремился достать пьесу и познакомиться с ней, прежде чем идти в театр. Ведь могло оказаться, что она не заключает в себе таких

уж ярко выраженных антисемитских тенденций и не настолько возмутительна, как нам казалось, а это лишило бы нас права протеста или ослабило бы его внутреннюю силу.

Была ли демонстрация организованной, трудно сказать. В записке чиновника охранного отделения Статковского, опубликованной в свое время в «Былом», утверждается, что это было дело студенческого организационного комитета*. Возможно, но мне кажется, что организация здесь сыграла ничтожную роль. Не нужно было агитировать, звать — все были готовы. Технические приготовления сводились к тому, чтобы скупить для «своих» все билеты на первое представление пьесы, назначенное на 23 ноября, что и было сделано моментально самими демонстрантами. Билеты покупались нарасхват, и многие желающие остались за флагом. Более шустрые из демонстрантов запасались заблаговременно полицейскими свистками, сиренами и другими издающими пронзительные звуки предметами.

Когда мы вошли в театр, он буквально ломился уже от публики. Не только все места были заняты, но были заполнены и все промежутки между ними. В ложи врывались целыми толпами жаждущие и умоляли позволить им остаться. То же было и в нашей ложе, центральной по месту и, как потом оказалось, по происходившим в ней событиям, — большинство свидетелей защиты на суде упоминало в своих показаниях о полицейских безобразиях, творившихся в ложе № 10 бельэтажа. Вместе с посторонней публикой нас оказалось в ложе человек пятнадцать, если не больше. Что смотрело правительство? Почему не было предупреждено такое скопление народа, явно нарушавшее обычные театральные правила? Уж, конечно, не потому, что администрации не было известно о готовившейся демонстрации, так как нет никакого сомнения, что наряды полиции, вынырнувшие как из-под земли в самый горячий момент, были приготовлены заранее.

Демонстрация началась еще до поднятия занавеса. Один вид этой

* Былое, 1921, № 16: «С.-Петербургское охранный отделение в 1895—1901 гг.».

возбужденной толпы, черной массой заполнявшей театр сверху донизу и ждавшей только сигнала, был уже внушительной демонстрацией. Но вот поднялся занавес. Дикий, оглушительный рев потряс театр. Я до сих пор не могу забыть жуткого ощущения первого момента, когда все слилось в один, казалось, всесокрушающий, стихийный шквал. Нельзя было понять, что это — человеческие голоса, звериный вой или рев разбушевавшейся стихии. В следующие моменты, при неослабевающим шуме, можно было уже различить отдельные его элементы: человеческие голоса, надрывно, с хрипом кричавшие «долой», свист, шипенье, шиканье, пронзительные звуки полицейских свистков, сирен, трещоток... Трудно передать впечатление от этого хаоса звуков. Каждый, уже принося с собой в театр большой запас возбуждения, от своего собственного крика и рева окружающих доходил до состояния, близкого к безумию.

Между тем на сцене шла пьеса: артисты двигались, жестикулировали, говорили, но их было слышно не больше, чем актеров с полотна кинематографа. Ни одно слово не долетало до публики. Однако пьеса продолжалась, вероятно, с большими купюрами, потому что играть в такой обстановке было все-таки неудобно. Опустился занавес. Мгновенно, как по мановению волшебного жезла, воцарилась полная тишина. После антракта борьба возобновилась с новой силой. Обе стороны упорствовали. Возбуждение достигло крайних пределов. Кричали охрипшими голосами, топали ногами, бросали на сцену гнилые яблоки, галоши, все, что попадалось под руку. Такое безудержное возбуждение объяснялось поведением артистов, которые перестали играть свои казенные роли и почувствовали себя стороной в схватке. Лишенные голоса, они попытались мимикой выразить все свое презрение к бунтовщикам, язвительно усмехались, показывали жестикуляцией, что у публики в голове пусто (классический жест актера Северского), и бросали обратно в зрительный зал летевшие на сцену предметы... Дирекция театра пыталась обращаться к публике с

увещеваниями, но не тут-то было. Каждое новое выступление вызывало новый бешеный взрыв негодования: «долой», «занавес», «довольно», «долой»... Было безумием упорствовать дальше.

Температура зала дошла до той высоты, при которой каждый отдельный человек уже перестает быть самим собой и становится безвольной частицей целого, — вся эта масса людей жила одним сознанием, одной волей, кричала одним голосом, кружилась в одном вихре безумия.

Среди посторонней публики, наполнявшей нашу ложу, были двое, которые особенно неистовствовали, — молодая девушка и реалист, по-видимому, еврей-фанатики. Чувствовалось, что для них это не политическая демонстрация, как для большинства из нас, в том числе и для еврейской молодежи, а боль и протест оскорбленного национального чувства. С первого же момента они впали в истерическое состояние, потрясали кулаками, кричали не своим голосом, — в выражении их лиц было что-то трагическое. Мы, большинство, несмотря на возбуждение, видели и смешную сторону происходящего, сохраняли некоторую дозу юношеского веселья и легкомыслия, эти же двое не могли улыбаться...

После второго антракта к двум действующим лицам разыгрывавшегося в театре спектакля — актерам и публике — присоединилось третье, незримо присутствовавшее там с первого момента, — полиция. Ее появление было внезапно и, как всегда, только подлило масла в огонь. Городовые стали врываться в ложи во время «действия» и вытаскивать в коридор всех, кто попадался под руку. Можно себе представить, какой эффект имела эта удачная и вовремя примененная мера укрощения. На моих глазах в коридоре один из моих товарищей по ложе* реагировал на нее звонкой пощечиной околodочному. Его сейчас же затерли в толпе, так что он даже не был арестован.

Между тем в нашей ложе происходили дикие сцены. Курсистка-фанатичка дошла к этому времени до полной истерики: с растрепанными

* Виктор Познер.

черными волосами и искаженным лицом, она свесилась через барьер ложи и кричала, как безумная, потрясая руками. Городовой схватил ее за спи и стал тащить из ложи. Она с диким криком изо всей силы уцепилась за барьер. Между ними завязалась борьба, которая привлекла внимание всего театра. Городовой тянул ее с такой силой, что вырвал рукав ее платья. Снизу казалось, что он тащит ее за косы, а может быть, так и было. Все это произвело такое тягостное впечатление на публику, что в партере, среди зрителей, пришедших в театр совсем не для демонстрации, произошли странные сцены. Один офицер из первых рядов встал со своего места, обернулся и упал в обморок, кто-то истерически зарыдал, дама из второго ряда, которую впоследствии Карабчевский¹⁰ в своей защитительной речи характеризовал, как звезду с Невского проспекта*, возмущенная происшедшим, бросила на сцену свой элегантный перламутровый бинокль. Нейтральный и скорее враждебный партер перешел на нашу сторону, что-то понял, чему-то смутно начал сочувствовать. Все свидетели на суде рассказывали о сценах, происходивших в партере, и связывали их с безобразными насилиями, творившимися полицией. Трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы настойчивость демонстрантов не победила, наконец, упорство дирекции театра и не опустился железный занавес. Его приветствовали бурными аплодисментами. Демонстрация окончилась.

Борьба в зрительном зале еще продолжалась, когда многие из нас оказались изолированными от места битвы. Городовые грубо вытащили нас в коридор, переполненный полицией и публикой, отчасти подвергшейся нашей участи, отчасти свободно вышедшей из зала, где стояла нестерпимая духота. Лица у всех горели ярким румянцем, глаза блестели, атмосфера и здесь была наэлектризована до последнего предела. Часть выхваченных полицией лиц была отведена вниз, в какую-то маленькую каморку, и там переписа-

на. Всего переписанных было 73 человека, которые затем и были привлечены к судебной ответственности. Эта цифра, как и состав привлеченных, была совершенно случайной и не находилась ни в каком соответствии с действительным числом участников демонстрации.

Все привлеченные к суду обвинялись по 39 статье Устава о наказаниях — за нарушение общественной тишины и спокойствия. Дело подлежало рассмотрению мирового судьи. Таким образом, политическая демонстрация низводилась до незначительного происшествия, вроде уличной драки. Но расчет был неудачен. Как-то стихийно, без всяких усилий с нашей стороны, дело разрослось в большой политический процесс. Это была одна из отдушин, которая давала возможность общественному мнению, сдавленному тисками самодержавия, с шумом вырваться наружу. Смешно сказать: дело по обвинению в нарушении общественной тишины, слушавшееся у мирового судьи, продолжалось с утра до вечера в течение четырех дней, и в нем приняло участие двадцать защитников, в том числе весь цвет тогдашней петербургской адвокатуры. Это было время, когда политические процессы еще не стали обычным явлением, и адвокатура придавала своему участию даже в таком незначительном процессе большое общественное значение.

Ввиду большого количества подсудимых, необычного для мирового суда, дело разбиралось в помещении съезда мировых судей, на Мещанской улице. Судил нас популярный в то время мировой судья Меншуткин¹¹. Высокий, худой, с спокойным строгим лицом, он умел каким-то особым, полным достоинства жестом возлагать на себя широкую золотую цепь, которая на черном сукне его сюртука тотчас же превращалась из вещественного предмета в отвлеченный символ. Меншуткин был объективен и бесстрастен, но за его строгим ликом судьи мелькала порой добродушная, ласковая улыбка по нашему адресу. Его сочувствие было не на стороне наших обвинителей, выступавших официально в лице полицейского пристава и целого ряда городских, которым поруче-

* Известная в то время владелица модной мастерской.

но было разыграть на суде роль свидетелей обвинения.

Камера мирового судьи была переполнена подсудимыми и публикой, так как дело слушалось при открытых дверях. Место обвинителя занял пристав, с левой стороны за загородкой столпились представители защиты. Тут были Карбачевский, Владимир и Михаил Бернштамы, Бобрищев-Пушкин, Федор Волкенштейн, Вржосек и много других — не припомню уже сейчас кто. Во всяком случае, все видные адвокаты того времени, со сколько-нибудь общественной физиономией, были здесь. Между защитниками и подсудимыми создавался тотчас же контакт, который всегда возникает между людьми, увлеченными общим идейным делом.

Перед судейским столом, на небольшом столике, расположены были «вещественные доказательства» — целая связка полицейских свистков, из которых один выделялся огромными размерами, две-три галоши, подобранные на сцене, и изящный дамский бинокль.

Начался опрос подсудимых — 73 вопроса, 73 ответа. «Признаете ли себя виновным?» — «Виновным себя не признаю, шикал, свистал, кричал», «виновным себя не признаю, свистал, кричал, протестовал против насилия». Студент Райков сказал: «Свистал, кричал, протестовал против насилия, когда явилась полиция, стал кричать и свистать вдвое». И все в этом роде. После опроса подсудимых начался допрос свидетелей обвинения. Перед нами прошел длинный ряд околоточных и городских с тупыми, грубыми лицами без всякого выражения, как бы отштампованными по одному шаблону. Вытянувшись во фронт, голосами, лишенными интонации, они произносили затверженные фразы и уходили, стуча своими тяжелыми сапогами. Большинство показаний носило общий характер, устанавливая факт нашего «безобразного» поведения в театре, но отдельных лиц, творивших эти безобразия, свидетели указать не могли. Только изредка какой-нибудь городской — на заданный ему судьей вопрос: «Не узнаете ли вы» и т. д. — тыкал пальцем на первого попавшегося из нас со словами: «Вот этот», вызывая улыбку на всех ли-

цах. Однако свидетельскими показаниями было установлено все же, что студент Иванов бросил на сцену гнилое яблоко и что госпожа Ц. из партера бросила на сцену бинокль. Защитники своими вопросами наперерыв сбивали с толку казенных свидетелей, явно издеваясь над ними и демонстрируя на каждом шагу заученность их показаний.

Затем пошли свидетели защиты — тут были студенты, курсистки и другие лица, бывшие в театре, как принимавшие, так и не принимавшие участия в демонстрации. Не отрицая фактов, вызвавших наше привлечение к суду, они указывали главным образом на безобразное поведение актеров и полиции, имевшее последствием крайнее раздражение и озлобление всей публики. Среди свидетелей защиты ярко запомнились две фигуры, выступившие как представители литературы и общественности. Это были присутствовавшие на спектакле Дорошевич¹² и Калмыков¹³. В прекрасных горячих речах они осветили все общественное и политическое значение демонстрации, выявили истинные мотивы нашего поведения и нарисовали художественно яркую картину событий, происшедших в театре. Они говорили о том впечатлении, которое произвели упорство дирекции, наглость артистов и грубое насильничество полиции на совершенно нейтральную публику, пришедшую смотреть пьесу и вначале возмущенную демонстрацией. Они рассказали об истериках и обмороках, происшедших на их глазах, и о возмущенной даме в блестящем туалете из второго ряда партера, в порыве негодования бросившей бинокль на сцену. Выступления Дорошевича и Калмыкова были оценены в зале суда и за его стенами, как выражение общественного мнения, сочувственного демонстрантам.

Настроение в зале нарастало с каждым днем, с каждым часом. Подсудимые, публика, свидетели, защитники — все слилось в одно целое, охваченное радостным возбуждением борьбы, светлым настроением кануна революции. В перерывах мы толпились в камере, коридорах и на лестнице, окружали плотным кольцом наших защитников, говорили с ними о настоящем и будущем, смея-

лись над забавными моментами процесса. В обеденный перерыв расходились по домам, но и там продолжали жить теми же настроениями. Я с братом-студентом жила близко от Мещанской, и поэтому в нашей студенческой комнате образовалась настоящая штаб-квартира. Приходили целой оравой, покупали чайную колбасу, масло, сыр, пили чай и болтали без конца, а вечером возвращались с заседания в сопровождении ближайших друзей и устраивались на коллективный ночлег, чтобы утром снова бежать в суд.

Наконец следствие закончилось. Начались прения сторон. Пристав произнес обвинительную речь, потом начались речи защитников. Это было в четвертый день процесса, и весь день, до темноты, скромные стены судебной камеры мирового съезда были потрясемы словами и жестами — для них странными и непривычными. Первым выступил один из подсудимых, принявший на себя защиту своего собственного дела. Это был пожилой уже, почтенный профессор химии Михаил Гольдштейн, принимавший участие в демонстрации и своим выступлением на суде довершивший начатое им в театре дело общественного протеста. Его речь, спокойная и смелая, простая и безыскусственная, произвела сильное впечатление не только на нас, но и на защитников, а также, вероятно, и на судью. Выступление Гольдштейна определило то серьезное и торжественное настроение, которое продолжалось уже до конца процесса. После Гольдштейна первым из профессиональных защитников выступил Карабчевский, принявший на себя защиту двух лиц, против которых были предъявлены наиболее «тяжкие» обвинения, грозившие высшим наказанием по 39 статье — семидневным арестом. В числе этих двух была и г-жа Ц., бросившая бинокль на сцену. Освещающая общее настроение зрительного зала и желая подчеркнуть сочувствие публики к демонстрантам и наглость полиции, а также найти смягчающие обстоятельства для своей подзащитной, Карабчевский охарактеризовал ее как даму полусвета, которая, идя в театр, дальше, чем кто-либо, была от мысли о демонстрации. Г-жа Ц. присут-

ствовала на суде и действительно резко выделялась из нашей среды. Если не считать этой маленькой шероховатости, речь Карабчевского была блестящей как по форме, так и по содержанию. Вторым говорил Бобрищев-Пушкин, будущий октябрист, а потом сменовеховец, тогда же еще молодой и оппозиционно настроенный талантливый адвокат. Его красивое бледное лицо, обрамленное длинными черными волосами, горящие глаза, страстный темперамент, нервность и редкое ораторское дарование сразу приковали внимание всего зала. Никто из защитников не поставил вопроса в такой резкой форме. Он говорил об общественной необходимости, неизбежности и законности демонстрации и не пытался находить смягчающие обстоятельства для подсудимых. Своими произнесенными с страстным волнением словами «Надо было свистать» он открыто примкнул к демонстрантам. После его речи все были так взволнованы, что судья сделал перерыв. Карабчевский обнял Бобрищева-Пушкина и поцеловал на глазах всего зала.

После перерыва речи возобновились и продолжались до шести часов вечера. В камере было душно. Царило то возбужденное состояние, которое бывает только на больших процессах, после нескольких дней пребывания в зале суда. Наконец, последний защитник окончил свою речь. Меншуткин обращается к подсудимым с предложением «последнего слова». Но никто не выступает — это коллективное решение подсудимых и защитников, — сказано достаточно, не надо ослаблять впечатления. Меншуткин поднимается среди общего молчания, чтобы объявить перерыв перед произнесением приговора. Настроение в зале торжественное... и вдруг... Но тут надо сделать небольшое отступление. Среди подсудимых был некто В., студент-еврей, невероятно маленького роста с невероятно большим носом. Это был какой-то чудак, взявший на себя добровольную роль шута в процессе. Он поминутно вскакивал, подбегал к судейскому столу, говорил всякий вздор, притом с резким еврейским акцентом. Обвиняли его в том, что он свистал в свисток необыкновенных

размеров. И вот... в торжественный момент, когда Меншуткин поднялся с своего места, а за ним встал весь зал, среди гробовой тишины мы с ужасом видим, что наш В. уже несет к столу. Его хватают за фалды, на него шикают, не пускают,— куда там! Он скажет свое «последнее слово». Вот его маленькая фигурка уже у стола— тишина мертвая, все в напряженном ожидании. Меншуткин смотрит вопросительно. «Господин судья, это он мой нос принял за свисток»,— раздается знакомый голос. Минута молчания, и взрыв бешеного хохота потрясает камеру. Меншуткин сдержанно улыбается и произносит своим спокойным, негромким голосом: «Господин В., оставьте ваш нос в покое». Все наше нервное напряжение прорвалось в безудержном веселом смехе. Никто из нас так и не понял, что это было— глупая выходка шута, которому нравилось выставлять себя на посмешище, или тонко придуманная, остроумная mise en scène¹⁴, скажу теперь, на редкость удачная по контрасту настроений и выразительности. Так или иначе, студент В. приобрел если не славу, то большую популярность. Многие позабылось, многие имена и лица испарились из памяти, а В. стоит и сейчас перед глазами, как живой, с своей маленькой юркой фигуркой и огромным носом, похожим на свисток.

После перерыва Меншуткин прочел приговор: больше половины подсудимых было оправдано, остальные приговорены к четырем дням ареста, а двое— Иванов и г-жа Ц.— к семи дням. Разделение подсудимых на категории объяснялось явным желанием Меншуткина показать свою симпатию к демонстрантам. Оправдать всех он не решился, но воспользовался, по-видимому, тем, что мы давали не совсем одинаковые ответы на вопрос о виновности. Ведь единственным основанием для обвинения послужило наше собственное признание, и ничем другим он руководствоваться не мог. Вероятно, он счел возможным оправдать тех, кто в своем ответе перечислил лишь те действия,

которые являются обычным способом выражения неодобрения в театре. Тех же, кто «кричал, протестовал против насилия» и т. п., ему пришлось осудить.

Так как меня вытащил из ложи городской, и я, разумеется, «протестовала против насилия», мне «повезло» и я попала в группу осужденных. Отсиживать приходилось не всем сразу, а по желанию. Все мы были на свободе и могли «заарестоваться», когда захотим. Между тем в воздухе носились уже предчувствия новых бурь памятного 1901 года, и мы поспешили отсидеть, чтобы не оказаться под замком в самый «важный момент». Первая группа отбывавших арест, в которую я вошла, состояла всего из пяти лесгафтичек и нескольких студентов, к которым присоединился профессор Гольдштейн. Сидели мы в арестном доме, предназначенном для пьяниц, скандалистов и уличных женщин. Появление в таком месте юных наивных курсисток сбilo там всех с толку. Надзирательницы не понимали, что им с нами делать, но все-таки догадались дать нам отдельную, очень чистую и светлую комнату и устроить нам обособленную трапезу. В день свиданья к нам пришло несколько десятков студентов и курсисток с целым магазином съестных припасов, особенно сладостей, а начальство курсов Лесгафта прислало нам огромный яблочный пирог с надписью из теста: «Мученикам за идею». Хохот и гвалт в комнате свиданий стоял такой, какого арестный дом за время своего существования, вероятно, не слыхивал. Вообще мы внесли туда своим пребыванием столько беспорядка и задора, что администрация дома была страшно рада от нас избавиться. Да и нам было пора. Новые события разворачивались, и душа трепетала радостными и жуткими предчувствиями. Но воспоминание об этих событиях выходит уже за пределы моей скромной задачи— осветить маленький, полузабытый эпизод зари нашего студенческого движения.

БОЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ *

(Из воспоминаний)

I

В РУМЫНИИ. — ПОТЕМКИНЦЫ

В 1904 г., по окончании дела Плеве, все участники Боевой организации временно были распущены. Большинство работников, утомленные напряженной и нервной работой, уехало за границу на непродолжительный отдых, на свидание с товарищами-центровиками, чтобы там, при более свободных условиях, собиравшись обсудить и определенно наметить ряд дальнейших планов деятельности. Представилась возможность и мне съездить за границу к брату-эмигранту. Оторванность от всего мирского вызвала большую потребность повидать старых друзей, раскиданных по разным странам, хотелось также познакомиться с новым, молодым поколением, формирующимся, как казалось, главным образом в свободных западных условиях.

При посредстве ныне умершего Панкеева²⁸, редактора «Южных записок», издававшихся в Одессе, и брата В. Г. Короленко — Иллариона Галактионовича, у которого с Панкеевым были наилучшие отношения, поездка быстро наладилась.

Панкеев был «освобожденцем», свой партийный орган, издававшийся в Штутгарте П. Струве, он получал при посредстве моего брата Василия Семеновича, эмигранта-доктора, жившего в Румынии, в Тульче.

Брат сам получал нелегальные издания из-за границы, а в Россию переправлял их через капитана болгарского пароходства по Дунаю, совершавшего рейсы от Одессы до Варны, кажется. Капитан находился в самых дружеских отношениях с братом, которому, по словам самого капитана, он был очень многим обязан. Только на обратном пути пароход мог заходить в Тульчу, и тогда капитан от брата получал тючки с «Освобождением», которые по прибытии в Одессу он и относил к Панкееву.

Поздно вечером принял меня на свое судно капитан — фамилии и имени не помню. Поместив в каюте 1-го кл., он убедительно просил меня не выходить из нее, не показываться на палубе, пока мы не минуем черты русских владений, и тогда он сам предупредит об этом. Никому бы и не пришло желания нарушать этот договор, ведь до Галаца, конечного пункта моего пути, был всего 8—9-часовой переход, хотя широкая даль морская, тихое звездное небо неудержимо манило на палубу. Была поздняя осень, на море виднелись белые барашки. Глядя из-под руки вдаль, знакомые с морскими причудами качали многозначительно головой. И едва пароход очутился в открытом море, как очень быстро ощутилась сила могучей стихии. Пароход сразу же начал нырять, как дельфин, спускаясь и поднимаясь по гребням волн, горами набегавших на наше небольшое судно. Все пришло в неопишное волнение. Шум и соленая пена, пробивавшаяся через иллюминаторы, наполнили наши каюты. Казалось, какая-то неведомая живая сила пробудилась и делала свою разрушительную работу. Сквозь этот неумолкаемый шум, в короткие интервалы наступавшего затишья, доносились звуки стройной музыки. Это капитан, большой любитель, музицировал с какими-то путешествующими артистами. В самый разгар бури голова капитана просунулась в дверь нашей каюты, и он громко сказал:

— Вы теперь вне какой-либо опасности, поднимайтесь наверх, к нам, послушать музыку.

Но до музыки ли было в такой непривычно грозный час?..

Так сильно конспирировавший в начале пути капитан под конец, на румынской территории, отбросил уже все предосторожности, разбахвалился вовсю, и, когда мы причалили к пристани Галаца, агенты и еще ка-

* Окончание, начало см. с. 127.

кие-то молодые джентльмены знали уже о подвиге неустрашимого капитана, по-видимому, рассказавшего им, с значительными прибавлениями небывальщины, о своей пассажирке. Румынские «человеки» подходили открыто ко мне с разными предложениями, рекомендуясь почитателями «русского доктора», сильно ими уважаемого. Они немедленно поспешили вызвать его в Галац. Брат мой эмигрировал еще в 77 году, после побега из московской тюрьмы, много лет жил и работал в Добрудже, в Тульче, с населением сплошь почти русским. Он знал превосходно всю страну с ее невероятно испорченным правительством, с темным и гибнущим в нищете народом.

Это маленькое государство после русско-турецкой войны получило очень широкую конституцию, но гарантий приобретенных свобод у населения не было и не могло быть. Народ не имел прав и не умел защищать эти права, дарованные конституцией; он был слишком темен и чересчур забит. Во всем мире, кажется, не существовало более ужасных противоречий, чем во всем укладе румынской жизни.

С одной стороны, широчайшая конституция, карающая за вскрытие частного письма почтовым чиновником или просто любопытствующим 12-ю годами каторги, с другой — полная, ничем не прикрытая разнузданность, подкупность, воровство, как ни в какой стране, правительственных чиновников и лиц высокого ранга...

Голодное, нищенское существование, полная неграмотность, земельное закабаление народа у помещиков, отсутствие самой примитивной культуры и малейшего признака сознания своих прав, своего достоинства. «Вол и румын — одно и то же, только вол дороже». Такова поговорка, определяющая отношение культурной части к народу. Праздные тунядцы-помещики выжимали из нищего румына решительно все, оставляя ему лишь кусок мамалыги да привычку полуживотного существования.

Вскоре после турецкой войны, в конце 70-х гг., было создано при участии русских эмигрантов социалистическое движение. В деревнях основывались клубы, школы, читальни.

Организация распространялась быстро и с значительным успехом. Правительство всполошилось. Начались аресты, высылки; тюрьмы переполнились. Среди селян наступила паника. Движение было разбито вдребезги, задавлено жестокими мерами надолго.

В эту-то убогую, крепостническую страну влилась в 1905 году восьмисотенная «потемкинская» армия, хорошо дисциплинированная, тесно сплоченная товарищескими узами.

Восставший броненосец «Князь Потемкин Таврический» после недолгого блуждания по Черному морю сдался 25 июня в Констанце, в Румынии, и матросы впоследствии расселились буквально по всей стране. Все это был народ молодой, здоровый, красивый, один к одному, как на подбор, в большинстве даже и профессионально образованный. Они резко выделялись среди приниженного и бедного румынского населения. Значительная часть матросов, зная какое-либо ремесло — портновское, сапожное, электротехническое, быстро находила себе место. Кое-кто из них нанимался в плавни — рыбачить. Правда, из них выделилась небольшая кучка «вольномудцев», которая взяла на себя труд совершать туры, круговые путешествия через всю Румынию, в уверенности, что на их жизнь «дураков хватит», а сами они меньше всего склонны были работать и быть этими дураками.

Начинали они свою экскурсию с юга, поднимались на север, опускались потом снова на юг. В год они совершали два-три оборота по небольшой стране, каждый раз заходя к «дяде», русскому доктору, поделиться с ним своими сказочными приключениями.

Между потемкинцами выделялись очень интересные и самобытные личности, большие умницы, маленькие поэты-мечтатели, художественные натуры и прекрасные рассказчики. Свою революционную эпопею на «Потемкине» некоторые из них передавали так живо, образно, так ярко, увлекательно, что у слушателей замирал дух. Самым захватывающим моментом был тот, когда «Потемкин» очутился в окружении черноморской эскадры и потемкинцы, как один человек, приготовились пробиться или

умереть, — момент был поистине полон высокого порыва и энтузиазма.

14 июня, в 10 часов вечера, из Тендеровского залива в Одесский порт пришел броненосец «Потемкин Таврический», а 17-го числа того же 1905 года появилась эскадра близ Одессы, где стоял «Потемкин». Вот какой обмен сигналов произошел между ними.

Адмирал Кригер: «Требую, чтобы вы присоединились к эскадре».

Потемкин: «Просим адмирала на борт».

Адмирал: «Сдайтесь, безумные потемкинцы, или примите бой».

Потемкин: «Мы готовы к бою».

Адмирал: «Я не могу его здесь принять, так как при перелете снарядов может пострадать город».

Потемкин: «Иду к вам».

И стальной гигант-бунтовщик, подняв красный флаг, понося вразрез эскадре в косом положении, среди шпалер военных судов. На нем все было готово: пушки наведены жерлами на противников; притаившиеся у пушек с протянутыми руками матросы ждали сигнала, чтобы мгновенно нажать на электрическую кнопку. Зорко следя за неприятелем, они все были начеку. Единный со стороны эскадры выстрел — так было решено — вызвал бы со стороны «Потемкина» громовой ответ всех орудий такой страшной силы, которая бы смела всю дочиста эскадру, но и сам «Потемкин» со всей своей командой шел на верную, неминуемую смерть. Без захватывающего трепета нельзя было слушать этого эпизода героической борьбы «Потемкина» против целой черноморской эскадры. Сами рассказчики и участники бунта чувствовали, что это самое огромное, важное, величавее чего дальше в их жизни не будет, не повторится никогда. Главный их организатор, ближайший руководитель Афанасий Матюшенко²⁷, бывший командир революционного броненосца, сдавшийся вместе со своей командой в Констанце, поехал отсюда в Швейцарию и, побывав в других центрах рабочего движения, вновь вернулся в Женеву, склонившись в сторону анархизма. Его я встретила один только раз в 1907 году в Женеве.

Придя однажды в малознакомую мне семью, я застала хозяйку за ра-

ботой в кухне и, не желая стеснять ее своим присутствием, направилась в другую комнату, всегда наполненную детским шумом и возней. На этот раз в ней стояла полная тишина и спокойствие. Перешагнув порог, я остановилась в удивлении. На диване у стены сидел немолодой уже мужчина с темно-рыжими волосами, скромно одетый в пиджачную дешевую пару, немного сутуловатый. Неправильное скуластое лицо не красило его, но большие серые глаза с выражением нежной грусти и большой скорби делали Матюшенко заметным, особливым. На его коленях сидела трехлетняя девочка, дочь хозяйки, прелестная малютка с личиком херувима, опущенным волнами чудных золотистых кудрей, спадавших на ее плечи. Она, как виноградная лоза, обвивала своими ручонками шею Матюшенко и прильнула своей пухленькой щечкой к этому полному печали лицу. Он же тихонько, словно опасаясь спугнуть чудное видение, гладил девочку по золотистой головке, а она лепетала ему едва уловимые, ласковые, ею самой выдуманные полуслова и целовала, целовала его лоб, глаза, щеки...

«Кого так любит эта чудная девочка, — подумалось мне, — должен быть очень хорошим человеком».

Вскоре мы разговорились с Матюшенко. Это был глава всех потемкинцев, их брат, неотделимая душа их. Не все они сознательно относились к делу, не все считали его своим кровным; многие из них имели очень смутное представление о социализме, они просто шли за правое дело, вот и все. Но все без исключения относились к Матюшенко с большим, искренним уважением, все любили его и признавали его превосходство, дорожили им, и каждый раз, принимая какое-либо решение, уже за границей, не обходились без советов с ним. «Он смелый, ничего не боится, ничто его не испугает», — говорили о нем в один голос все, даже и те, кто не вполне соглашался с его мнением, и за его всегдашнюю внимательность, бескорыстие, самозабвение и искренность все платили ему самозабвенной дружбой.

Его тронули привезенные мною поклоны от румынских товарищей, а вопросы, как он думает жить даль-

ше, заставили его глубоко задуматься. У потемкинцев в ту пору бродили разные смелые, подчас серьезные и полусерьезные планы. Рождались они, конечно, у меньшинства, так сказать, у ядра всей массы живших в Румынии, но нет никакого сомнения, что если бы навернулось что-нибудь значительное, большое и стоящее, никто из них не отказался бы окунуться в него с головой.

А Матюшенко, побывавший за границей в положении пустой лады на волнах, перебрасываемой туда-сюда, успел получить чувствительные пробоины в своем прежнем, устойчивом и цельном, мирозерцании. Теперь в его лице и голосе чувствовалось что-то скорбное, что связывалось с утратой его веры в главное дело жизни, с недоверием к интеллигенции, с упреками в сторону генералов, где правда перемешивалась с излишними преувеличениями и ложными обвинениями. «Армия,— говорил он,— брала окопы, лезла на редуты, а генералы были далеко от солдат!» В его голосе слышалась душевная мука, надорванность, пожалуй, даже отчаяние.

Это душевное состояние Матюшенко закончилось тем, что он вернулся на недружелюбную родину, в Николаеве был скоро арестован с бомбами, судился военным судом и казнен.

Потемкинцы, чувствуя себя вышибленными из родных мест, инстинктом жались друг к другу, чему помогали их молодость и прошлая суровая дисциплина. Матросы, жившие в одном каком-либо месте, по субботам, после работы, собирались у кого-нибудь из своих товарищей. В Тульче сходились к «дяде», как звали они доктора. Немного чтения, немного воспоминаний, а порой на собрании поднимались вопросы иного характера, связанные с прошлой деятельностью. От участия в общественной работе они не хотели отказываться, напротив, им казалось, что они еще не выполнили своего дела, не довели его до надлежащего конца, и теперь, оглядываясь назад, ясно видели, в чем была их непростибельная ошибка: гордый, хотя и одинокий «Потемкин» не должен был сдаваться.

Потемкинцев очень охотно брали на работы на фабрики, нефтяные про-

мысли. Они были молоды, ловки, ориентировались быстро во всех положениях, исполняя работы прекрасно. Через три-четыре месяца большинство из них усвоило настолько хорошо язык, что свободно могло объясняться по-румынски.

Крестьянское движение в Румынии, как и много раз ранее, так и в седьмом году, было вызвано страшной нищетой и закабаленностью безземельных крестьян помещиками; но правительство желало объяснить это движение исключительно влиянием революционных элементов, в категорию которых, разумеется, были охотно включены бунтовщики — русские матросы. Значительную часть их тогда арестовали и потом выслали за пределы Румынии. Понятно, что потемкинцы, выбившиеся из-под одной неволи — русского самодержавия, — тем более не желали допустить над собой произвола румынских властей. Кое у кого из них происходили резкие стычки со своими непосредственными начальствующими лицами, привыкшими к молчаливой покорности темного, ничем и никем не огражденного от насилия румына. Были «дружеские» предупреждения потемкинцам не вести пропаганды среди невежественного и грубого рабочего класса, с которым матросы стояли бок о бок целыми днями в мастерских и на фабриках, за станками. К такой деликатности матросов «обязывает»-де оказанное им правительством гостеприимство, говорила администрация.

— Что мы, клятву дали, что ли? Вы знали, кого принимали, — если мы там, у себя на родине, бунтовали, то здесь нам фальшивить тем паче нет основания, — возражали потемкинцы.

Случались и другого рода любезные разговоры с молоканами²⁸, когда-то давно перекочевавшими из России от преследования за свою веру. Эта секта, когда-то боровшаяся с правительством, теперь часто в пылу религиозного спора упрекала потемкинцев за измену белому царю.

— А что же вы, с. с., сюда утекли от этого белого царя? Идите к нему на помощь, чего же не пособляли бить японца, когда он так вам мил? Небось, раньше нас сюда убили? — отвечали им потемкинцы.

С беспримерной жестокостью расправилось со своими крестьянами, еще раз поднявшимися новой волной в 1910 г., румынское правительство, и тогда же не постеснялось оно удалить из своей страны потемкинцев, радостно принятых и обласканных им же в первый момент по их сдаче. Тогда говорили, и не без основания, будто в деле изгнания матросов-потемкинцев роковую роль сыграло русское правительство, приложив к сему делу свою тяжелую лапу.

Впрочем, все эти события развивались постепенно, по мере развивавшейся общей реакции между 1905 и 1914 годами.

В 1904 г., как и во все предыдущие годы со времени русско-турецкой войны, жизнь всего якобы культурного, а на самом деле разбойного румынского общества сводилась к неизменно повторявшейся борьбе либеральной партии с партией консервативной: едва у власти появлялось либеральное министерство, как тотчас же начиналась агитация против него, и все и вся были заняты этим почтенным трудом, пока не удавалось свалить либеральную власть. В свою очередь, консервативная партия подвергалась той же самой участи, и с тем же упорством и последовательностью велась кампания до свержения ее. Воздвигнутая статуя свободы на прекрасной площади против парламента при избрании министерства консервативного неизменно каждый раз поворачивалась задом к этому учреждению.

Вся страна, как бы замороженная, лежала в оцепенении, нигде и тем более по деревням, не чувствовалось ни малейшего признака жизни. Заваленный народ, казалось, перешел ту черту рабства, когда еще давимый имеет некоторое мужество отставить свою спину от слишком тяжелой ноши. Румын был только тем фруктом, из которого можно выжимать сок для небольшой извращенной культурной шайки, получавшей в Париже свое образование и возвращавшейся оттуда с излишне увеличенными аппетитами. Для удволения своих изысканных вкусов кончившие курс наук жертвовали интересами своего народа и забывали свое достоинство. Борьба ве-

лась с откровенным цинизмом и беззастенчивостью. За 30 лет существования свободной конституции для народа не было сделано ничего, тактики ровнехонько ничего, даже простой грамотности не насадили. Народ был подавлен экономической нуждой и принижен постоянным произволом.

II

В ЖЕНЕВЕ

Сосредоточение довольно значительных русских революционных сил в 1904 году в демократической маленькой, чистенькой Швейцарии, естественно, создало в ней тот центр, куда беспрерывно вливался все расширявшийся революционный круг нелегальных работников. Но главным родником, откуда стекались все эти весенние струйки, была Сибирь. Количество бежавших из тюрем, а еще больше с поселения, с каждым годом, с каждым месяцем весьма заметно возрастало. У каждого из беглецов был свой расчет, свои побуждения бежать за границу. Одни полагали установить утерянные связи, что-то выпавшее и отдалившее их от нового движения. В далекой северной ссылке и глубоких снегах Сибири хотя они и не были окончательно отрезаны от родины, где шла отчаянная борьба направлений, но все же эти молодые силы, заброшенные часто среди глухих улусов и тайги, постепенно утрачивали ясное понимание и тесную связь с общим делом. И казалось им, что именно в этом центре, в Женеве, они найдут эту утерянную связь с вечно бегущим и никогда не останавливающимся людским потоком. Тянуло всех в этот водоворот яркой жизни после скучной и бесконечно бедной впечатлениями, далекой и безлюдной пустыни. Одни, как бывает это часто после побега, как бы начинали строить свою жизнь по-новому, сами хотели искать свою дорогу, свободно, без всяких обязательств к кому или чему бы то ни было, взять то, что отвечает их искренним потребностям и их совести. Других манила туда перспектива просто вздохнуть свободно, выпрямиться, уйти от неизбежной опасности на родине — попасть снова в капкан. Молодые, са-

мо еще не выдавшее радостей бытия, оторванное, жадно стремилось подойти ближе к своему командному составу, к путевым звездам «первой величины», как тогда выражались. Все стремились в этот центр неудержимо, как магнетане в Мекку. За границей думали они присмотреться и понять то новое, которое входило тогда в жизнь. Им всем думалось, что вот там-то они найдут все настоящее, необходимо нужное, революционное.

В культурной и спокойной Жене-ве было тогда (1904 г.) два главных течения, две большие партии: социал-демократов и социалистов-революционеров, с их ЦК и лицами, к комитетам близко стоявшими. Партия с.р. имела там свою типографию, экспедиционную контору и др. технические учреждения. Партийный орган «Революционная Россия» выходил довольно исправно, там же печаталось много книжек и другой литературы для быстро возраставшего круга читателей в России.

Партии расходились тогда всего больше по вопросу о терроре, но спор велся так резко, как будто было желание во что бы то ни стало умалить своего противника. Неприязнь порой доходила до высшей напряженности и страстности; людям, мало привычным и не видавшим таких взаимных обвинений на публичных собраниях, эти полемические выступления и взаимные поклепы причиняли боль и непритворное изумление.

Уже в 1901 г. и сл. гг. отчаянная полемика велась на страницах с.-д. газеты «Искра». Этот орган проникал довольно регулярно в наши таежные уголки, рассекая ссылку на две резко отличные между собой группировки. И там у нас вызывались каждым новым номером горячие, а порой бурные споры, но до такой остроты, неприязни друг к другу дело никогда не доходило.

Вспоминаю, кстати, как в 1899 г., во время пути на поселение в Баргузинскую тайгу, мы остановились на передышку в большом, богатом серным источником селе, летом преобразившемся в значительный лечебный курорт (в Горячем). Наш проезд совпал с происходившими тогда студенческими волнениями. Сту-

денческие волнения, начавшиеся в Петербурге 8 февраля 1899 г., вслед за избием студентов, перешли во всеобщее движение, охватившее 30 учебных заведений, в числе которых был и Томский университет. Семья доктора Муратова, у которого мы остановились отдохнуть, уже хорошо знала все подробности происходивших томских студенческих беспорядков и охотно знакомила нас с ними, тем более что уже прошли в ссылку партии студентов. В конце концов и здесь, за тысячи верст от места борьбы, завелся пылкий спор о терроре. Одни, стоявшие как будто ближе к течениям русской жизни, соприкасавшиеся непосредственно с участниками массового движения, решительно утверждали, что террор отжил свое время, в данный же момент, при изменившихся условиях, назревают новые пути и борьба с правительством принимает характер массовый. Оппоненты возражали на это указанием на исключительную реакцию, массовые избия и аресты, говоря, что при таком характере борьбы неминуемо и неизбежно снова возникнет террор. Пока ничего не изменилось в общественных отношениях, пока одна сторона пользуется правом бить, а другая только быть битым, являются люди или организации, защищающие попранные права.

И действительно, в ответ на «временные правила» 29 июня 1899 года, на основании которых сданы были в солдаты 183 киевских и 27 пи-терских студентов, из которых многие покончили жизнь в казармах самоубийством, явился выстрел П. Карповича²⁹.

Этот террористический акт был такой же внезапный и непредвиденный для огромного большинства людей, каким был когда-то выстрел Веры Ивановны Засулич³⁰, после долгого мрачного застоя, нависшего над Россией. Он заставил встряхнуться и почувствовать, что не оскудела земля русская и нельзя безнаказанно глумиться над совестью и честью страны.

В 1904 году, в период общественного подъема, общественного возбуждения и террористической деятельности, уже существовала инициативная группа, называвшаяся

Боевой организацией партии социалистов-революционеров. Все знали о ее существовании, хотя она жила замкнуто и обособленно. За границей же боевая работа проходила в приготовлениях взрывчатых веществ и бомб и переправе их в Россию. Одновременно там же ставился вопрос о вооружении масс для восстания.

В конце того же 1904 г. в Женеве сгруппировался кружок лиц, который ставил своей целью «аграрный террор» как главное орудие борьбы в деревне. Во главе этой группы стояли молодые, энергичные, решительные люди, Каин и другие, а теоретиком был Евгений Лозинский³¹ — Устинов по псевдониму. Это течение, распространяясь среди молодежи, принимало характер острого конфликта между стариками и молодежью. Партийные руководители М. Гоц, Шишко³², Чернов³³ и особенно Феликс Волховской³⁴ выдвигали для того времени задачу организации масс и выступления массовые. При участии Ф. Волховского происходили несколько раз собрания с вновь народившейся молодой группой. Волховской со всей силой своей диалектики и захватывающего юмора обрушивался на Лозинского. В его словах к молодежи было много искреннего желания помочь ей нащупать путь менее болезненный, с менее резкими сдвигами. Он советовал больше всего и прежде всего направить работу на пробуждение массовых выступлений, и не только одних рабочих, но всей крестьянской массы.

На этот раз распри кончились взаимными уступками. Впрочем, хотя ехавшие в Россию и давали слово не проводить в жизнь аграрного террора, но поступки сильнее действуют и увлекают, чем все теории. При тогдашнем повышенном настроении скоро нашлись адепты применения аграрного террора: проведение его в жизнь, говорили они, откроет глаза народу и покажет ему, кто защищает его интересы.

В конце, помнится, декабря в Женеве ко мне зашел на квартиру Азеф с предложением взять на себя большое и очень важное для партии дело. Для выполнения и оборудования его уже намечены были люди, согласные в каждый момент вернуться в Рос-

сию, а план тщательно обдуман. Я, конечно, согласилась.

Всякая удача окрыляет, подымает силы как отдельного человека, так и целой партии. Удача с Плеве усилила желание принимать активное участие во всякого рода партийной работе. Чувствовалось пробуждение отечества, признание победы большинством общества выражалось громко и радостно. Как было не увлечься этой сознательной отзывчивостью запуганного до сего российского обывателя, впервые рискнувшего проявить громко свои симпатии делу революционеров, признать их дело своим кровным делом. Бездействию и гробовому молчанию наступил конец, даже опасная работа не пугала больше.

Предложение Азефа заключалось в следующем: для партии было весьма существенно снять или перекупить большие, хорошо обставленные номера или комнаты, не стесняясь расходами на их содержание. При номерах весь персонал служащих должен был состоять из своих людей: конторщик, горничные и вся прислуга. Для конторы рекомендовалось выбрать сугубо расторопного ловкого человека, так как ему понадобится иметь сношения с полицией. Свой экипаж или автомобиль должен будет обслуживать пассажиров, приезжающих с вокзала. В номерах останавливаться будут не только свои партийные работники, но и вообще пассажиры, паспортами которых легко будет пользоваться, снимая дубликаты с более подходящих. Таким образом, при номерах организуется паспортный стол. Равно отпала тогда опасность при перевозке партийной литературы, оружия, динамита, — все это под видом багажа гостей доставлялось бы куда угодно. Устроив такую гостиницу, партия обеспечит себя самыми необходимыми и самыми существенными предметами, на добывание которых уходит масса сил и средств, и часто производительно, ибо все это зависит от случайных и ненадежных обещаний, от изменчивой обстановки. Дав чисто практические указания, Азеф предлагал нам самим выбирать лиц из наличного безработного круга, переговорить с ними и тогда же самим решить время отъезда в Россию. Для дороги и на оборудование номеров средства им вскоре будут доставлены.

Торопиться очень не было необходимости.

В эту зиму в Женеве все русские встречали Новый Год вместе в большом общественном помещении. Огромный зал, ярко освещенный, красиво декорированный, наполненный шумной молодежью, гудел, как могучий рой пчел. Сразу ни понять, ни разобрать ничего нельзя было; меня, ослепленную давно не виданным, все поражало и вызывало напряженное внимание. Собралась здесь молодежь со всей почти обширной страны, с ее разнообразными национальными, индивидуальными и классовыми. Конечно, среди этой кипучей, жертвенно настроенной массы много было и таких людей, которым народные интересы нужны были, как мертвому кадилло, которые только в силу страха и ошибок напуганного правительства вынуждены были жаться к социалистам, сами не будучи социалистами. Эта собравшаяся многосотенная молодежь бурлила и клекотала здесь, как грозный весенний поток, приносящий с чистыми хрустальными струями и мутную накипь, и залежавшуюся гниль. Благодаря моей долгой оторванности от живой жизни, этот праздник мне казался каким-то маревом, чудным сном, так ярко и свободно было все, так много было огня и движения. Говорились свободные, дерзкие речи, молодежь с вдохновенными, радостными лицами пела и кружилась в обширном зале; она еще не израсходовала сил, суровая действительность не коснулась своим леденящим дыханием этих юных сердец.

В средине вечера ко мне подошел молодой господин, хорошо одетый, и подал молча живые свежие цветы. Чье это было внимание? Не знаю, но оно меня сильно взволновало и обрадовало несказанно, ведь это внимание символизировало, что нить, связывающая старое с молодым, не окончательно еще порвана.

Азеф, очень скромно одетый, в самый разгар вечера, подойдя ко мне, стал ходить рядом. Он жаловался на то, что его больно ругают за недавно происходившую конференцию, кончившуюся соглашением с «освобожденцами» и другими партиями. Очевидно, на вечер он пришел уже давно, потерялся среди шумной молодежи и схватил ее настроение. Его особенно поно-

сили, как видно, в чайной или в фойе, за узы с «освобожденцами», «либералишками». И открыто и громко бросали ему ругательные упреки.

Объединение это тогда вызывало много толков не только за границей, но споры и суждения об этом были перенесены и в Россию, велись со всем пылом и горячностью в тюрьмах. Okolo этого вопроса образовалась группа, которая вела агитацию за разрыв с ЦК.

Азеф вынул из кармана и прочел только что им полученное письмо-записку (игра в почту) от неизвестного ему лица, в которой называли его подлицом, негодяем и иными столь же милыми эпитетами, продавшим партию. Но в его голосе, в выражении лица ничуть не было заметно смущения или гнева, и отношение его к этому казусу было какое-то самоуверенно-снисходительное: ничего, мол, вы не понимаете — совершенно напрасный пыл! Вероятно, ему был известен автор или, по крайней мере, он догадывался, откуда несутся эти жестокие упреки, ругательные эпитеты. На мой вопрос, чем и как он думает отвечать, Азеф, вытянув губы трубочкой, произнес с несколько раздражительными нотами в голосе: «Что же и кому отвечать?» Мне показалось тогда странным и непостижимым такое равнодушие, когда его определенно и персонально обвиняли в продаже партии. Еще можно было понять обвинение в предательстве партии, но в продаже — это было выше всякого моего понимания.

«Они воображают, — все тем же тоном и помедлив немного, продолжал Азеф, — будто одна партия в состоянии сделать революцию, добиться чего-нибудь существенного одними исключительно своими силами. Наша партия, да и никакая из существующих в данное время в России, не так сильна, чтобы без союза, без общих усилий могла свалить могучую организацию самодержавного правительства. Все эти кричащие люди, якобы дорожащие так честью партии, меньше всего надежны в смысле твердости воззрений. Через пять, много десять лет они будут самыми исполнительными и надежными чиновниками, людьми 20 числа, лучшей опорой нашего деспотического строя. Я мало или почти вовсе не считаю с этими кри-

кунами, еще меньше дорожу мнением таких революционеров».

III ПАРИЖ. — Е. АЗЕФ

Хорошо не помню, в Новый ли год на балу или же после, когда Азеф заходил ко мне на квартиру, узнавши о моем желании побывать в Париже, он настоятельно рекомендовал мне поехать туда с одним молодым эмигрантом, вполне своим человеком. Для большей безопасности и возможности наилучше ориентироваться в непривычных, чуждых условиях жизни, он настойчиво советовал на первое время остановиться у его жены и потом при ее содействии подыскать комнату в каком-нибудь небольшом пансионе. В назначенный день мой спутник явился совсем готовым, с двумя билетами на поезд до Парижа. Солидный и приятный спутник оказался моим земляком, писателем, поэтом и чудесным товарищем.

Очень рано утром, едва брызнули первые лучи солнца, мы уже сходили с поезда на перроне парижского Лионского вокзала. Город еще еле пробуждался. Огромнейшие фуры, везомые крупными лошадьми, с грохотом катились среди туманной предраассветной мглы, и эта неясная утренняя туманность делала все предметы значительнее; точно в кинематографе выдвигались из мглистого воздуха головы животных в преувеличенном размере и затем мгновенно исчезали из поля зрения.

Мы зашли в первый невзрачный кабачок или ресторанчик, около вокзала, чтобы выпить там чашку кофе и немного отогреться. Хозяин тотчас же заметил нашу национальность и принес кучу русских газет, среди которых первое место занимало «Новое время».

При любезном внимании Любови Григорьевны, жены Азефа, мне удалось устроиться во французском пансионе, весьма приятном и недорогом.

Само собою понятно, как было все в высокой степени интересно в этом суетном и нервном мировом городе. Целыми днями мы бродили по разным уголкам, плясам, музеям и садам, богатым историческими памятниками

великих событий прошлого. Мы представляли собой того лесного человека, которому неудержимо хочется все ощупать, до всего дотронуться, и часто широко и пугливо открывались наши глаза от неожиданного зрелища поражающей бешеной жизни. В конце экскурсий к нам присоединилась прелестная барышня, по происхождению русская, по воспитанию вполне француженка. Она весело и охотно водила нас по самым интересным, ей отлично знакомым, частям города, останавливая наше внимание на самом значительном, важном, исторически замечательном. Однажды, насмотревшись до переутомления на изумительные богатства Парижа, мы зашли отдохнуть на квартиру жены Азефа. У нее мы застали компанию молодых людей, обсуждавших вопрос о возвращении в ближайшие дни на родину, в Россию. Квартира была тесная, маленькая, гости все сгрудились в крохотной гостиной, около небольшого круглого стола, тут же у противоположной стены сидел одиноко Азеф. Он никакого участия не принимал в разговоре, а как-то особенно пытливо вслушивался не в то, о чем говорилось, а кто говорил и как говорил. Насколько помнится, речь свелась потом на новейшую литературу, на Пушкиншевского, Арцыбашева и других писателей того же направления. Азеф был ярким противником новой литературы, ее последователей и восторженных поклонников «живого слова». Как бы вызывая его на откровенный разговор, один из говоривших резко и определенно поносил «заплесневелую», всем опротивевшую старую канитель, скучную и никому теперь не нужную, какую по привычке тянут «оставшиеся старички». Так же выразительно в то время проводилась эта же мысль и новыми певцами. Из сидевших кое-кто вызывающе смотрел на Азефа, но он до самого конца не обмолвился ни одним словом.

Многие считали этого ловкого предателя необычайным честолюбцем, адски самолюбивым чудовищем, с душой, всеми дьяволами наполненной, хотевшим совместить в своих руках всю власть, все могущество, быть наибольшим и тут и там, никого не щадя, никого не любя. Быть может, историки, отодвинутые дальше от современности, правильное понимают мотивы

вы каждого деятеля, каждого политического работника, но нам, вместе работавшим с Азефом, кажется не без основания, что самым сильным дьяволом в его душе была подлая его трусость, ну и... корысть. Первая, конечно, играла крупнейшую, преимущественную роль,— ведь ни одна страсть не доводит до той степени падения, как трусость. «Начнет, как Бог, а кончит, как свинья»,— сказал наш поэт об одном из персонажей своего произведения.

История предателей, ренегатов ярко иллюстрирует примерами, до какой степени это подлое чувство помрачает разум человека, доводя его до чудовищного падения и низости.

Один штрих, одно мимолетно замеченное обстоятельство часто помогает правильнее и лучше понять побуждения человека, чем продолжительные, теоретические разговоры и споры. Таким случаем, пожалуй, является следующее обстоятельство.

По какому-то неотложному делу я однажды зашла на квартиру жены Азефа. Толкнувшись в первую комнату, не найдя там никого, я заглянула в полуоткрытую дверь второй комнаты, рассчитывая там встретить хозяйку. Мелькнувшая перед глазами картина заставила быстро попятиться назад, и в этот краткий момент осталось слишком много запечатленным, памятью схваченным.

На широчайшей кровати, полуодетый, лежал откуда-то вернувшийся Азеф, хотя день был еще даже не на исходе, с расхлыстанным воротом фуфайки. Все его горой лежавшее жирное тело тряслось, как зыбкое болото, а потное дряблое лицо с сильно бегавшими глазами, втянулось в плечи и выражало страх прибитой собаки с вверх поднятыми лапами.

Такое большое, грузное существо дрожало, словно осиновый лист, как я поняла это впоследствии, только при мысли о необходимости скорой поездки в Россию. Это происходило после дела Плева. Ситуация, им самим созданная, приводила все к большему падению, большей лжи, выпутаться из которой становилось все труднее. Предстоящая перспектива быть открытым делалась ему яснее, а предотвратить неизбежность труднее, невозможнее.

Жена его тогдашнюю им проявлен-

ную подленькую слабость оправдывала тем, что он очень нервно расстроен. Между тем предстоит неотложная необходимость ехать в Россию. Если там его арестуют, то в тюрьме он не выдержит, сойдет с ума, он сам это чувствует, переживая даже здесь мучительное настроение. Он устал, утомлен, за ним гоняются постоянно, беспрерывно, поездка равносильна смертному приговору.

— Его обязанность отойти от дел,— заметили мы ей на эти lamentации,— если вы не преувеличиваете действительности, вы должны хотя бы на время отстранить его от работ.

Тогда думалось, что жена все представляет в несравненно большем размере, чем оно есть в действительности. Но виденная мною жалкая, чего-то молящая фигура, трусливо-пакостная, впоследствии объяснилась: он тогда умолял жену уехать с ним в Америку, бросить все, предвидя свое неминуемое разоблачение, свою гибель.

Последующие встречи с Азефом ограничивались разговорами, исключительно до дела относящимися. В боевых работах он видел недостаточную последовательность, планомерность. Все силы Б. О., все внимание необходимо было сосредоточить на министрах вн. дел, снимать их одного за другим, не считаясь с характером деятельности занимавшего этот пост, ни с его личными качествами. Бить в этот пункт упорно, настойчиво, раз за разом, доколе не изменится существующее положение, ибо министр вн. дел ответствен за весь строй жизни страны, он поддерживает и охраняет этот строй в России. Об убийствах Азеф говорил как-то слишком упрощенно, как о самой простой, заурядной вещи. Раз кто-то рассказывал при нем о только что происшедшем случае с матросом, стрелявшим в девушку-пропагандистку среди моряков. По счастью, револьвер был игрушечный, серьезного поранения не причинил. Вся опасность заключалась в нелегальности девушки, если бы началось следствие, да могли пострадать хозяева квартиры, куда приходил матрос. Азеф, ни минуты не задумываясь, выпалил: «Убить сейчас же, немедленно матроса». Все присутствовавшие при этом, конечно, опротестовали скорое и жестокое решение Азефа.

Хотелось бы уже кончить с этим га-

деньким существом, и потому я уклоняюсь несколько вперед. В 1905 году, по освобождении из тюрьмы после «дарованных» свобод, кое у кого из сидевших по „делу 17-ти“, арестованных 16—17 марта, шевелилось не вполне еще оформленное подозрение, что в выдаче этой группы участвовали лица, совсем близко стоявшие к центру. В обвинительном акте, врученном всем членам группы, весь материал, все данные для предания суду этих обвиняемых были построены на показаниях одних шпииков и филеров, и фамилии их всех были зафиксированы в конце показаний каждого из них. Но в том же ряде показаний значились два агента (тайных), фамилии которых вовсе не назывались, а между тем их показаниям придавалось особое значение. Сидевшими в Д. П. З. участниками этой группы за время производства следствия было получено с воли уведомление, уже вполне подтвержденное, об одном агенте — Татарове³⁵, прибывшем из Иркутска, политическом ссыльном, работавшем в Иркутске среди с.-р.

Но кто же другой? — настойчиво долбил вопрос каждого из нас. Ни один из сопроцессников не возбуждал самого отдаленного подозрения, ни в ком не могло быть сомнений. Военный суд, куда недели за две до 17 октября было направлено наше дело, нашел нужным за недостаточностью обвинительного материала прекратить дело по отношению большинства арестованных, кроме пяти, у которых при аресте были взяты взрывчатые вещества и, кажется, револьверы. Сами судьи выразились, что они не разбойники, чтобы судить и осуждать только на основании показаний филеров.

Однако обвинительный акт был вручен каждому из причастных к делу Трепова. На другой день по выходе из тюрьмы, в самом конце октября, я столкнулась в столовой с Азефом. Он с большим интересом стал расспрашивать, в каком объеме нам было предъявлено обвинение и почему оставлены трое в тюрьме. — «Вот обвинительный акт», — сказала я ему, протягивая небольшого формата тетрадь. Он с особенной быстротой выхватил у меня акт, но когда через день мне хотелось получить его обратно, Азеф сказал, что обвинительный акт украден был кем-то в столо-

вой, тогда же. Все эти странности после получили иной смысл, когда произошло полное раскрытие его преступной работы; тогда же было совестно копаться в подозрениях.

Однако же вернусь за границу. Залпы 9 января, расстрелы народа, мирно шедшего к «батюшке царю», громом ударили по голове всей эмиграции и всей русской учащейся молодежи за границей. Без преувеличения можно утверждать, что «Кровавое воскресенье» пронеслось призывным набатным зовом для всех организаций за рубежом. Всем чудилось, что Россия поднимается на ноги с преклоненных колен, что ее нужно поддержать вооруженной силой. Волной потекли на родину одни за другими, шумно и бодро торопились другие укладывать свои скудные пожитки, а тем часом, вслед за 9-м января, начались забастовки, разлившиеся быстро и охватившие всю Россию, разом перекинувшись в Сибирь и Польшу.

11—12 января с паспортом, врученным мне вместе с маршрутом и многими поручениями к Б. О., возвращалась я на родину.

IV

СНОВА В РОССИИ

14-го рано утром наш поезд подошел к Венскому вокзалу в Варшаве. Когда он остановился у платформы, перед глазами пассажиров открылось странное и ошеломляющее зрелище: дебаркадер почти сплошь, все проходы, багажное отделение были заняты вооруженными солдатами, ни души публики, ни одного носильщика, никакого начальства — нигде. Выгрузивши свои вещи, мы растерянно искали кого-нибудь, кто снес бы вещи до извозчика или хотя бы в багажное отделение. Торопливо бегавшие мимо нас мелкие чиновники, чем-то перепуганные, решительно отмахивались от наших вопросов и приставаний, указывая рукой на другой путь: там начальство, там могут содействовать. Бросаем без присмотра вещи и направляемся туда, но солдаты берут ружья наперевес и преграждают нам путь. Трогательные речи, просьбы и, наконец, женские истерики смягчают суровость солдат и они позволяют идти к начальнику. Было видно издали,

как чрезмерно трудно подступиться к нему. Окруженный крепкими стенами блестящих офицеров, он, как муха в тенетах, бросался во все стороны, намереваясь прорвать кольцо, его замкнувшее. Все кричали, чего-то требовали, лезли друг на друга с выпученными глазами, красные, потные, точно желали проглотить друг друга или по меньшей мере перервать горло кому-то, может быть, даже нам, так как объекта их свирепой злобы тут не находилось. Пассажирам оставалось самим своими средствами выходить из создавшегося тягостного положения. Часа через два, когда приехавшая публика мало-помалу отхлынула и вокзал опустел даже от солдат, ко мне, крадучись, подошел откуда-то вынырнувший очень бедно одетый мастеровой, обстоятельно и толково объяснивший, что в Варшаве идет грев — стачка, да такая, что среди улицы сбрасывают с извозчиков вместе с багажом, если такой дурак найдется, повезет кого. Он дал слово отнести вещи на другой вокзал, когда станет окончательно пусто здесь. Около часа дня он действительно пришел, и мы двинулись по безлюдным улицам. На Маршалковской в больших магазинах были разбиты вдребезги зеркальные стекла, и эти зияющие дыры и засыпанные осколками стекол тротуары ясно говорили о совсем недавней схватке старого с надвигавшимся молодым, новым, грозным и неведомым для сего времени. Свернув с Маршалковской в маленькую, узенькую улицу, мы заметили впереди нас группы рабочих, необыкновенно быстро пересекавших улицу и прятавшихся за углом от нагонявших их выстрелов. Дзинь, дзинь, дзинь — трещит то тут, то там, потом выскакивает взвод обезумевших солдат, бросающихся за рабочими. Около улицы Злато навстречу двигался экипаж с жандармами по обеим сторонам, а все замыкалось конными жандармами с шашками наголо. Внутри экипажа виднелась сильно бледная голова с беспорядочно всклокоченными черными волосами. «Матка Боска, Матка Боска», — крестясь и шепча молитву, проходит старуха, напуганная этой дикой кавалькадой.

Ждать поезда приходилось долго. Решаюсь отыскать свою старую, давнишнюю знакомую, — когда-то вместе

шли по Сибири. Она давно вернулась с поселения и жила с семьей в Варшаве.

Всюду накрепко заперты ворота, никого из незнакомых не пускают с улицы во двор.

На мой стук в калитку показалось суровое лицо дворника, заматавшего было отрицательно головой и уже намеревавшегося перед носом захлопнуть форточку, но не по-русски заданный вопрос заставил его открыть калитку. Он сам проводил меня до двери квартиры знакомых и все время недоверчиво осматривал мою наружность.

Повсюду разлилась забастовка. И вот тут, в доме знакомых, настроение приподнятое, несколько тревожное, разговор, само собою, сосредоточивается на движении. Через полчаса вбегает с улицы шумная ватага детей с раскрасневшимися щечками, с ярко поблескивающими глазками; возбужденные, они с завидным порывом радости, спеша и перебивая друг дружку, передают матери, как сняли одну, другую, потом еще одну школу, теперь идут снимать самую упорную. И они улетели, как мотыльки, весело, радостно, вслух обдумывая свой стратегический план подхода к упорным.

На эту же квартиру пришел один П. П. С., муж сестры Ф. К., с просьбой передать в Москве членам партии настойчивое желание получить оттуда незамедлительный ответ, может ли партия П. П. С. рассчитывать на поддержку со стороны П. С.-Р., последует ли еще раз общее согласованное действие, или же на это сейчас рассчитывать невозможно и им следует немедленно приступить к ликвидации своего забастовочного движения? Забастовка у них шла прекрасно, чрезвычайно дружно, подъем охватил всех рабочих, всю промышленность и все горные округа.

— Если со стороны русской революционной партии, со стороны рабочих последует первое выступление и косвенная поддержка нашему забастовочному движению, то мы постараемся задержать наш подъем на той высоте, на какую он поднялся сейчас, на самом высшем гребне волны, в противном случае нам необходимо, не истощая понапрасну сил, прекратить немедленно забастовку. Удержать или прекратить мы сможем в любой момент!

Требовался ответ точный и ясный. Они предлагали и настаивали на приезде двух партийных представителей для выяснения общего положения, выработки сообща согласованных действий в дальнейшем.

Таким образом, мой путь обозначился в Москву, да и зарубежники поручали скорей повидать Савинкова и передать ему настойчивое желание и просьбу стягивать все силы и средства на случай дальнейшей борьбы, начатой массовым выступлением 9 января. Не только заграничники, но и в Варшаве, и в самом Петербурге некоторые группы рассчитывали, что подъем рабочих не остановится на этом — возбуждение было заметно общее.

Савинков, занятый своим делом*, московским, выслушав все поручения, указы и просьбы, затруднялся их исполнением и находил наилучшим отвезти их питерцам («Павлу» (Швейцеру), работавшему там с вновь организованной группой террористов), как наиболее знакомым с польскими делами и располагавшим свободными силами.

Выраженное лично Савинкову неудовольствие на его малую активность, малое внимание к уже совершившемуся тогда событию было принято им с должным вниманием, но он жаловался на трудность своего положения, на скудость, недостаточность средств и материалов.

Он сам отлично понимал мизерность оказанной помощи на многочисленные обращения, но события развернулись так быстро, так неожиданно, что технические партийные организации не в состоянии были удовлетворить все эти требования, опять же в силу внезапности движения. Он жаловался на утомление, усталость. Выглядел он сильно изнеможенным, вымотанным. Работа в Москве с Сергеем шла не шибко удачно, и даже со слов его можно было заключить, что навряд ли она кончится быстро и успешно.

Хотя «поэт», И. П. Каляев, был в это время в Москве, но нам с ним не удалось свидеться. Как когда-то в деле Плеве, он здесь наблюдал выезды Сергея, как когда-то на Фонтанке, он и теперь простаивал часами в холод-

ные морозные вечера, бледный, задумчивый, настойчиво поджидая приезда наместника Москвы.

Не больше двух-трех дней назад, по рассказам Савинкова, проехал через Москву Гапон³⁶, отправленный им за границу, а в данное время им отправляется туда же другой участник народного шествия к царю, бок о бок стоявший с Гапоном за все время работы и народного выступления, П. М. Рутенберг³⁷. Торопливое утеkanie этих крупных деятелей за пределы казалось несколько... странноватым, ведь движение, начатое ими, вызвало движение из-за границы сюда, нарастание работников, умножение сил, но объяснялся отъезд тем, что им желательнее было, особенно Гапону, ознакомиться и примкнуть к с.-р., обмозговать и построить совместные новые пути подхода к широким трудовым массам, дать новые зажигающие лозунги, вместо убитой окончательно и бесповоротно легенды и веры в царя.

Рутенберг был уже не в первой по-ре молодости. Он казался серьезным и вдумчивым человеком. Он ярко передавал происшедшее и ознакомил со всеми бывшими перипетиями «Кровавого воскресенья», с подробностями расстрелов. Идея шествия ко дворцу появилась внезапно и овладела всеми массами. От мирной петиции надеялись быстро перейти к революционной борьбе.

По приезде в Петербург прежде всего необходимо было повидаться с «Павлом», руководителем группы работников Б. О. Раньше ни разу мне не приходилось встречаться с этим суровым и крайне сдержанным революционером, о котором приходилось много и часто слышать от других. Имя его вызывало у говорившего какое-то выражение восторга и гордости, какое создается в семье к красивому ребенку или большого мужества брату.

Павел занимал видное место среди организации. На квартире нашей в Питере (на Жуковской ул.) очень часто и подолгу велись беседы о нем. Его имя всегда сопровождалось каким-нибудь лестным отзывом, упоминанием характерного случая из его работы, рисующим эту молодую, очень смелую, ни перед чем не пасующую, спокойную фигуру. Он в ту пору был совсем молод, красив и не по летам

* Подготовлялось убийство вел. кн. Сергея.

солиден. Природа расщедрилась, наделив Павла и удивительным бесстрашием, никогда ему не изменявшим при самых опасных положениях, выдержанностью и характером точного, аккуратного работника. Эти редкие качества внушали к нему чувство почтительного удивления и нежной бережливости. При приготовлении снарядов для нападения на Плева он должен был поселиться в нашей квартире на Жуковской, но почему-то предпочел всю работу выполнить в номерах гостиницы, при обстановке крайне рискованной. Накануне выхода он явился в Питер весь опаленный, с обожженными руками, как рассказывал тогда, сильно волнуясь и восторгаясь, Егор Сазонов. У Павла при сушке гремучей ртути несколько раз происходили взрывы, причинявшие ему ожоги лица и рук, а однажды чуть не кончилось совсем скверно: только быстрая сообразительность спасла его от неминуемой смерти. — «Вот какой у нас Павел бесстрашный», — говорил Егор, горделиво поблескивая глазами.

Встреча с Павлом произошла в кофейне. Красивая, английского типа наружность, чистое безусое лицо, ясные, синие, детской чистоты глаза молодили его лицо, а разлитая интеллигентность во всех чертах его наружности резко выделяла везде. Но в его движениях, словах, в манере передавать свою мысль, в обсуждении исполнения работы сразу чувствовался человек большой деловитости и характера. Твердая походка, твердое пожатие руки, спокойная, неторопливая речь, без многословия, глубокая обдуманность в мыслях старили его на много лет. Порывистость, так свойственная всему молодому, у него сдерживалась внешней холодностью и даже сухостью. Из немногих слов становилось ясным, что слабость, слюнтяйство он выносил с трудом. К новичкам-работникам отношения его были полны бережности и внимания, но пощады от него было трудно ждать. Как-то раз Павел довольно сурово порицал закисавших, безвольных, самих себя не познавших, причем заметил о Т. А. Леонтьевой³⁸: «Вот удивительно хорошая девушка, даже редкое существо среди сейчас жаждущих работы. Не так давно я, изолировав ее от всех и всего, от общения с людьми, предложил ждать без указания срока, точно

не определяя этот искуc затворничества. Ни одно существо, даже мужчины спокойного темперамента, не выдерживают двух-трех недель без напоминания о себе, без жалоб на свое, разумеется, тяжелое, тоскливое положение. Леонтьева полгода так жила, ни разу не прося амнистии, не бунтуя против заточения, стоически выдержала свой искуc. Она, по-видимому, из тех кремневых натур, которые легче ломаются, чем гнутся».

По словам же других, сам Павел несравненно более суровую изоляцию выносил безропотно, без протеста, сидя, как сурок, за своей опасной и ответственной работой, требовавшей великого внимания и огромного напряжения нервов.

В двух-трех свиданиях с Леопольдом — так звали теперь Павла — переговорено было о самом существенном, переданы желания варшавян (кажется, в этом направлении ничего сделано не было!), причем выяснилось, что Леопольд слишком был занят расширением техники и подготовкой к новым ударам на правительственных лиц, в ряду которых в первую очередь стояли в. кн. Владимир³⁹, Трепов, Дурново и Булыгин⁴⁰. Оставалось выполнить еще одно, и последнее, поручение — Михаила Рафаиловича Гоца, который при прощании настойчиво советовал и горячо просил по приезду на родину побывать в Одессе, повидаться с вновь прибывшими из Сибири и ожидавшими указаний от ЦК, куда и к чему им приложить свои силы, свести этих опытных работников с организационными руководителями. С своей стороны и Леопольд поручал разыскать в Киеве Дору Бриллиант и сообщить ей его настойчивое желание ее приезда в Питер для какой-то спешной технической работы, ею за границей изученной. Случайно встретив ее через час по приезде в Киев на улице, я передала ей желание Леопольда. Мы вместе направились на вокзал. Она хотела побыть со мной до отхода поезда в Одессу, а днем позже сама направилась в Петербург.

Мы долго не видались, и у нее кислоты душевной значительно прибавилось за этот срок. Она, по возвращении из-за границы, жила, сколько помнится, довольно долго без определенной работы, к которой тянулась

всеми своими помыслами*. Откровенно и с горечью высказывала она свое возмущение праздным положением, тяготившим ее до боли; бездельное утомление требовало настойчиво выхода из создавшегося никчемного нелегального ее существования. Активная, действенная природа ее искала выхода из создавшегося принудительного заточения, и она строила рискованные планы самостоятельной работы, лишь бы не оставаться праздной в одиночестве. Категорически отклонять вполне понятное ее желание было на этот раз как-то больно, приходилось отвечать довольно-таки уклончиво и утешать ее тем, что Леопольд (Павел) зовет ее теперь на совсем определенную и ответственную работу, которая поглотит целиком ее всю, и безраздельно. И все же, садясь в вагон, я видела эти большие печальные глаза на матово-бледном лице тоскливо смотрящими вдаль, и вся маленькая хрупкая фигурка одиноко сжалась в суетящейся толпе.

Возвращаясь из Одессы в Петербург и рассчитывая там осесть на продолжительный срок, хотелось иметь свое постоянное жилище, избавляющее от вечной заботы, тягостной зависимости от тысячи непредвиденных обстоятельств, от искания ночевки, отдыха после дневного утомления. Измучившись за день большими переходами, несколькими свиданиями в противоположных концах города, вечером, как бездомный бродяга, с тревожной болью обдумываешь, куда идти и где безбоязненно примут и пригреют всю уставшую, обессиленную? И совсем не редко, запоздавши из-за дальности, рискуешь остаться на улице в студеную зимнюю ночь. Многим доводилось переживать такое положение.

Конечно, для нелегального кочевой образ существования был наиболее безопасен, да, к сожалению, он чересчур выматывает, нервирует: всегда на людях, среди незнакомых, к тому же порой боязливых. Одна бежавшая из тюрьмы с.-д. рассказывала мне бывший с ней случай: «Прихожу в зна-

* Д. Бриллиант снаряжала бомбы для И. П. Каляева и др., а в Киеве была уже после 4 февраля 1905 г. (убийства в. кн. Сергея). Поэтому она не могла жаловаться на бездельное существование, а, вероятно, как и раньше, сетовала, что ее не берут в металлщины. Она жаждала, спасая других, погибнуть первой.

комую семью. Вечерело, дома одна барыня. Она знала, что я нелегальная; я объясняю безвыходность моего положения, выражая категорическое намерение у них ночевать. Барыня заявляет столь же решительно свое желание, чтобы я ушла. Как вы полагаете, что я сделала? С твердым видом сажусь на кушетку и объявляю, что идти мне некуда и я ночь проведу у них. С хозяйкой начинается истерика, но и это меня мало убеждает: из-за дуры угодить опять в тюрьму! И до утра я остаюсь у нее!»

19 февраля с Николаевского вокзала извозчик завез меня в прескверные номера на Малой Садовой, а с двадцатого, со дня прописки, как потом из обвинительного акта можно было понять, завертелось колесо, заработала охранка, началась слежка хотя и «тщательная», но вместе с тем поверхностная. Предательство последовало, очевидно, двустороннее — Татарова и Азефа. Татаров, сейчас же по возвращении из Иркутска осведомленный своим приятелем (Г. М. Фриденсоном)⁴¹ о всех и обо всем, торопился использовать доверенные ему ценные сведения. Данный еще за границей мне паспорт, рекомендованный Азефом как чистый, на самом деле имел весьма испорченную репутацию: он принадлежал умершей женщине, дочь которой сидела уже тогда в Петропавловской крепости по с.-д. делу. Очевидно, вид матери при обыске был взят у дочери жандармами и оттуда перешел к Азефу. Достаточно было прописать его, и обнаружение лица, пользовавшегося им, совершалось просто, без всякого труда. До поездки в Одессу, вернее, до прописки, ни свидания с Леопольдом, ни встречи с нашими извозчиками, ни ночевочные квартиры, ничто не было обнаружено.

В номерном коридоре, по прописке на М. Садовой, под видом хозяина комнат неотлучно сидела «вполне независимая» подозрительная особа лакейского вида. Приписывая ее присутствию дурному тону номеров, я решила перебраться в более скромное и спокойное место. Это было на второй или третий день после взрыва в гостинице «Бристоль»⁴², когда я переместилась в Столярный переулок. Приблизительно за пять-шесть дней до переезда, на свидании с Н. С. Тютчевым, рассказав ему подробно номер-

ную свою обстановку, я получила настойчивый совет немедленно покинуть эти номера. «Поселяйтесь в номерах в Столярном переулке, там свой управляющий, он предупредит заранее, если бы вздумали арестовать», — посоветовал Тютчев. В это время приехала из провинции Ф. Л. Кац, согласившаяся взять на себя обязанности квартирной хозяйки для редких, исключительных свиданий с членами Боевой организации и приезжающими. На встречи убивалась масса времени, а хорошей квартиры, безопасной вполне, в нашем распоряжении не было. Приехавшей Кац рекомендовали остановиться в тех же Столярных номерах, а через немного дней обнаружился там же и мой хороший знакомый — сибиряк, человек, правда, вполне легальный, не принадлежавший ни к какой из существующих партий, но сочувствовавший с.-р. Мы трое, стелкиваясь в номерах иногда на лестнице или около уборной, никогда не обнаруживали ничем своего знакомства, жили в приятном самообмане насчет своего вполне прочного, незаподозренного положения, хотя вскоре стали появляться кое-какие неуловимые и неосознаваемые признаки, как тончайшие паучи ткани... что-то липкое, смрадное. Отнестись внимательно ко всему неясному в окружающей обстановке не хватало досуга и достаточного спокойствия, да и жили мы там всего около двух недель, в конце которых все было разбито вдребезги. Но ненадолго вернусь еще назад.

Успешно оконченное дело Плеве вызвало общий подъем, сразу принесший много новых работников, вошедших и желавших вступить в Боевую организацию. Эти мало известные искренние люди, девушки и юноши, в огромном строительстве будущего желали быть в лучшем случае простыми каменотесами для возведения свободного и нового царства, царства любви и братства. Они стремились по силе своих способностей ускорить выход на вольный, правдой и любовью обвеянный свет, сдвинуть общими дружными усилиями все давящую тяжелую каменную глыбу, так долго и беспощадно приглушавшую все яркое в стране. Правительство, как желтая лихорадка или чума, опустошало сотни лет нашу скорчившуюся страну. При виде этого чудовищного людоед-

ства, глумления над совестью, чье сердце не дрожало мстительной злобой на эту шайку убийц, законом и глупостью человеческой укрепленных?

Казалось, еще небольшое усилие, еще удар, сильный, громовой, и народ проснется и выпрямится, как растение в лучах солнца.

Вместе с вновь вошедшими в Боевую организацию оставались кое-кто из старых уцелевших работников, из них Петруха, «извозчик», как звали его ласково товарищи (Агапов), продолжал самозабвенно тянуть лямку извозчика. Он был еще молод, силен физически, смел и упрямо настойчив в принятой на себя обязанности. Не раз он замечал о ком-нибудь из своих соратников по одному делу: «Торопится окончанием, ждет не дождется конца, невеста ждет, сказывает. А на мой взгляд — какая у нас может быть невеста? Пустое он задумал».

Коренастый, плотно сбитый, со смекалистым лицом крестьянина, добрыми голубыми глазами, с очень привязчивой душевной складкой, прямой и бесхитростный, Петруха не переносил смывковства, перебежек с одного поля на другое. Он как-то особенно болезненно переживал потерю старых друзей-братьев, спянных верой и единой опасностью. Жил он, подобно всем нелегальным извозчикам того времени, тревожно, часто просил выйти на свидание в какое-нибудь указанное им место. Завидя издали идущего к нему товарища, если кругом было безлюдье, Петруха оживлялся весь, широчайшая улыбка расплывалась по его доброму, милому лицу. В ряду других извозчиков он серьезничал, долго торговался. Потом мы ехали далеко куда-нибудь на окраину города, в пустынное место, он оборачивался ко мне и делился своими переживаниями, всеми сомнениями своими, наблюдениями, успехами, конфликтами с полицейскими, указанием чересчур «шпиковских» районов. «Вот тут, — говорил он, — как будто черт их тащил в решете, да и рассыпал в изобилии».

Петр работал дольше других, но никогда не жаловался на действительно пакостную, прямо собачью жизнь, полную скверноты. Непостижимой тайной кажется, как могут жить люди в подобных смердящих извозничьих квартирах много лет. Квартиры

грязные, тесные, отложившие за много десятков лет на полу и стенах всю нечисть, вносимую ногами, одеждой и потными телами. Жилища эти неопикуемы, их надо видеть, чтобы понять частые и справедливые жалобы извозчиков на свое скотское, воистину каторжное положение. Спя на голом полу вповалку, нераздетые, они вынуждены порой тут же просушивать мокрые принадлежности своего туалета. Ночные, находя дневных еще спящими, одолеваемые сном, усталостью, валяются без разбору на спящих, сгружая их, как поленья дров, толкая, давя. «Возвращаешься с одной думкой, одним желанием — застать дома положее место для спанья».

Дневной поднимается, ночной торопится во всей своей сбруе втиснуться в освобожденную трещину. «Господь знает, как мы отдюживаем эдакую каторгу», — говорил один из обитателей подобной квартиры. Быть может, теперь жилища эти несколько изменились, но в наше время, по словам извозчиков, хозяйские помещения были все на одно лицо, все одного типа, качественно не различались. Для полноты этой «проклятушей жизни» надо прибавить еще неумолкаемый гомон, суетливость, ругань раздраженных теснотой, ночные вставанья, чтобы задать корм лошадям, и другие прелести бытия.

Совершенно в таких же условиях жили и наши извозчики, с прибавлением тревоги выдать себя невзначай высказанным мнением или поступком, не свойственным этой среде. У Петра под конец стало заметно, что силы крепкого парня падают. Несколько раз, проездивши с заряженными бомбами в экипаже, при любом толчке могшими взорваться, Петр возвращался неузнаваемым, с осунувшимся лицом, с глубоко запавшими глазами.

Совсем накануне ареста он сказал: «Мы в кольце шпиқов, нас, видимо, выследили, нужно как можно скорее кончать, или же я один со всем этим управлюсь». Арестованный 16 марта, он сидел в Петропавловской крепости и там сошел с ума, и в больнице св. Николая потухла эта молодая, хорошая, на редкость чистая жизнь*.

* Настоящая фамилия «Агапова» — Дулебов⁴³, убивший уфимского губернатора Н. М. Богдановича 13 марта 1903 г. Умер в 1908 г. — *Ред.*

При посредстве Леопольда тогда же произошло мое знакомство с Т. Леонтьевой, по внешности казавшейся очень изящной барышней, чрезвычайно сдержанной в проявлении своих чувств и скупой на разговоры, можно даже сказать — строго молчаливой. Даже ее красивая внешность замечалась не сразу, с первой встречи она не бросалась, не отпечатывалась резко в глазах. Среднего роста, стройная, что молодая белая березочка, яркая блондинка, с большим лбом и чистыми, детскими, незабудочными глазами. Узнавши ее хорошо, мало было сказать, что она хорошая девушка. Это был превосходный человек, полный внутреннего содержания и красоты, глубокая натура с основой правды и внутреннего энтузиазма.

На другой день после ее ареста в газетах писали: «Вчера, при выходе из парикмахерской, арестована молодая, очень красивая женщина». Это писали про Т. Леонтьеву. С нею мы видались часто в саду, на улице, и каждый раз наши встречи определялись неотложной надобностью: то она сообщала нужное для Леопольда сведение или работающие ей поручали собрать необходимые сведения — поручения, ею всегда исполнявшиеся радостно и безукоризненно. Шла тогда подготовительная работа под руководством и при непосредственном участии Леопольда. 1 марта решено было убить Владимира, Трепова, а если удастся — то одновременно и Дурново, и Булыгина. Определенно стало известно о выезде на Первомайскую панихиду этих особ в Петропавловскую крепость. На Троицком мосту, между прочим, становились два метальщика.

▼

ВЗРЫВ

В МЕБЛИРОВАННЫХ КОМНАТАХ «БРИСТОЛЬ»

Незадолго до 1 марта Леопольд пришел на свидание в Летний сад со мной и Тютчевым. Туда же пришла Леонтьева, взявшая от Леопольда к себе на хранение небольшой сверточек. Она скоро ушла. Мы, оставшись вторым, сидели в отдаленном углу сада, безлюдного в этот час. Погода стояла тихая, полная величавой торжествен-

ности, никем не нарушаемой. Медленно падали крупные пушистые хлопья снега, покрывая все вокруг и нас легчайшим тюлевым саваном. В этой безлюдной тишине, однако, чьи-то глаза уже зорко наблюдали за всей нашей компанией*. Решенное на 1 марта выступление казалось нам несколько преждевременным, торопливым, недостаточно обслеженным, но Леопольд считал момент наиболее подходящим, сулившим несомненный успех, другой такой случай вряд ли представится. Его не волновали наши возражения, но и не раздражали ничуть; он оставался твердо спокоен, стоял на неизбежной необходимости использовать выезд в Петропавловскую крепость этих лиц, о чем он был предупрежден раньше из самого достоверного источника. В решительном его тоне, в непререкаемых словах все же чулось едва уловимое колебание, да и говорил он из сознания долга и печальной необходимости не затягивать дело. Наконец он поднялся уходить и еще раз повторил: «Успех несомненен! Это будут лучшие поминки первоапрельцам!» Голос его задрожал, в нем слышалось что-то совсем новое, точно говорил не суровый Леопольд. Отойдя недалеко, он повернул назад к нам и, подойдя, опустился опять на лавочку: «Еще с вами немного побуду». Все примолкли. Промелькнули минуты; Леопольд снова поднялся и пригласил проводить его немного «вон до того поворота». На повороте аллеи к выходным воротам он в последний раз с особенно выразительной нежностью пожал нам руки, направляясь к выходу из сада. Мы долго следили за медленно удалявшимся товарищем. Он твердо шел к своей цели и к своему неизбежному концу. Тяжелое и беспокоеное чувство поднималось, хотелось вернуть Леопольда, еще и еще пересмотреть, передумать жуткий и болезненный вопрос, ведь сегодня ночью он станет заряжать бомбы...

26 февраля мы с Тютчевым поехали к литератору В. А. Мякотину⁴⁴. Мы не успели зайти в комнату, как Мякотин тоже откуда-то вернулся к себе. Он стал передавать свежий, циркулировавший по городу слух про взрыв в каких-то номерах и разорван-

* По филерским наблюдениям за П. С. Ивановской и Н. С. Тютчевым видно, что это свидание не было ими прослежено.— *Ред.*

ном при этом в мельчайшие куски человеку. Слух быстро разошелся, весь Петербург, оторвавшись от своих маленьких дел, занялся этим происшествием, собирая и перенося во все концы детальные подробности взрыва. Называли уже через час гостиницу «Бристоль» (там жил Леопольд!) и говорили, что в ней потревожены все заезжие гости, три номера разрушены, окна выбиты и т. д.

В большом деле — что на войне. Всякое действие подчиняется выработанному определенному плану, и этот план в точности выполняется взявшими на себя обязанности, даже часто причины для второстепенных работников остаются скрытыми, неясными, одному руководителю известными, а этот руководитель так внезапно, так неожиданно выбыл из строя.

Явилась значительная растерянность, неясность, как же и что же дальше?

Чрезмерного внимания требует большое дело, в котором жизнь и судьба работников поставлена в зависимость от этого внимания, а часто за большим и крупным упускается частность — мелочь, и эти неважные недосмотры ведут порою к крупным последствиям, к катастрофическим провалам, к гибели и дела, и людей. Сделаны были совсем маленькие, самые незначительные упущения. Первое — большая часть работников должна была быть снята со своих постов перед выступлением, второе — совмещение в одном лице и руководительства, и серьезного технического исполнителя — опасно.

Но все эти соображения явились после, когда ошибки эти были уже позади. Впоследствии успокаивающим совесть и оправдывающим промахи обстоятельством явилась уверенность, что все же надо считать главной причиной дальнейшего нашего провала (16 марта) — появление в Петербурге Татарова, так неведомо для всей организации узнавшего работу ближайшей очереди и мой адрес*.

В последние предарестные дни темной, подавляющей тучей над нами опустилась какая-то сила, обволаки-

* Татарову не было известно о готовившемся покушении на вел. кн. Владимира. Он догадался лишь о покушении на Трепова. Руководство Б. О. после смерти М. И. Швейцера перешло к Моисеенко⁴⁵.— *Ред.*

вающая паутина, и невидимый, смутно ощущаемый туман замыкал нас вокруг, а из всего этого выдвигались порой скользкие, неясные типы, про которых покойный Щедрин говорил: «Скажи, скажи, гадина, сколько тебе дадено». Образовалось тягостное окружение, вырваться из которого не представлялось возможности. Бросить все и всем кинуться врассыпную — мы не могли и не имели права.

Накануне ареста Петр, с которым мы в привычном месте встретились, заметил, указывая на тротуар: «Садитесь скорее, едем за город! Видите — здесь сколько шпиков набралось».

Он был сильно встревожен этим обстоятельством, предчувствуя недоброе. Он отверг предложение переместить место встреч, свиданий, этим мы нарушали дисциплину, подвергали возможности провала каждый день могшего приехать Савинкова или другого кого-либо из заграничников.

В составе Боевой организации того времени были старые участники террористической работы, вернувшиеся из-за границы, и много новых: Леонтьева, Басов, Шиллеров, Трофимов, Подвицкий, Марков, Загородный, Барыков и др. За Владимиром, Треповым, Дурново, Муравьевым⁴⁶ велись наблюдения с января. Вскоре Муравьев вышел в отставку, и с ним работа кончилась.

Между тем каким-то самым неожиданным путем появился в Питере приехавший из Иркутска Н. Ю. Татаров. Это был испытанный работник в центральной иркутской организации с.р. Н. Тютчев как-то в марте* сообщил мне о приезде Татарова и желании его повидаться со мною.

— А для какой это надобности ему нужно? Не вижу никакой необходимости с ним встречаться, ведь он, надеюсь, к Боевой организации никакого отношения не имеет, — заметила я.

Татаров в Сибири не пользовался общими симпатиями: И. Ф. Волошенко⁴⁷, раза два встречавший его у Фриденсона в Иркутске, довольно отрицательно относился к нему. Конечно, мы в Сибири заочно все друг друга знали, а меня Татаров, кроме того, лично видел дважды в нелегальный

приезд мой из Читы в Иркутск и отлично запомнил мою фамилию. Когда меня арестовали, то на следующий день в газетах была пропечатана полностью моя фамилия, хотя арестована я была с чужим документом. Кто мог сообщить? — спрашивала я себя. Из работавших вместе со мною молодых никто не знал моего прошлого, моей фамилии.

11 января произошел арест Б. Маркова, нашего нового члена в Сестро-реке, повлекший за собою арест С. А. Басова, а с 25 на 26 февраля, ночью, произошел взрыв при зарядке снарядов для выступления против великого князя Владимира и других лиц. Удар этот для Боевой организации был страшный и непоправимый... Боевая организация осталась без кормчего, терялось единство действия, столькими жертвами приобретенное, терялась сплоченность.

Но надо было ждать: каждый день ожидали возвращения уехавших за границу Савинкова, Азефа. Первый поехал туда всего на одну неделю, а взрыв в «Бристоле» и смерть Леопольда, казалось, должны были ускорить возвращение кого-нибудь из них...

Естественно и просто все сношения с наблюдателями перешли главному образом к старым работникам.

Вопрос о ликвидации, помнится, поднимался всеми, но большинство высказалось в том смысле, что сами мы его решить не можем, не имеем права снять с мест наблюдателей, так как, без сомнения, Савинков поспешит своим возвращением. К тому же многие настаивали на быстром окончании дел с выслезенными уже Дурново, Треповым и Булыгиным. Особенно горячо настаивал на этом Шиллеров. Было действительно жаль бросать доведенную до конца работу, а главное, не было полномочий на ликвидацию.

Самую, пожалуй, большую дезорганизацию внесло то, что начал прибавлять из разных мест народ, предлагавший свои силы на активную борьбу. Приходилось иметь со всеми свидания, объясняться, давать советы. Откуда-то приехала целая группа (кажется, из Киева), следившая за Клейгельсом⁴⁸. Один из них прямо требовал принять на работу каких-то мужчину и женщину. «Если не примете, то им хоть в петлю», — заявил он.

* Татаров приехал в Петербург в начале марта 1905 г. — *Ред.*

— А кто же их приглашал сюда? Откуда пришли — туда пусть уходят! — довольно резко заметил Петруха.

Сохранение всей организации стало трудной задачей.

Татаров через Фриденсона знал мой адрес в Столярном переулке, с тем же Фриденсоном он приходил на свидание к Новомейскому — сибиряку, не принадлежавшему к партии, о котором я уже упоминала. С ним Фриденсон вел конспиративного характера разговоры в присутствии Татарова о доставке динамита партии.

Новомейский, будучи инженером, мог довольно свободно получать динамит для золотых приисков. И это обстоятельство, участие в переговорах Татарова, обнаружилось по выходе нашем из тюрьмы.

С 15 на 16 марта вечером, может быть, за полночь, к жившей в одном этаже со мной акушерке Ф. Л. Кац, намеревавшейся занять место хозяйки квартиры для свиданий, явилась незнакомая дама, торопливо передавшая ей, что по телефону получено Тютчевым предупреждение о «повальном заражении Столярных номеров». Когда приходившая вестница возвращалась от Ф. Л. Кац, сыщики хотели ее задержать и препроводить в охранку,

но барыня была «в положении», и ей удалось убедить шпииков, что она убежала к первой попавшейся акушерке, почувствовав себя очень дурно. Шпиики удовлетворились одним тщательным обыском и отпустили ее. Предупреждение это мне стало известно только на другой день, 16 марта. Оно для Боевой организации по запоздалости не имело никакого значения. Всюду уже появились и шныряли юркие типы и доносился запах охраны. Впрочем, при некотором даже шансе, я вряд ли бы могла тогда уйти, хотя слабую попытку сделала через силу (я была больна). Подойдя к черному ходу, которым иногда проходила во двор, я столкнулась с личностью в свитке, никогда раньше мною не замеченной, с развязными ухватками, внушительной наружности. Тип преградил мне дорогу и предупредительно заявил: «Тут нет выхода и к тому же-с темно». Других возможностей я не пыталась искать. Надвинулась такая слабость, полное равнодушие ко всему, какое бывает от чрезмерной усталости или серьезного заболевания. Целый день 16-го просто встать не было ни малейшей охоты.

Горничная неотлучно сидела в моей комнате, объясняя свое усердие нежностью своего сердца к больным...

А. ЕМЕЛЬЯНОВ

РОСТОВСКАЯ КОММУНА 1905 ГОДА

ПЕРЕД БОЯМИ

— Если свобода, так отпустите арестованных!

— Освободите товарищей!

— Открывайте ворота! Где же начальник тюрьмы?

— Отречемся от старого ми-и-ра...

Говорили речи, красным цветом горели знамена, штандарты, плакаты. Махали платками, руками, кричали «ура». Тысячи людей запрудили площадь. А сверху, из-за тюремных окон, жадно припав к железным прутьям, смотрели возбужденные радостной надеждой дорогие лица близких — друзей и родных. Казалось, весь город пришел к тюрьме.

— Манифест, а не выпускают!

Победа, победа народа!

Говорили о вчерашнем дне — о семнадцатом октября, о завоеванных свободах, о новых надеждах. Сменялись ораторы, темы речей.

И вдруг:

— Казаки!

Сразу никто не поверил. Ураганом налетела сотня. Врезалась в самую гущу мирной толпы. Свистали нагайки, засверкали сабли, крики, плач и безумие...

— Девушку убили насмерть. Сестру Сени Рейзмана. Она знамя держала, красный флаг.

Убили еще и других, ранили многих.

* * *

Разгон демонстрации превратился в еврейский погром. В течение двух с половиной суток город находился во

власти громил и убийц. Пьяные казаки и «босяки» с Дона, под руководством полиции и охраны, грабили магазины, врываются в дома, расхищали имущество. Здесь же, на улицах, совершался торг. Состоятельные мяснаны, чиновники и купцы дешево, «по случаю» покупали ковры, мебель, драгоценные вещи...

Убивали в квартирах, насиловали женщин, охотились за одинокими жертвами на улицах.

Так погиб друг моей юности, студент-политехник Наум Огуз. Блестящий, образованный, девятнадцати лет, он был членом Комитета партии Полей-Цион¹.

Безумцы его растерзали живым.

Убили брата Мортимера, тринадцатилетнего мальчика Рысса.

И много других.

Наспех организованная еврейская самооборона в несколько десятков человек была истреблена казаками.

Черными пустотами зияли роскошные магазины красавицы Садовой. Запах гари оставался долго. Город стал мертвым. По ночам слышалась стрельба. Происходили грабежи. Жители с наступлением сумерек сидели в домах, за запорами. На улицах безобразничали хулиганы, а жандармерия и полиция усиленно производили обыски и аресты.

В сердцах поселилась обида и уныние, злоба и страх. Богатые покидали город, уезжали... Куда? Искали спасения.

Рабочие организовывались.

На табачной фабрике Асмолова работники забастовали. Они предъявили экономические требования. Движением руководил Совет Рабочих Депутатов, организовавшийся несколько раньше, перед первой всеобщей забастовкой. Стачку выиграли, но во время борьбы полиция и казаки избивали рабочих. Совет Депутатов объявил всеобщую двухдневную забастовку-протест. Она прошла блестяще. Два дня ростовский пролетариат демонстрировал свою мощь. Самодержавие получило первое предостережение: авторитет Совета Рабочих Депутатов несказанно вырос. Этот авторитет стал действенным. На заводах и фабриках, в мастерских, в порту, в предприятиях городского самоуправления организо-

вывались комитеты. Всюду организовались союзы рабочих — железнодорожников, металлостов, пекарей, деревообделочников, печатников. Объединились прачки, дворники, банщики, домашняя прислуга. Объединились все. Совет Рабочих Депутатов работал под руководством Донского Комитета РСДРП, в большинстве состоявшего из рабочих. Организация эсеров была слаба и никакого влияния на ход событий не имела.

Организованные массы нуждались в воспитании, и руководители повели широкую агитацию на открытых собраниях. Они устраивались по преимуществу в рабочих районах, в предместьях Ростова — на Темернике, в столовой Владикавказской железной дороги и на «Нахаловке» (новое поселение), в театре. Позже, в начале декабря, когда движение стало шириться, для митингов были открыты двери всех городских театров. Были выброшены лозунги: «Вместо самодержавия — демократическая республика», «Средством должно служить Учредительное собрание, а чтобы его добиться, надо готовиться к всеобщей политической стачке», «Она неизбежна и может начаться скоро. Когда — неизвестно, но к ней надо быть готовыми». Лозунг — вооружение масс как средство к борьбе с самодержавием — выдвинут не был. Идея вооружения родилась стихийно, в разных местах, как средство самообороны. Против погромов, арестов, избиений толпы. У евреев, рабочих, интеллигенции, студентов. Комитет лишь сказал: «В борьбе — правительство разгоняет митинги, растрепывает народ, — вооружайтесь для самозащиты». Комитет организовал сборы пожертвований на оружие, закупал револьверы, создавал боевые дружины, организовывал производство бомб.

Буржуазия и интеллигенция охотно шли на небольшие жертвы — давали деньги на оружие, представляли квартиры под конспиративные собрания, разрешали дежурить дружинникам. Самооборона или дружина состояла из десятков. Всех их к началу событий на Темернике было тридцать — тридцать пять, не больше. Десятки группировались или по партийному, или по национальному признаку. В десятке могло быть и меньше десяти человек. Чаше бывало больше.

* * *

Затрещал телефон. Тревога. Говорит Касьян:

— Немедленно к Асмоловскому театру нужно подкрепление. Полиция закрывает митинг.— Через десять минут десяток был на месте. Митинг кончился. Народ мирно расходился. Казаки вели себя подозрительно.

В белой папахе, в отличие от прочих дружинников, начальник десятка расставлял патрули. Говорили шепотом.

— При первых выстрелах в толпу — стреляйте в начальников.

А когда все вышли из театра, казаки бросились к дверям и захлопнули их. Мы были в западне. Ведь в театре оставались только организаторы митинга.

— Сюда, сюда, товарищи, черным ходом, через сад.

У меня все карманы набиты медяками. Это — трудовые гроши рабочих. Митинговый сбор на оружие. Мне трудно бежать, а впереди — высокий забор. Дружеские руки подхватили, моментально перемахнули через забор. Мы на Пушкинской. На свободе. Тишина...

* * *

В железнодорожной столовой битком народу — тысяч пять. Читают московские новости, полученные Комитетом. Сменяются ораторы. Рабочий, студент, профессиональный партийный агитатор, кадет, безногий солдат, монах или диакон в подряснике, — не всех одинаково слушают. Кадета прерывают свистками и криками: «Довольно, долой!» Безногому солдату аплодируют, а благословение монаха и призыв к борьбе вызывают восторг.

— Пропустите казаков!

Публика шарахнулась в сторону.

А когда на эстраду вышли шесть чубатых донских казаков, раздалась несмолкаемые крики «ура».

— Мы депутаты от сотен, которые стоят в городе...

Крики «ура» перешли в овацию.

— Мы пришли заявить народу, что мы с ним...

Звенели окна, дрожали стены. Казалось, овация — бесконечна. Депутатам пожимали руки, обнимали их, целовали. Казалось, войско переходит на сторону народа.

Это было четвертого декабря, а утром пятого казачьи депутаты были арестованы.

Шестого — царский день, обычный парад у собора. Все шесть сотен казаков, стоявших в городе, отказались выйти на парад.

— Пока депутаты не будут освобождены.

Парад отменили.

* * *

У железнодорожников собрание.

— Товарищи, сегодня, по приказу царя, мстительное правительство судит революционных матросов, поднявших восстание...

Я предлагаю протестовать против очередной подлости царских палачей... Я предлагаю послать резолюцию.

Рейзман говорил страстно. Молодой слесарь был прекрасным оратором... Он увлекал аудиторию.

Председатель упирается:

— Нет, я не могу подписать резолюцию. Какой смысл?

— Как, председатель не хочет подписать?

— Долой его, вон...

— Переизбрать другого.

— Ишь звонит... Ему бы звонарем и быть, а то взялся руководить железнодорожниками...

— Сейчас же произвести перевыборы!

— Рейзмана, Рейзмана...

Восемнадцатилетний юноша блестяще провел собрание и подписал протест. Он стал во главе движения рабочих трех железных дорог.

II

ДВА ЗАСЕДАНИЯ

— Чего они от меня хотят? Что я могу сделать? Они обвиняют меня, что я заставляю делать оружие! Хорошее дело! Вы когда-нибудь слышали, чтобы фабрикант делал для революционеров оружие? Сумасшедшие!

Поговаривали, что на заводе Картожинского делают бомбы. Вряд ли. Холодное оружие делали во Владикавказских железнодорожных мастерских. Да и то больше рукоятки и пружины с набалдашниками. Производство не было организовано. Рабочие делали это сами, на всякий случай.

События между тем нарастали.

Комитет партии получил из Москвы телеграмму:

— Петербургский и Московский Советы Рабочих Депутатов совместно с конференцией представителей двадцати девяти железных дорог объявляют всеобщую забастовку.

Это было седьмого декабря. Сначала не верили. Выдержим ли? Не провокация ли?

Ночью в Нахичевани состоялось секретное заседание представителей Комитета, железнодорожников, профессиональных союзов. Всех организаций.

— Надо поддержать столичных рабочих... Надо.

— Завтра объявить забастовку.

— Железнодорожники? Готовы?

Сеня Рейзман резко бросает: «Готовы».

— Портовые готовы?

— Есть!

— Как Аксай?

Орлов — озлобленно: «Хоть сейчас!»

Кто-то неуверенно говорит: «Как же накануне праздников? Денег у рабочих нет. Зима... Расходы большие...»

Резкий окрик:

— У рабочих нет праздников до победы над самодержавием!

Выступают печатники, металлисты, табачники, электрики, химики, пищевики.

Все, все станут. Всё остановится. Заводы и фабрики, театры, трамваи и бани. Закроются магазины, конторы, школы и прачечные. Закроется все. Кроме водопровода и газа.

Пекарни должны печь только простой хлеб.

Вечером восьмого все стало. Жизнь замерла. Дисциплина сковала всех.

А ночью были аресты. Царские чиновники взяли в плен двенадцать наших вождей. Озлобили лишь массы. Они собирались на митингах, а вожди не все на местах!

— Мы требуем освобождения наших товарищей. Отпустите добром!

Совет Рабочих Депутатов объявил «мертвую забастовку» — потушил свет, закрыл газ, приостановил подачу воды. Пленники были освобождены. Это придало лишь силы народу и веры в себя.

— Пролетарий — монолит. Он все может,— говорили на митингах. И тут же:

— Забастовка должна протекать без эксцессов. Всякая попытка к вооруженному столкновению — есть провокация.

Перед самыми событиями «заболел» градоначальник граф Коцебу Пилар фон Пильхау. Он передал власть начальнику порта — фон дер Вайде. Этот тоже «заболел» в пользу полицеймейстера Прокоповича, а Прокопович передал исполнение обязанностей — тоже вследствие «внезапного заболевания» — воинскому начальнику Макееву.

У банков образовались хвосты — встревоженные жители спешно выбрали свои сбережения и вклады.

Двенадцатого декабря Ростов и Нахичевань были объявлены на положении чрезвычайной охраны, — чтобы, прикрываясь законом, начать наступление против народа.

Совет Рабочих Депутатов обратился к рабочим также с воззванием, призывая к спокойствию, мирной борьбе, продолжению стачки.

Царское объявление было напечатано на гектографе. Над этим смеялись.

Наше — в типографии. Этому — радовались.

В тот же день состоялось другое заседание. В Городской думе. За длинным столом, за зеленым сукном сидели «отцы города» совместно с военными, жандармскими и полицейскими властями. Городской голова предложил обратиться к населению с воззванием и с призывом к благоразумию. Предлагал — стать на работу. Долго спорили гласные, как прекратить забастовку, какого характера должно быть обращение к народу, в каких выражениях.

Полковник Макеев — новый временный генерал-губернатор — покручивал ус.

— А я предлагаю разогнать бунтовщиков шрапнелью. Митинги расстрелять.

Раздались аплодисменты. Буржуазия приветствовала решимость преступника.

— Недаром атаман назначил Макеева.

III ВАКХАНАЛИЯ

Было два часа дня. Митинг кончился. Оживленные кучки народа стояли у входа в столовую, делились впечатлениями. Толпа расходилась. Вдоль нагорных улиц Темерника по краям стекала талая вода, а по грязному мокрому снегу протянулись черные движущиеся ленты людей. Шли по домам. Кто в город, но большинство осталось на Темернике.

Сначала не поняли. Услыхали удар, а затем продолжительный шипящий звук. Стреляли из пушек.

— В церковь попало!

— Нет, в школу.

— И в церковь, и в школу!

— Откуда ж стреляют?

— Не видишь, что ли? С горы, от еврейского кладбища.

— Да чего вы стоите? Тикайте!

Крики ужаса, стоны, слезы и брань — все смешалось.

С красным крестом на груди, распластавшись, лежала сестра милосердия.

Немного поодаль, головой вниз, скрючившись, — рабочий в валенках.

Кто-то стонал и в предсмертной агонии царапал талую землю.

А там еще, и еще...

Залпы следовали один за другим.

— Свыше двадцати снарядов, а меньше часу стреляли.

— Сколько народу побили-и!

— Говорят, около сорока человек!

— Товарищ Анатолий, пристав, говорят, показывал, куда стрелять: платком с крыши махал.

Помощник начальника дружины слесарь Анатолий Сабинин чинил расправу над врагами народа.

— Пристава арестовать! Потом допрошу. Свидетели, не расходитесь!

— Товарищ Анатолий, вот этот рыжий тоже подозрительный.

— Да мы же его знаем, это городской. Ты что... пиджак одел! А?

— Приведите пристава... Как ваша фамилия?

— Слюсарев.

— Вы пристав седьмого участка?

— Я...

— Вас обвиняет народ в том...

— Позвать городского: ты зачем переоделся? Шпионить? Доносить?!

Сабинин лично застрелил пристава и городского. Отомстил за народ.

Одновременно с бомбардировкой Темерника начались военные действия и в городе. Отряды конных казаков открыли стрельбу из винтовок. По столпившимся на углах группам людей, по пешеходам, по экипажам, вдоль улиц, по переулкам. Открывалась наружная дверь дома — человек падал мертвым. Кто подходил к окну, рисковал жизнью. С гиком и свистом пьяные отряды носились по улицам и стреляли, стреляли без конца...

Одиночками, пачками, залпами...

* * *

У Братского переулка, на Садовой, подобрали убитого. Доставили в морг. В форменной фуражке, в черном пальто.

— Установить личность.

— Да ведь это Болдырев — студент.

— Какой он студент? Он только так, в форме ходил. — Обыскали. В кармане среди документов нашли: С. Болдырев — секретный сотрудник охранного отделения.

* * *

У Сельскохозяйственной выставки казаки задержали прохожего...

— Личность? Документ? — Гуревич, студент.

— А...

Услужливый голос шпика: братцы, да ведь это председатель Совета Рабочих Депутатов. Известный под фамилией Иванов. Настоящая фамилия Гурвич и есть.

Умолял:

— Я не Гурвич, Гуревич я...

Убили на месте.

* * *

К вечеру насчитали свыше ста убитых.

— А раненых?

— Говорят, в Николаевской больнице больше не принимают...

Над городом повис кровавый террор. В домах вселился ужас. На следующий день те, кто решился выйти на улицу, мог прочитать обращение Макеева к населению:

— Переодетые в форму казаков революционеры расстреливают народ.

* * *

Вечером состоялось совещание представителей руководящих организаций. Настроение было подавленное.

— Из Питера и Москвы никаких известий. Власти безумствуют. К вооруженной борьбе пролетариат не готов.— Постановили:

— На завтра митингов не созывать. Если удастся созвать митинги, чтобы на них использовать для агитации факты сегодняшнего дня, то созвать. Аппарату быть готовым.

— Убитых на Темернике — охранять. Устроить грандиозные похороны — демонстрации. Если начнутся военные действия, власть переходит к начальнику боевых дружин.

Стали подсчитывать силы. Немного.

— А знаете, что заявили армяне? Их дружина — национальная. Они выступают только в случае армянского погрома.

* * *

С утра четырнадцатого на Темернике настроение печальное и торжественное.

В столовой тела убитых товарищей. Их омывали, украшали гробы, покрывали знаменами красными. Приходили поклониться праху близких, друзей. Лобзали. Рыдали.

В тысячной толпе разговоры велись полголоса. Из уважения к месту. К праху погибших невинно.

Наступил полдень.

Торжественную печаль прервали удары снарядов. Они били по большому месту. По злополучной столовой.

Затем началась атака. Конная атака на Темерник.

— Товарищи, за мной.

Это был Сабинин.

Стройный юноша метался верхом с одного конца Темерника в другой, собирая дружину.

Со всех сторон, с винтовками и револьверами в руках, к вокзалу мчались дружинники.

Залегли за вагонами, в мастерских, за машинами. Пошла трескотня. Вокзал и пути были в наших руках. Власть бежали.

Казачи шли рысью. Их осыпали градом пуль. Спешились.

— Что за атака казачья пешком?

Сотня и пушки повернули обратно.

Нам достался один пленный казак. Атаку отбили.

— Но какую ценой?

Ценой жизни вождя, Анатолия.

Его смерть опечалила всех. Он один стоил ста.

А когда отец Сабинина, старый рабочий, подошел к телу убитого — все умолкло, поникло. Не его утешали, а он говорил:

— Товарищи, не падайте духом!

Он взял винтовку:

— Я умею стрелять так же метко, как и мой сын.

IV

КОММУНА

Все дни в городе продолжалась пальба вдоль улиц. Подвоз продовольствия прекратился, и население начало голодать. В казачий разъезд около Ново-Поселенского театра смельчаки бросили бомбу. Больше десяти человек было убито и ранено. Это озлобило казаков. А администрация использовала эти факты против народа. С четырнадцатого числа Темерник с населением свыше десяти тысяч человек был отрезан от города и предоставлен самому себе. Революционеры стали устраивать свою жизнь. Главные улицы, гористые, в направлении к вокзалу, были забаррикадированы. На проспекте Коцебу грандиозная баррикада. Телеграфные столбы повалены, а проволока опутала столбы, скамьи, доски с разрушенного моста, экипаж, мешки с песком, — многообразный строительный материал баррикады. Из мастерских дружинники принесли железные листы и, как перелетом, охватили баррикаду. Несколько выше, на горке, поставили маленькую пушку. Она не стреляла... но не все это знали...

Когда подсчитали силы, оказалось, что вооруженный состав достигал трехсот человек. Это была революционная армия. Разнообразно одетые, разнокалиберно вооруженные винтовками, берданками, маузерами, браунингами, наганами, смитами, — маленькая армия была сильна революционным духом. Здесь собрались разные, не знавшие друг друга люди, но это были решительные, отважные революционеры, которых соединила не-

ненависть к самодержавию и связало единство вооруженной борьбы.

На Темерник ушли недовольные, активные, боевые. Сюда стремились революционные рабочие с линий железных дорог — Владикавказской, Екатерининской и Юго-Восточной. Со станции Тихорецкой, за сто шестьдесят верст от Ростова, пятнадцатого декабря прибыло десятков пять или шесть вооруженных товарищей, а днем или двумя позже прибыли кавказцы — в папахах и бурках. За ними посылали специальный поезд; их прибыло тоже человек пятьдесят. В общем революционеров было уже свыше четырехсот. Жизнь в лагере началась рано. Был введен военный режим. Остерегались ночной атаки — поэтому после восьми часов вечера воспрещалось выходить на улицу.

Военно-административным и хозяйственным центром был Штаб. Здесь непрерывное движение. Здесь мозг республики и душа коммуны. Здесь формировались десятки, выдавалось оружие. Сюда поступали донесения, отсюда исходили приказы, здесь узнавались новости. Сюда приводили арестованных на допрос, здесь же выносились приговоры.

При Штабе — канцелярия, цейхгауз, интендантство. Здесь впервые создавалась ячейка военного коммунизма.

* * *

— Товарищ начальник, раненого принесли...

— Что с ним? Отнесите в лазарет...

— Где здесь билеты на обед выдают?

— Вы что, товарищ?

— Мне нужно в город. Я за пропуском.

— Разрешите вылазку сделать? На вокзал.

— Обратитесь к Макс.

— На станции жандарма разоружили. Вот револьвер. Куда сдать?

— Наши захватили на путях человека. Должно быть, «сеledка» переодетая (так называли полицейских).

— Где он? — Вот этот. — Отведите пока в арестантскую.

* * *

Канонада замолкла, и дружинники греются. Мороз сегодня изрядный. От-

пускной солдат размахивает руками и при каждом ударе охает: гох, гох...

— Ты что? На посту? А винтовку бросил! Эх, ты...

Двое рабочих поодаль насканивают бочком друг на друга. Греются.

— Ну, хлопцы, айда обедать!

Проскакал верховой — в Штаб, должно быть!

В столовой дружинников весело, шумно. На столе большая кастрюля. Пахнет борщом.

— Сестра, нельзя ли ложечку?

— Подожди, дорогой, очередь.

— Говорят, муки нет, завтра будем без хлеба...

— Чего глупости разводишь! Подвезут. Видал новую пекарню?

Крестьянский Союз организовал доставку продовольствия из окрестных деревень. Жители Темерника помогали рабочим устраивать лагерь. Снабжали провизией, посудой, одеждой. Предоставляли ночлег, а жены рабочих варили, жарили и пекли.

* * *

Вылазку предполагали совершить вечером, как только стемнеет.

— А ребята надежные? — спросил Бекас.

— Боевые...

— Ну, смотрите, да поосторожнее... Больше четырех человек не берите. Счастливо...

Целью вылазки было узнать, что делается за линией сторожевого охранения, и поискать оружия.

Погода была пасмурная. Днем семнадцатого и восемнадцатого шли дожди с хлопьями мокрого снега. Бомбардировка в эти дни прекратилась. Горячие головы советовали произвести ночную атаку, но Макс не соглашался. Он не хотел без толку потерять людей.

— Ну, что — вместо атаки — вылазка. Ладно!

На вокзале было пусто. Ни наших, ни казаков. На запасных путях осмотрели составы застрявших поездов. Ничего. Обыскали станционные помещения. Никаких результатов. Чтобы не возвращаться с пустыми руками, взломали пакгауз.

— Товаров много. Ящики, бочки, мешки, — а что брать?

— Как бы не попало от начальст-

ва. Бекас настрого запретил брать что бы то ни было — кроме оружия...

— Сапоги...

— Сапоги брать, рваными ходят... Возвращались с трофеями.

* * *

Казачьей артиллерии, расположившейся у кладбища, было плохо. Орудия не имели хорошего прикрытия. Наши стрелки удачно снимали артиллеристов. Особенно отличались кавказцы. Хорошие стрелки, вооруженные первоклассными винтовками, они били почти наверняка. Не раз батарея меняла места. Но все же с пределов бугра ей уйти было некуда. Такова была топография местности. Винтовок же у нас было мало. С полсотни — не больше. Поэтому остальная масса дружинников не могла принимать участия в серьезных операциях. Она несла охрану, разведочную службу, была резервом на случай атаки.

Три дня затишья в активных операциях для обеих сторон не пропали даром. Революционеры укрепили коммуны, отдохнули. Агенты самодержавия собрались с силами. Девятнадцатого вечером Макеев объявил город на военном положении.

v МАКС И БЕКАС *

— Вы товарищ Крамской?

— Я...

— Я — Макс. Вы на Темерник? Пожалуйста, передайте Бекасу письмо...

Худенький, подвижный, в очках, он говорил сразу с тремя. Мне: Бекасу кланяйтесь, скажите, что скоро буду сам... Что-то ваших студентов там мало... Говорили, дружина, а посчитали — раз, два и обчелся. Соберите побольше. Соне: да вы смотрите, чтоб вас не сцапали... На каждом углу шпики. Жалко будет листовок... Когда теперь печатать новые? Члену Совета Депутатов: надо бы денег послать. Хоть немного, тысячи две-три... Жду еще кавказцев. Народ хороший. Подъедут с Тихорецкой — будет веселей.

* «Макс» — Бутягин, «Бекас» — Хижняков (умер на Нерчинской каторге). — Ср.: «Прол. Революц.», 1924, № 2 (14), с. 316. — *Ред.*

Ну, идите, товарищи... Желаю успеха...

Макс был прав. Студенческая самооборона насчитывала человек пятьдесят. Когда собирались у Ниссена на Пушкинской — спорили, кричали, говорили без конца... Разбились на десятки, учились прицелу, стреляли в стену. От табачного дыма и пальбы тяжело было дышать. Дружинники дежурили в разных концах города. Иногда несли уличную службу... При проверке постов все были на местах. Но когда началось «настоящее», когда начались вооруженные восстания и центр движения перенесся в Темерник, — студенты разбежались.

— Раз, два и обчелся...

С такими мыслями я ехал на Темерник. На извозчике.

— Стой... Руки вверх!

Передо мной пристав, окологородный и двое «штатских». Письмо Макса жжет мне ступню, а в башмаке правой ноги я ощущаю «катеринки», что дал мне член Совета.

— Ваша фамилия?

— Крамской.

— Вы кто такой?

— Сын фабриканта.

— Куда едете?

— На вокзал.

— Зачем?

— Встречать отца.

— Откуда?

— Из Армавира.

— Пропустить!

Котиковый воротник и шапка вывели. Мертво на улицах. Иногда пропускаю патрули. Лошадка бежит деловито. Я — вне подозрений...

На Темерник пробираюсь через станционные помещения, железнодорожные пути, далеко в обход, лавируя мимо казачьих патрулей, жандармов...

Бекас улыбается. На белых пушистых усах — иней, сосульки. Коренастый, широкоплечий матрос, одет в желтую куртку, а на голове шапка с наушниками. Из голубых щелей струится тепло. Так хорошо с Бекасом.

— Ну, что — по дороге ничего не было? Что в Москве?

Рассказываю, передаю письмо.

— На колокольне Страстного монастыря поставлены пулеметы. Говорят, на Пресне баррикады. Москва восстала. Власти заперлись в Кремле.

Вообще, отделить слухи от фактов трудно. Несомненно, мы не одиноки в борьбе. В Москве и Питере что-то происходит. Большое.

Правительственный телеграф повредили рабочие. Еще в начале борьбы. Чтобы власти не могли вызвать войска. Несколько позже, семнадцатого или восемнадцатого, казаки перерезали железнодорожный телеграф. Ростов был отрезан от остальной России. Город жил слухами: там не знали толком, что делается на Темернике.

Я продолжал:

— В городе считают, что весь Темерник минирован. Казаки боятся бомб. Считают, что Темерник — в кольце фугасов.

Бекас улыбался:

— Ну, конечно...

— Говорят, что сюда пришли большие подкрепления с Кавказа. И еще придут из Новороссийска и Екатеринодара...

— Ну, когда придут — не знаю. Придут, вся Россия придет... Курево есть? Пойдемте.

VI

КАНОНАДА ВОСЬМОГО ДНЯ

За ночь навалило снегу. Как будто нарочно ударил сильный мороз. Уже с утра было градусов двадцать. Слева, на горе против нас, со стороны еврейского кладбища, стояла батарея.

Нагорный Темерник был открытой мишенью. Напрямик версты две — не больше. Обычно бомбардировку начинали в полдень, в двенадцать, в час, — кончали в три, четыре. Сегодня началось на рассвете. Началось что-то новое, необычное. Били картечью. Били сильно, без перерыва, без передышки. Били по проспекту Коцебу, по баррикадам, по церкви, по домам. Били со стороны кладбища, били с вокзала, с боку, с Нахаловки, отовсюду!..

Бекас ворчал:

— Вот сволочи. Приступом, что ли, хотят взять. Только добро переводят — снаряды. На улицах ведь никого нет.

Нас двое. Мы защищены забором. Вставили в щели дула маузеров и жарим по кладбищу...

Маузер — против пушки!

Триста пламенных бойцов — против трехсот тысяч солдат, казаков, обывателей, трупов...

По белоснежной равнине движутся серые фигурки. Бегут, наклоняются, падают...

— Вали, Крамской, вали... Я тебе говорю, что попадем.

Я не знаю, прав ли Бекас, я не знаю даже, долетают ли наши пули до кладбища...

Пожалуй, Бекас прав. Свист и жужжанье слышны все чаще и чаще. Нас нащупали.

Тррах... Забор сбит, мы бросаемся к ближайшему прикрытию, к соседнему дому. От следующего удара картечи падает карниз. Нас обсыпает штукатурка. Согнувшись, мы перебегаем через улицу — к дому напротив... Мимо нас свистят пули, мы прижимаемся к стенке и ждем. Чего? Чего ждем?

* * *

— Который час? — спрашивает Бекас.

— Два.

— Дело дрянь, надо бежать за патронами.

Женщина и дружинник на открытом месте возились с раненым.

— Бегите за носилками. Куда? Найдите где-нибудь!

— Где их тут найдешь?

— Нога раздроблена, видишь, как заливаешь, разуть надо... да куда тут?

— Ну, товарищи, уходите скорее! — кричит Бекас. — Несите в дом, а то сами...

Дружинник упал. В щеку навyleт.

Мы на самом краю Темерника. Мы видим казачьи разъезды, прячемся в уступах построек, за крылечками одноэтажных домов. Изредка постреливаем.

— Товарищ Бекас, патронов нет.

— Товарищи, одолжите патронов... Хоть обойму.

Огромный, в черной папахе и башлыке кавказец свирепо бранится:

— Никто не дает патронов. Ночью пойду душить часовых... На вокзал.

Он шелкал затвором винтовки, стучал прикладом о промерзлую землю и матюкался.

— Идем, идем, — тянул Бекас. — Надо что-то предпринять. Только бы хватило патронов, пока не стемнеет.

Мы стали пробираться в Штаб. К Васильченко.

— Как вы думаете, сколько снарядов было выпущено сегодня?

— А черт его знает. Полтораста, двести. Во всяком случае, каждые две минуты снаряд.

VII ОТСТУПЛЕНИЕ

Уже пятый час дня, и, как обычно к вечеру, канонада стихает. А когда стало темно, перестрелка затихла совсем. В небольшой комнате собрались комитетчики, начальники дружин и десятков. Большинство стоит. Горит лампа. Начальники десятков докладывают:

— Патронов нет.

Судя по стрельбе, мы почти в кольце. Нас не бьют только с тылу — со стороны Гниловской. С городом в течение дня никакой связи.

— Что делать?

Говорили мало. Решилось как-то само собой:

— Надо отступить, а не сдаваться. От организованной массовой обороны перейти к партизанским действиям. — Здесь же было отдано и распоряжение: уходить спокойно, небольшими отрядами, через овраг, мимо станицы Гниловской. Отход начать с восьми часов вечера. Постепенно. В порядке определенной очереди. С собою брать только бомбы, оружие и порох.

— Если жители будут спрашивать, говорите, что идете на разведку.

Пароль передавали на ухо, только начальникам и патрулям. Куда мы отступали — знали только начальники отрядов.

* * *

— Кто идет?

— Свои.

— Пароль?

— Макс.

— Москва, проходите.

Мы шли десятками и небольшими отрядами. Впереди каждого отряда бомбомет с бомбой в руках, готовый, в случае неизбежной опасности, по приказу начальника бросить «консервную банку».

Чтобы отвести подозрение, избежать шума, обычного при массовом

движении, отрядам было приказано уходить не сразу, а с промежутками минут в пятнадцать — двадцать. Расписание было рассчитано так, чтобы все отряды, переправившись через Дон, к утру, засветло, прибыли в Нахичевань к заводу Аксай. Предстояло пройти верст десять, двенадцать.

Мы уходили поздно. Ночь была лунная. Это было и плохо, и хорошо. Легко было заметить наше движение, но зато было легче идти. Мы видели путь впереди. Строились попарно и колоннами покидали Темерник. На крутых спусках балки скользили, сбивались в кучки, потеряли порядок. На подъемах обходили тропинки, шли через сугробы, карабкались на кручи. Когда подходили к Гниловской, казачьей станице, забирали влево, подальше от домов, чтобы жители нас не видели. Шли молча. Курить воспрещалось. Начальство шепотом передает команду:

— У берега по льду идите гуськом.

Выбрали место. Спустились, пошли через Дон.

Кто вправо, кто влево...

— Товарищи, ой, помогите, тону... Неосторожный кто-то попал в прорубь.

В прорубь для ловли рыбы. Сгрудились, припали, лед затрещал.

Пять, десять рук протянулось.

— Тише, черт, не ори...

— Товарищи, так нельзя...

Когда вытащили, Бекас говорит:

— Кто слушается команды — пулю в лоб.

Черной змеей поползли через Дон.

А когда вышли на левый берег, не свернули сразу вдоль, а пошли дальше, вглубь, в буранную степь, в темноту. Идти нужно было вверх, параллельно берегу. Вглубь пошли потому, что боялись встретить казачий разъезд патрулей.

Далеко слева, на горе, тысячами холодных огней сверкал город. Безучастные спали. Враги притаились. Огромное длинное чудовище с блестящей огненной чешуей залегло вдоль нашей дороги к спасению. То — гористый берег Ростова. Звезды светили ярко. Далекие, они были ближе огней города. Холодные, они согревали нас. Чуждые — они были роднее.

Мы шли по бесконечной снежной равнине. Шли час, и два, и три... Усталые, спотыкались о кочки, пада-

ли, задыхаясь от стужи. Глотали ледяной воздух и согревались лишь далекой надеждой и верой в победу.

Какое далекое слово!

Позади — покинутая крепость революции, временно оставленный форт. Брошенные в плен раненые товарищи по борьбе.

Неравные силы сразились: свобода и рабство.

Дерзновенный порыв против косности, тьмы.

Временно силы разбиты. Мы не сдаемся, мы отступаем.

Холодный вихрь кружит, снежит. Горячую мысль не погасит...

— Лешенька, милый, я не могу больше идти. Отдохнем.

— Что ты, что ты, Катя. Нам нельзя отставать.

— Хоть минуточку, сил больше нет...

Мой бедный, славный товарищ!

— Берите обеих под руки, — нежно говорит Бекас. — Держитесь, немного осталось. Это — Нахичевань, скоро придем.

— Да иди же, Катя!

* * *

У Аксая перешли Дон. Пришедшие раньше оцепили завод, умело арестовали охрану, расставили патрули. Завод сельскохозяйственных машин имел пятьсот, шестьсот рабочих. В эти бурные дни революции завод, как и все, бастовал. В отрядах революционеров, пришедших с Темерника, первыми были аксайские рабочие, хорошо знавшие местность. Прибывшие отряды встречались патрулями. Бесшумно, в молчании нас подвели к одноэтажному каменному корпусу.

Столовая. Она могла вместить несколько сот человек. Пришедшие размещались на скамьях, столах, на по-

лу. Огня не зажигали. Чтобы не вызвать подозрений. Огромное холодное помещение согревали своим дыханием. Сидели группами. Изнемогшие спали, искали во мраке знакомых.

Шептались:

— Что же дальше? Что делать?

Каждая минута была дорога.

Может быть, предательство уже за дверями? Может быть, Темерник уже занят войсками? Может быть, утром, с рассветом?.. Может быть?..

Приказ:

— Рассыпаться. Кто куда может и хочет. В плен не сдаваться... Силы беречь для дальнейшей борьбы. Город большой — двести тысяч людей.

Раствориться. Уйти, переждать...

— Чтобы через час в столовой никого не было!

* * *

Мы в Нахичевани. Крадучись вдоль стен и заборов спящего города, Бекас, Катя и я ищем приюта.

Мы у друзей. Спим. Тишина.

Разбудил страшный удар. Непонятный.

— Что это, что!

Сердце упало. Я посмотрел на часы. Брезжило утро.

Бекас коротко бросает:

— Бомбы...

Через час мы узнаем:

— Столовая Аксайского завода взлетела на воздух.

И позже, уже дома:

— Среди развалин нашли девять обуглившихся трупов. Говорят, кавказцы.

— Ведь им некуда было идти. Бомбы складывали на окнах! Вероятно, одну уронили.

Утром уже не обстреливали Темерник. Жители выкинули белый флаг — революционеры ушли.

В. А. БАЛЫЦ

СУД НАД ПЕРВЫМ СОВЕТОМ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ

[Воспоминания прокурора] *

VIII

БЕЗ ПОДСУДИМЫХ И ЗАЩИТЫ

Зал опустел. Старший председатель объявил: «Заседание продолжается;

* Окончание, начало см. т. 1, с. 139.

г. секретарь, огласите дальнейшее содержание письменных вещественных доказательств».

Как будто ничего не произошло. В пустом зале гулко раздавалось монотонное чтение секретаря. Члены пала-

ты, явно утратив интерес к происходящему, несомненно скучали, понимая бесцельность этого чтения. Судебный пристав Ермолаев безмятежно дремал на своем кресле, и даже курьеры постепенно на цыпочках выходили из зала.

Все это производило впечатление погребального чтения над покойником.

Я чувствовал себя чрезвычайно угнетенно. Сознание, что невозможно бороться с противником, который не хочет защищаться, было настолько сильно, что я с нетерпением ждал конца заседания, чтобы решить, как мне поступить дальше.

Неумолимый Н. С. Крашенинников упрямо довел заседание до положенного часа и лишь тогда, прервав чтение секретаря, объявил, что прерывает заседание до следующего дня.

Я немедленно поехал из суда к одному из своих лучших друзей и рассказал ему, в чем дело.

Моим первым побуждением было поехать к Камышанскому, сказать ему, что при создавшихся условиях я не могу обвинять, и просить освободить меня от участия в процессе. Однако совесть и сознание долга подсказывали мне, что это решение неправильно, что ненормальное положение процесса создалось согласно воле подсудимых и защиты, что существо моих обязанностей от этого не изменилось, а должна измениться лишь форма их выполнения.

Мой друг разделил мою точку зрения, и это было для меня первым нравственным удовлетворением после бесконечно тяжелых впечатлений заседания.

Я решил выбросить из обвинительной речи все сомнительное и спорное, превратить речь скорее в форму резюме, чем в форму обвинения, и остаться, как я решил уже давно, в строго судебных рамках дела. Разумеется, я остался и при своем намерении отказать от обвинения в приговоре вооруженного восстания.

На следующий день с утра продолжалось чтение вещественных доказательств, затем был объявлен перерыв, и возобновление заседания для выслушивания моей речи было назначено в шесть часов вечера.

О, как я помню этот ярко освещенный зал и мельчайшие детали обстановки!

Пустые скамьи подсудимых... пустые скамьи защиты... в местах для публики тоже пусто, и только присяжный поверенный С. П. Елисеев, не победив своего любопытства, приютился в уголке, да недалеко от него одинокая, печальная жена подсудимого Авксентьева.

В то же время места для печати заняты все до одного. Перед судебским столом появился столик, за которым сидят приглашенные защитой четыре стенографистки. В креслах за судьями тоже нет ни одного свободного места. Сенаторы (и среди них знаменитый криминалист престарелый Н. С. Таганцев)¹, чины судебного ведомства, некоторые высшие чины администрации, чиновники министерства юстиции, бывший личный секретарь графа Витте и мои товарищи по надзору — все это собралось слушать «судебные мнения», а многочисленная судебская молодежь заполнила проходы между боковыми барьерами.

Я слышу биение своего сердца, чувствую, что холодеют от волнения руки, мысль словно совсем не работает, и мозг как-то механически воспринимает внешние впечатления. Наконец я не выдерживаю и прошу Н. С. Крашенинникова скорее начинать заседание.

Палата выходит в зал.

Все стихает.

Я слышу мерный, спокойный голос Крашенинникова:

«Заседание возобновляется. Объявляю судебное следствие оконченным. Слово принадлежит прокурору».

Я поднимаюсь и, стараясь усилием воли успокоить волнение, начинаю свою первую «политическую» обвинительную речь.

Гг. судьи и гг. сословные представители, в один из первых дней судебного следствия по настоящему делу подсудимый Хрусталева-Носарь поднялся здесь перед вами, изложил в этой зале историю Совета рабочих депутатов и описал его деятельность, заявив вам, что он пользуется гласностью вашего суда, чтобы таким образом дать отчет своим избирателям.

Теперь наступило время, когда обвинительная власть перед лицом суда также получила возможность дать отчет о тех основаниях и доводах, которые дали ей право составить по де-

лу обвинительный акт и которые представляются в настоящее время достаточно проверенными, чтобы подерживать это обвинение.

Обращаясь к исполнению лежащей на мне задачи, я теперь же заявляю вам, что я совершенно выбрасываю из дела какую бы то ни было критическую оценку политической деятельности Совета рабочих депутатов. Становиться на подобную точку зрения было бы, мне кажется, неправильно, потому что это значило бы перенести доказательства из области судебной в область политическую. Это значило бы противопоставлять программам и директивам, которых держался Совет, иные программы и директивы, безотносительно к тому, директивы каких именно политических партий — правых или левых; это значило бы вступать в партийный спор.

Я думаю, что суд и прокурор, как чин судебного ведомства, вступать в партийный спор не может, потому что для оценки судебной должен служить другой критерий — не сочувствие какой-либо программе партии, а действующий в данное время закон. Я полагаю, что только на этой почве суд будет беспартийным и, следовательно, безотносительно к сочувствию или несочувствию деятельности какой-нибудь политической партии вынесет оправдательный приговор по делу о государственном преступлении, как и по каждому другому, когда придет к убеждению, что в деле нет состава преступления, караемого уголовным законом.

Пусть будут соображения мои, вследствие сказанного, бледно формальны; пусть в них не будет политической проповеди и тем менее призыва к политической борьбе, я повторяю, что только эту точку зрения я считаю судебной и с этим масштабом подхожу к настоящему делу.

Я в то же время считаю себя обязанным выбросить из числа моих доводов целый ряд соображений, сложившихся у меня за долгие месяцы изучения дела, раз только доводы эти представляются мне сколько-нибудь спорными. Известное мне отсутствие возражений* заставляет меня исключить все доказательства, к которым применимо французское изречение:

«Du choc des opinions jaillit la vérité»².

Там, где истина могла бы быть установлена лишь как результат спора, там, думается мне, соответствующее доказательство обвинения надлежит из дела совершенно исключить.

Судебный материал, гг. судьи, по объему своему громаден, сложен и разнообразен, но тем не менее он поддается учету в смысле распределения его на отдельные категории. В этом отношении материал распадается на то, что имелось в распоряжении прокурорской и следственной власти до предания суду обвиняемых, и все то, что сделалось известным впервые на судебном следствии и является теперь предметом вашего суждения.

К первой категории материалов принадлежат: письменные доказательства, данные на дознании свидетельские показания в чистом их виде и, наконец, оговоры обвиняемых. Что касается письменных материалов, то я придаю им наибольшее значение, потому что они представляют собой незыблемых свидетелей, на которых ничто влияния не оказывает и которые остались теперь в том же виде, в каком они были в момент приобщения их к настоящему делу. Эти письменные доказательства, в свою очередь, распадутся на две группы. К первой из них относятся документы, которые предназначались в момент их составления для публичного обращения и распространения (я говорю об «Известиях Совета рабочих депутатов» и об отдельных воззваниях Совета), причем эти доказательства имеют значение потому, что по ним мы видим, какие именно идеи и указания Совет считал нужным сделать достоянием широких рабочих масс. Вторая группа доказательств — это те письменные материалы, которые для распространения не предназначались, но которые взяты в архиве Совета (по Торговой улице, 25) и которые рисуют внутреннюю жизнь Совета.

Под свидетельскими показаниями в чистом их виде я понимаю показания лиц, которые к делу в качестве обвиняемых не привлекались и с самого начала выступали в деле как свидетели, — таких показаний было дано на дознании сравнительно немного. Это все свидетели, устанавливающие отдельные эпизоды, как, например,

* Уход защиты и удаление подсудимых.

проведение почтово-телеграфной забастовки или печатание «Известий Совета рабочих депутатов»; показания этих свидетелей для решения вопроса о составе преступления имеют чрезвычайно малое значение.

Гораздо большее значение могли бы иметь показания бывших обвиняемых, которые относятся к категории оговоров, так как, хотя показания эти и даны теперь лицами, о которых уголовное преследование прекращено и которые, таким образом, явились в качестве свидетелей, суд не должен забыть, что первоначально эти показания давались людьми, привлеченными к дознанию. Если практика уголовного права считает вообще оговоры обвиняемых более слабым доказательством, чем свидетельские показания, то это вполне применимо и к настоящему делу. Здесь, на суде эти оговоры рушились.

Вы помните, конечно, что все те свидетели этой категории, которые были вызваны со стороны обвинения, начинали с заявления, что они отказываются от показаний, данных в жандармском управлении, и что данные ими там показания, по существу, являются ложными.

Слушая судебное следствие, я обратил внимание на некоторые отдельные эпизоды, которые с несомненностью свидетельствовали о том, что это не так, или, по крайней мере, не совсем и не всегда так. Я позволю себе, например, напомнить гг. судьям, что когда допрашивался свидетель Гуров, то он заявил, что на заседаниях Совета рабочих депутатов он никогда не был, что показаний, которые здесь оглашены, он никогда не давал и что показаний этих ему никто никогда не читал, а между тем оказалось, что Гуров грамотный и показания свои на дознании он писал собственноручно.

Затем вы припомните, конечно, что свидетель Яков Вернстрем заявил на суде, что показания его измышлены подполковником Горленко; это было бы, однако, возможно, разумеется, только в той части показаний, где подполковник Горленко заносил содержание заседаний Совета, пользуясь или имея возможность пользоваться «Известиями» и черновыми протоколами. Однако когда перед вами допрашивались свидетели защиты,

то один из них, именно свидетель Козловский, рассказал вам, что на заседании Совета 14 октября председательствовал подсудимый Зборовский. Я обратил тогда ваше внимание на это обстоятельство вовсе не потому, что это являлось уликой против Зборовского, нет, а именно потому, что в оглашенном показании Вернстрема значится, что 14 октября на заседании Совета председательствовал Зборовский, известный ему под прозвищем Никитин. Как известно, Зборовский привлечен к делу в апреле месяце, а Вернстрем допрашивался раньше, и следовательно, подполковник Горленко не мог еще иметь сведений о том, что Зборовский принимал участие в деятельности Совета, а потому не имел возможности составить показания Вернстрема иначе, как со слов последнего.

Подобного рода подтверждение правдивости показаний обвиняемых или части их показаний на дознании я усматриваю, наконец, и в том, что подсудимый Шанявский, рассказывая на дознании о заседании 3 декабря, говорил, что именно он, Шанявский, ссылаясь на французскую революцию и на примеры беспорядков в Риге, утверждал, что не нужно никакой подготовки для выступления и что в момент подъема рабочие сами достанут оружие. Когда суд обратился к рассмотрению чернового протокола указанного заседания, то оказалось, что один из участников этого заседания говорил о французской революции и о примере беспорядков в Риге и настаивал на немедленном выступлении. Лицо это обозначено в протоколе Исполнительного комитета инициалами «П. Т.» — очевидно, «почтово-телеграфный», а как известно, Шанявский был представителем почтово-телеграфного союза в Совете рабочих депутатов.

Несмотря на все это, гг. судьи, хотя приведенные примеры дают известное основание доверять показаниям свидетелей на дознании, я полагаю, что суд все-таки должен стать на другую точку зрения.

Я полагаю, что если перед судом являются свидетели, которые в одном случае говорят одно, а в другом — другое, то суд из осторожности не должен верить ни в том, ни в другом случае, потому что судья не мо-

жет знать, когда же именно эти свидетели говорят правду и когда лгут, вследствие чего я полагаю, что показания их надлежит исключить из числа доказательного материала.

Я также исключаю из этого материала показания обвиняемого Алексея Шишкина, который не явился сюда и показания которого были здесь прочитаны; к этим показаниям нельзя приложить такого же предположения, что если бы он явился сюда, то дал бы не те показания, которые дал при жандармском дознании.

Конечно, гг. судьи, вы отнесетесь к свидетельским показаниям так, как вам покажется правильным, но по поводу части этих показаний у меня есть к вам прямая просьба.

Обвиняемые рассказывали вам, каким образом их предъявляли тем свидетелям, которые должны были их опознать. Когда были вызваны в этот зал офицеры корпуса жандармов, производившие дознание, то они объясняли мотивы такого способа предъявления, но фактической картины не изменили, и перед вами осталось не опровергнутым, что обвиняемые предъявлялись свидетелям в то время, когда не могли предполагать, что производится опознание. Доказанное грубое нарушение заставляет меня думать, что в целях большей серьезности оценки доказательств предъявление это надлежит из дела исключить.

Та же категория свидетелей из бывших обвиняемых не только разрушила на суде фундамент, на котором в этой части строилось обвинение, но создала целый ряд новых объяснений в пользу другой стороны — в пользу защиты.

Все эти свидетели начинали свои показания с того, что «Совет рабочих депутатов не был кучкой заговорщиков, а был лишь выразителем воли масс» и что поэтому он ответственным быть не может. Если припомнить эти показания в подробностях и деталях, то нельзя не сказать, что это были не столько объективные свидетельские показания, сколько горячие защитительные речи, произнесенные перед лицом суда; в них было столько субъективности, столько сочувствия к одной стороне в процессе, что они не могут считаться тем объективным материалом, который мы привыкли на-

зывать свидетельскими показаниями.

Затем на суде явилась новая категория свидетелей, раньше не допрошенных. Пестрой лентой прошли перед вами: общественные деятели, литераторы, гласные думы, почтово-телеграфные штрейкбрехеры и лица других профессий, и их показания с исторической и бытовой точек зрения, с точки зрения описания условий, при которых действовал Совет, мне представляются ценными. Я думаю, что суд, несомненно, должен их учесть и серьезно отнестись к ним; сам я буду также основываться на этих показаниях.

Наконец, уже после вручения подсудимым обвинительного акта, как вам известно, Судебной палате был предложен прокуратурой документ, представляющий из себя письмо части обвиняемых, принадлежавших к социал-демократической партии, — письмо, написанное из тюрьмы на имя Центрального комитета социал-демократической партии и задержанное при обыске у постороннего лица. Этому документу я придаю большое значение по двум основаниям: во-первых, потому, что он исходит от самих обвиняемых, и они этого не отрицают, во-вторых, потому, что обвинение утверждает с фактической стороны именно то, что изложено в этом документе, и, следовательно, весь спор сводится к вопросу, есть или нет состав преступления в тех действиях и намерениях, которые в этом документе описаны.

Ко всему перечисленному мною материалу, из которого, таким образом, я продолжаю считать твердым и незыблемым только письменные доказательства, добытые при дознании, и только что названный документ, здесь на суде прибавился еще материал громадной важности — это объяснения, данные самими обвиняемыми.

Объяснения эти представляются мне вполне правдивыми и искренними, и я предполагаю, со стороны фактической, утверждать то же, что утверждают сами обвиняемые.

Это делает мою задачу гораздо легче, потому что с моральной стороны легче доказывать, что известные деяния человека, которые он сам признает, законом воспрещены, чем настаивать на том, что человек учинил такие деяния, самое совершение которых он отрицает. Я не буду спо-

ритель против того, что эту часть доказательств обвиняемые дали сами и что эта часть доказательств обвинением добыта легко, но раз объяснения эти сделались предметом судебного следствия, то я не считаю себя вправе обойти их молчанием или не основываться на них.

Базируясь, таким образом, на указанных двух категориях доказательств, я перехожу к оценке выводов обвинительного акта и представлению вам тех соображений, которые убеждают меня в том, что выводы эти правильны по существу:

I. Обвинение утверждает, прежде всего, что Совет рабочих депутатов представлял собой воспрещенное законом сообщество. Наличие этого сообщества я должен доказать перед вами, но раньше, чем обратиться к этому, я считаю себя обязанным опровергнуть эпитет, кем-то этому сообществу приписанный. Этот эпитет, как какая-то легенда, неизвестно где сложившаяся, ворвался в вашу залу и докатился до вас в виде объяснений подсудимого Злыднева, давшего Совету эпитет «тайного» сообщества. Вы помните, как Злыднев, рассказывая о депутации к графу Витте, закончил словами: «Так кончилось свиданье председателя Совета Министров с представителями «тайного» сообщества, именуемого Советом рабочих депутатов». Обвинение нигде не утверждало, что Совет рабочих депутатов был сообществом «тайным». Обвинительный акт начинается с описания порядка выборов на фабриках, излагает последовательно свидания представителей Совета с графом Витте, и общая часть обвинительного акта кончается указанием на то, что известный рабочий манифест был напечатан 2 декабря в легальных газетах. Я думаю, что после этого не может быть и речи о том, что обвинительная власть предполагает, что Совет рабочих депутатов был организацией подпольной.

Обращаясь к юридической оценке признака «тайное» сообщество, я должен сказать, что в объяснительной записке к проекту Уголовного Уложения составители ее указывали, что признаки преступности сообществ сводятся к двум категориям: призна-

формальным и материальным. К

формальным — составители Уголовного Уложения относят воспрещение сообществ безотносительно к их цели, признавая, таким образом, преступными те общества, которые обращались с ходатайством о разрешении в установленном порядке и, получив отказ, тем не менее организовались. Это будут сообщества, воспрещенные властью и, следовательно, преступные, совершенно безразлично к тому, какую цель они преследуют. Когда затем составители записки остановились на втором формальном признаке преступности, а именно на тайном характере сообществ, то они пришли к выводу, что этот признак является для уголовного преследования безразличным, потому что, с одной стороны, могут существовать такие «тайные» сообщества, которые ничего ни вредного, ни опасного для государства не представляют, а с другой стороны, сообщества не тайные, а разрешенные, могут постепенно начать преследовать такие цели, которые сами по себе сделают их преступными. Преступная цель сообщества и есть материальный признак его наказуемости, и в этом отношении закон, безотносительно к формальным признакам преступности, разделяет политические сообщества на два вида: сообщества, которые стремятся к ниспровержению установленного основными законами образа правления, т. е. целью которых является мятеж, и сообщества, которые стремятся к социальному перевороту, дабы в будущем подготовить переворот государственный, и целью которых является смута.

Но, гг. судьи, здесь перед вами на суде, помимо отсутствия тайного характера Совета рабочих депутатов, были выдвинуты еще и другие основания для того, чтобы указать, что Совет нельзя считать сообществом.

Эти основания сводятся к тому, что Совет, по мнению многих лиц, является исполнителем воли масс, и следовательно, у Совета не было личной инициативы и члены его были лишены возможности проявлять личную волю, а так как свободная воля есть одно из неперемennых условий умысла, то члены Совета не могли, как таковые, совершить уголовно караемых деяний.

Другими словами, здесь ссылались

на то, что Совет рабочих депутатов есть такое социально-историческое явление, которое не укладывается в рамки судебного процесса, что оно должно быть изучаемо в кабинете социолога или историка, а не в зале суда, и что, признавая его вредным, власть должна воспретить его собрания и воспрепятствовать его бытию, не возбуждая вопроса о судебной ответственности его членов.

Если бы вы, гг. судьи, разделили эту точку зрения, если бы вы признали, что действительно ни один из сидевших перед вами людей не мог своими действиями ничего изменить в рабочем движении города Петербурга, тогда, конечно, все дальнейшие мои соображения должны для вас отпасть, и единственным вашим выводом из дела будет оправдательный приговор.

Я, со своей стороны, утверждаю, что по вопросу о взаимоотношении Совета и рабочих масс перед вами в отношении этих масс были установлены только два несомненно выяснившихся положения: установлено было, что в октябре и ноябре минувшего года рабочее население города Петербурга в широких слоях своих было настроено революционно и что революционное настроение рабочих сказывалось не только в октябре и ноябре, но и раньше, выражаясь в сочувствии учению социалистических партий. Это настроение рабочих было установлено на суде главным образом двумя свидетелями — Святловским³ и Прокоповичем, которые говорили, что рабочие массы имеют вообще склонность к социализму, они поддаются этому учению и разделяют программу этого учения, хотя бы и оставаясь вне партии.

Но, гг. судьи, настроение не может считаться наказуемым.

Революция не есть образ мышления — революция есть образ действия.

Именно в том и заключается революция, чтобы революционное настроение провести в жизнь, чтобы создать такую организацию, которая дала бы возможность этому настроению вылиться в определенную и, конечно, революционную форму.

Когда мы обратимся затем к первому номеру «Известий» Совета, то

мы увидим, что Совет создавался именно в целях придать рабочему движению «организованность, единство и силу и явиться выразителем нужд петербургских рабочих перед остальным обществом». Вслед за возникновением Совета, несомненно, создано двойное движение: с одной стороны, революционное настроение рабочих, которое шло навстречу Совету, и с другой стороны, деятельность Совета, которая шла навстречу настроению рабочих. О подобного рода взаимодействии этих двух сил образно выразился здесь свидетель Георгий Егоров, который сказал, что отношения между Советом и рабочими создавались «и снизу вверх, и сверху вниз», т. е. сказал, что и та, и другая сторона друг на друга влияли, а это находит себе подтверждение и в обстоятельствах дела.

Если вы припомните, например, вопрос о введении восьмичасового рабочего дня встретил такое сочувствие со стороны рабочих масс, что Совету трудно было удержать рабочих от проведения этого дня революционным путем. Вы припомните, что, когда вам давал объяснения подсудимый Немцов, то он называл постановление Совета об отказе в проведении восьмичасового дня «отбоем» и говорил, что рабочие остались этим очень недовольны; кроме того, свидетели, вызванные сюда по ходатайству подсудимого Злыднева, указывали, что Злыднев вынужден был удерживать рабочих от проведения восьмичасового рабочего дня, доказывая, что по тактическим соображениям эта борьба невозможна и что настаивать на сокращении рабочего дня сейчас нельзя. Таким образом, вот вопрос, где на Совет оказала влияние рабочая масса, и я думаю, что причина этому в том, что выгода проведения восьмичасового рабочего дня представлялась рабочим очевидной и что по этому вопросу к борьбе примкнули рабочие, к политическим вопросам безразличные.

С другой стороны, влияние Совета отразилось немедленно на рабочих массах. Свидетельница Гершанович удостоверяла вам, например, что она знакома с настроением рабочих Петербургского района, что этот район сравнительно индифферентно относился к политической борьбе, но что,

когда создавался Совет, то «словно волна пробежала между рабочими».

Я думаю, что именно направлять течение этих рабочих волн и был призван Совет, который явился, таким образом, боевым органом пролетариата.

Он получил возможность действовать на массы как благодаря участию в нем внепартийных рабочих, так и вследствие включения в Совет официальных представителей социалистических партий.

Подсудимый Кнунианц, выясняя цели и задачи в Совете социал-демократической партии, пославшей туда 50 своих представителей, говорил, между прочим, что таким образом члены партии, работавшие на заводах, знали, что делалось в Совете рабочих депутатов; а на заводах проводились резолюции и постановления, вносившиеся в Совет, и из числа таких резолюций, напечатанных в «Известиях», я заметил около двадцати, в которых значится, что резолюции приняты рабочими после речей ораторов социал-демократов или социалистов-революционеров, причем среди этих резолюций есть несколько таких, где прямо говорится, что резолюция принята после речи «агитатора» — социал-демократа или «представителя партии» социалистов-революционеров.

Таким образом, создавался круг, где все друг другу сочувствовали и помогали и совместная работа выливалась в жизненных формах. На заводы являлись из Совета члены партий, на заводских совещаниях участвовала масса рабочих, разделявших мнение партий, постановлялись резолюции, резолюции вносились в заседание Совета, Совет постановлял окончательную резолюцию, которая представлялась уже обязательной для всего пролетариата, а в этой обязательности решений для меньшинства и заключается, по-моему, один из самых необходимых признаков сообщества.

Если вы припомните, здесь Бронштейн* говорил вам, что Совет управлял пролетариатом и мог применять свою власть к элементам меньшинства, а понятие сообщества в том и заключается, что оно представляет собой собрание людей, объ-

единенных общей целью, периодически собирающихся и признающих, что меньшинство подчиняется воле большинства, что мы видели и в данном случае.

Таким образом, я думаю, что стремление обезличить Совет, сказать, что в рабочем движении он не был самостоятельной силой, а нес лишь обязанности бухгалтера, учтивавшего рабочее движение, это значит придать Совету такой характер, который не будет соответствовать действительной картине установленного перед вами влияния Совета на революционное движение пролетариата.

Подтверждение высказанного мною взгляда я вижу и в письме на имя Центрального комитета партии с.д., на которое я уже ссылался. Подсудимые говорят в этом письме: «Совет, руководя борьбой масс, приводил их на почве этой борьбы к сознанию неизбежности восстания. Совет, организуя массы на почве борьбы за восьмичасовой рабочий день и пропитывая их идеей неизбежности вооруженного восстания, тем самым подготавливал организационную базу для будущего восстания». Я именно так понимаю деятельность Совета. Я, основываясь на прочитанном письме, утверждаю, что Совет был носителем идей, а рабочие массы были тем объектом, который эти идеи воспринимал, и, следовательно, деятельность Совета рабочих депутатов сводилась к проведению в жизнь идеи политической борьбы пролетариата.

Итак, гг. судьи, вот мой вывод: настраивание масс не может считаться наказуемым; выборы в Совет являются деянием уголовно-безразличным, и поэтому выборщики никакой ответственности подлежать не могут; участие в Совете само по себе тоже не может быть основанием для ответственности уголовной. Этикетка «член Совета рабочих депутатов» не есть еще доказательство, равнозначное признанию преступления, потому что деятельность Совета была настолько разнообразна, отрасли рабочей жизни, Советом охватываемые, были столь многочисленны, что с точки зрения уголовной кары действия Совета во многих случаях представлялись безразличными, для чего достаточно вспомнить помощь безработным и

* Троцкий,

образованную в этих целях Советом комиссию.

По изложенным соображениям, отвечая на вопрос, обращенный ко мне во время судебного следствия, — почему из числа трехсот членов Совета предано суду только 52 человека, я отвечаю — потому, что остальные привлеченные к дознанию не были (говоря техническим языком) «уличены» в сознательном участии в наказуемой деятельности Совета, потому что они уличались только в том, что были членами Совета, а обвинение говорит, что только часть его деятельности была наказуема и, следовательно, только те, которые избличены в этой противогосударственной деятельности, могут так или иначе отвечать перед судом.

Вопрос о причинах непредания суду части членов Совета возбуждался здесь, конечно, не для того, чтобы сказать, что они были в чем-либо уличены; с моим мнением о прекращении преследования в отношении 200 с лишком лиц защита, разумеется, была солидарна, но вам хотели указать на непосредственность прокурорского надзора, который предает суду одних и отказывается в то же время преследовать судом других. Объяснения, которые должен дать по этому поводу прокурорский надзор, совершенно ясны: обвинять в преступлении можно только тех, которые в нем избличены, а если в отношении части обвиняемых улики опровергнуты, то, несомненно, от преследования этих лиц судом обвинение должно своевременно отказаться.

II. Утверждая по всем приведенным соображениям, что Совет рабочих депутатов представлял собой сообщество, обвинение должно затем доказать, что сообщество это было преступно, что оно преследовало такие цели, которые воспрещены законом, т. е. в данном случае, что целью деятельности Совета было ниспровержение существующего в государстве образа правления.

Раньше, однако, чем доказывать преступность целей Совета, я опять должен опровергнуть навязанное обвинению утверждение, которое прошло здесь перед вами и которое не имеет под собой никаких оснований.

Обвинение никогда не утверждало, что Совет рабочих депутатов — это

«кучка заговорщиков», т. е. единение людей, намеревавшихся совершить определенное конкретное преступное деяние без ясных планов о том, что должно быть совершено после его выполнения. Обвинение никогда не придавало Совету характер, например, известного заговора сербских офицеров, которые произвели дворцовый переворот. Обвинение смотрело на цели Совета гораздо шире, и для того, чтобы пояснить эту точку зрения, нужно опять обратиться к тому документу, на который я уже один раз ссылался, т. е. к письму обвиняемых Центральному комитету партии с.д. Это письмо, говоря о деятельности Совета, утверждает, что Совет «отнюдь не ограничивается подготовкой восстания, наоборот, такой подготовки, как чего-то самостоятельного, оторванного от остальной борьбы пролетариата, не было, и идейно-организационная подготовка восстания была неизбежным выводом из борьбы рабочих масс во всем ее объеме».

Это утверждают в своем письме обвиняемые; это же говорю и я, полагая, что Совет рабочих депутатов создан для того, чтобы провести борьбу рабочего класса с существующим строем и экономическими условиями повседневного быта рабочих.

Обвинительный акт и обвинительная моя речь не могут, однако, касаться борьбы рабочего класса во всем ее объеме, так как обвинение не есть история Совета, и поэтому естественно, что целый ряд отдельных уголовно-безразличных отраслей деятельности Совета обвинение или обходит молчанием, или упоминает лишь вскользь. Обвинение касается только того, что составляет преступное деяние с точки зрения действующего закона, а для того, чтобы разрешить этот вопрос, нужно прежде всего выяснить, из кого состоял Совет, или — повторяя выражение подсудимого Авксентьева — каков был социальный состав этого Совета, состав, сумевший совершенно точно отмежеваться и вправо, и влево.

Совет состоял из фабричных и заводских рабочих, причем основанием для выборов не была принадлежность рабочих к определенной политической партии, и в Совет входили как рабочие внепартийные, так и сочувствующие теоретическим идеалам ка-

кой-либо политической партии, так, наконец, и рабочие, входившие в состав политических партий как члены.

Вы, конечно, помните, например, что из числа подсудимых признали себя членами социал-демократической партии такие участники Совета, как: Хрусталеv, Сверчков, Злыднев, Немцов и Комар. Таким образом, Совет пополнялся рядами рабочих, которые имели право решающего голоса и которые частью принадлежали, а частью не принадлежали к политическим партиям, и затем в Совет входили официальные представители двух социалистических партий: партий социал-демократов и социалистов-революционеров.

Тем не менее Совет в полном своем объеме оставался беспартийным, что представлялось, по моему мнению, логически неизбежным, так как тактика Совета соответствовала одновременно программам двух или, вернее, обеих революционных партий, и Совет совершенно закрыл к себе доступ только тем элементам, которые по намерениям и целям своим не могли в нем существовать.

С одной стороны, Совет отмежевался от буржуазии, вы помните отношение Совета, я скажу, пренебрежительное к разным либерально-буржуазным организациям, о которых, например, в «Известиях» говорится, что в то время, как «Союз союзов» писал резолюции,— пролетариат демонстрировал, а когда разные Думы и земства посылали петиции,— пролетариат боролся, являясь, таким образом, «единственным активным деятелем революции». При подобной точке зрения буржуазный элемент был не нужен Совету, а потому в его состав и не включался.

С другой стороны, Совет отмежевался и влево: когда в его двери постучались анархисты и попросили принять их в Совет, им ответили отказом, сказав, что для того, чтобы войти в Совет, нужно обладать одним из двух свойств: или быть представителем рабочих, или принадлежать к социалистической партии. Среди рабочих нет анархистов, сказал Совет, а с другой стороны,— анархисты не партия, и потому анархисты, как и буржуазия, не были допущены в Совет, и он остался в рамках, определяемых целями борьбы рабочего класса.

Гг. судьи, признавая, что Совет был внепартийным, я тем не менее утверждаю, что программы партий социал-демократов и социалистов-революционеров имеют громадное по настоящему делу значение, потому что к ним именно имел тяготение в массах пролетариат, идейно с ними сливавшийся.

Подсудимый Кнунианц, объясняя роль Совета рабочих депутатов в борьбе за социализм, говорил вам, что политика пролетариата есть по существу политика социал-демократической партии и что Совет рабочих депутатов, будучи внепартийным, вел политику социал-демократов. Затем, когда оглашались черновые протоколы заседаний Совета, то перед вами был оглашен один протокол, в котором была отмечена речь одного из ораторов, говорившего: «Мы идем по социал-демократической программе, и большинство из нас социал-демократы».

Вот почему программы партий социал-демократов и социалистов-революционеров имеют для дела большое значение, определяя собой директивы и планы Совета. Обращаясь к их оценке, я считаю себя обязанным быть кратким, исключая целый ряд субъективных выводов и предполагая говорить только о том, что представляется мне несомненным.

Как та, так и другая программа ставят своей ближайшей политической задачей низвержение монархии и создание демократической республики, которая сосредоточивала бы верховную власть в руках законодательного собрания из представителей народа, избранных на основании четырехчленной избирательной формулы.

Демократическая республика не представляла, однако, собой такой цели, вслед за которой программы партий ставили точку; напротив, учреждение республики являлось только способом для осуществления настоящих задач и планов, для проведения в жизнь идеалов социализма и уничтожения буржуазно-капиталистического строя.

В этой части осуществления идеалов партий они между собой расходились; я вскользь напомним прочитанную здесь брошюру Троцкого «Чему учат социалисты-революционеры», что-

бы доказать вам, что разногласия партий происходили исключительно в области выполнения задуманного, а в партийных средствах и тактике для достижения власти партии были совершенно солидарны. Та и другая партия ставили целью своей демократическую республику, а как средство для ее достижения признавали диктатуру пролетариата, т. е., говоря словами социал-демократической программы, «завоевание пролетариатом такой политической власти, которая позволит ему подавить всякое сопротивление эксплуататоров».

Раз это так, то несомненно, что ниспровержение государственного строя и достижение политической власти являлось целью партий. К этому стремилась как их политическая деятельность в ближайшем будущем, так и деятельность солидарного в этом с ними Совета рабочих депутатов, который в целом ряде резолюций подчеркивал свое стремление к ниспровержению строя, установленного основными законами, и, следовательно, представлял собой сообщество преступное в силу 102-й ст. Угол. Уложения, если только при этом доказано, что сообщество это имело в виду ниспровергнуть существующий государственный строй путем насильственным, о чем я и буду говорить дальше.

Здесь перед вами проводился другой взгляд, сущность которого сводилась к тому, что переворот государственный рисовался Совету лишь как отдаленный идеал, как лозунг, ближайшей же задачей Совета было внесение дезорганизации в существующий общественный строй, чтобы путем изменения социального строя подготовить в будущем государственный переворот.

Если это так, то деятельность Совета приобретает характер не мятежа, а смуты, и к лицам изблеченным надлежит применить не 102-ю, а 126-ю ст. Угол. Уложения. При этом я считаю себя обязанным сказать, что в объяснительной записке к Угол. Уложению указано, что сообщества, преследующие цели смуты, логически могут перейти потом в сообщество, преследующее цели мятежа, вследствие чего возможно, что одни участники сообщества стремятся к смуте, тогда как главари преследуют уже

другие цели. В таком случае, говорит объяснительная записка, участники сообщества будут отвечать по правилам о совокупности реальной, т. е. за то, что действительно совершали и теоретически, следовательно, по таким делам возможен смешанный приговор.

Обвинение утверждает, однако, что в настоящем деле, где в резолюциях, совещаниях и речах уничтожение монархии указывается как цель, а вооруженное восстание как средство, где в согласии с программами революционных политических партий выставляется в виде требования демократическая республика, а уже затем реорганизация политического строя, нельзя не признать наличности преступления, указанного в 102-й, а не в 126-й ст. Угол. Уложения.

III. Обвинение утверждает, наконец, что Совет рабочих депутатов не только представлял собой преступное организованное сообщество, но что он проявил свою революционную деятельность в ряде отдельных преступных действий.

Я позволю себе напомнить суду, что по выводам обвинительного акта Совет рабочих депутатов: 1) собирал и расходовал денежные средства на нужды Совета, 2) вел среди рабочих устную и письменную пропаганду, 3) вел также пропаганду, имевшую специальную цель, а именно пропаганду в войсках, 4) обсуждал время и способы активного выступления для борьбы с правительством, обсуждая в то же время способы для ослабления своего политического противника, и 5) изготовлял и раздавал рабочим холодное и огнестрельное оружие.

Обращаясь к отдельным действиям Совета рабочих депутатов, представляется прежде всего несомненным, что Совет имел значительные денежные средства, но большая их часть расходовалась на дело, с точки зрения уголовного права безразличное, а именно, на ликвидацию забастовок, вызвавшую необходимость помощи безработным и образования для того специальных комиссий. Конечно, можно было бы утверждать, что, раз рабочие стачки были политическими, то и ликвидация их, в форме помощи рассчитанным рабочим, есть тоже форма политической борьбы.

Я думаю, однако, гг. судьи, что подобного рода соображениями не должно пользоваться обвинение; там, где идет речь о том, чтобы накормить голодного или помочь больному, там не место розыску, не из революционных ли побуждений это делается.

По поводу денежных оборотов Совета в суд, помимо воли обвинения, внесен такой материал, которого обвинение касаться не желало; по требованию защиты вам было прочитано несколько прокламаций, подписанных «группой русских рабочих», где членов Совета обвиняли в растратах. Я этого не касался в обвинительном акте и не хотел касаться на суде, но, раз меня к тому вынудили, то я скажу, что прежде всего сам не верю в эти растраты, видя в обвиняемых людей идеи, и думаю, что, раз факты растрат ничем не доказаны, то подобного рода анонимные слухи надо считать ложью и клеветой, а разбираться в источниках этой клеветы я лично никакого желания не имею.

Переходя затем к пропаганде Совета, я разделяю ее на два рода: устную и письменную. Устная пропаганда была передана главным образом в виде свидетельских показаний, о недостаточной достоверности которых я уже говорил, а из числа устных речей в «Известиях» занесено только три речи, произнесенные одним и тем же лицом — Бронштейном.

Первая речь имеет своим предметом вопрос о создании дружин на заводах, вторая представляет собой доклад Бронштейна по поводу посещения им одного митинга и, наконец, третья — это ответ Бронштейна польской депутации, который, по словам номера пятого «Известий», был закончен напоминанием, что пролетариат «должен напрочь все усилить, чтобы раздавить ненавистную монархию, всех царей и их приспешников».

Раз я коснулся речей Бронштейна, то позвольте мне на минуту отвлечься к одному эпизоду, который не имеет значения для ответственности обвиняемых, но упоминание о котором вызвало такие резкие протесты Бронштейна. В обвинительном акте был описан приезд в заседание Совета гласного Петербургской Думы, которым был, как здесь установлено, присяжный поверенный Оппель. Он убеж-

дал рабочих не устраивать траурной демонстрации на похоронах, и после его речи раздались аплодисменты, что, по словам свидетеля Шишкина, вызвало замечание Бронштейна: «Удивляюсь, как можно аплодировать подобным буржуа». Когда об этом говорили здесь, то Бронштейн заявил, что, так как подобное выражение значения для ответственности иметь не может, то, очевидно, прокурор включил это в обвинительный акт, чтобы подчеркнуть «вандализм» членов Совета.

С первой строки обвинительного акта и до сегодняшней речи, гг. судьи, я считал недопустимым касаться личностей обвиняемых, но я упомянул о выражении Бронштейна потому, что считал себя обязанным подчеркнуть и в этом случае классовую непримиримость Совета. Я находил характерным, что, когда человек приехал в Совет из соображений сочувствия и расположения к рабочим, то его встретили там так неприязненно, и я счел нужным это отметить. Теперь, после объяснений присяжного поверенного Оппеля и разъяснения, которое дал Бронштейн, я прихожу к выводу, что свидетель Шишкин неверно понял сказанное, и полагаю, что больше нет надобности возвращаться к этому мелкому инциденту.

Перехожу затем к вопросу о письменной пропаганде Совета, которая нашла себе главным образом выражение в «Известиях», и так как «Известия» эти уже читались, то я позволю себе подчеркнуть лишь самое рельефное из числа отдельных статей и резолюций Совета.

В передовой статье, помещенной в номере втором «Известий», говорится: «Революционная борьба пролетариата против царского правительства идет своим чередом. Мы знаем, что народная свобода может быть воздвигнута не на указах царской шайки, а на ее костях». «Когда петербургский народ возьмет в руки ружье, он на кроваво-красных стенах Зимнего дворца напишет концом штыка свой великий указ. Это будет указ смерти царскому правительству и указ свободной республиканской жизни для народа». Далее в статье говорится, что «впереді жестокая борьба, для борьбы нужно оружие, для народного вооружения нужны средства».

Это — газетная статья, а не резолюция Совета, перед вами это было подчеркнуто, но я не вижу в этом разницы. «Известия» издавались Советом, он скреплял их своей подписью, они проникали в массы, и совершенно безразлично в смысле пропаганды, в какой форме распространялись подобного рода статьи среди рабочих.

В том же номере «Известий» помещен отчет о посещении депутацией Совета Городской Думы, и в отчете об этом говорится, будто бы один рабочий сказал председателю Думы, что «рабочий класс нуждается в полном политическом равенстве, в демократической республике... и что каждый человек должен определить свою позицию... С царем против народа, или с народом против царя». Оценивать точность этого отчета приходится по двум источникам, которые друг другу противоречат, и не знаешь, которому верить. С одной стороны, допрошенные свидетели: граф Тизенгаузен, профессор Острогжский и присяжный поверенный де Плансон удостоверяли, что подобной революционной речи произнесено не было, а с другой стороны, нет никаких оснований думать, что факты в «Известиях» излагались неверно, когда они касались речей самих членов Совета. Однако и то, и другое толкование говорит в пользу обвинения. Если было так, как записано в «Известиях», а свидетели просто запаматовали, то, значит, член Совета произнес в Думе явно революционную речь; если же свидетели правы, то, значит, составители «Известий» извратили факты и до рабочих масс речь рабочего дошла именно в революционной форме.

Затем, в третьем номере «Известий» помещена резолюция Совета от 19 октября о прекращении стачки, которая заканчивается сообщением, что пролетариат прекращает стачку, чтобы «готовить боевые кадры в целях еще более внушительной и величественной атаки на шатающуюся монархию, которая окончательно может быть сметена лишь победоносным вооруженным восстанием».

В том же номере помещена передовая статья, где говорится: «Рабочий класс сам хочет быть хозяином в стране и потому требует демократической республики. Царь так же мало нужен народу, как и царские холопы.

Ни злодейский приказ «не жалеть патронов», ни предательский манифест 17 октября не могут изменить тактики пролетариата. Чего не даст стачка, то будет достигнуто победоносным вооруженным восстанием».

Тут же помещена статья «Царский манифест и наши требования», в которой говорится: «Могучее оружие всеобщей забастовки в наших руках, и если мы временно прекратим ее, то лишь затем, чтобы с большей силой, с еще большей стремительностью ударить на врага, и мощным взрывом всенародного вооруженного восстания смести последние следы деспотизма».

Наконец, в том же номере помещена статья, имеющая тактический характер и озаглавленная: «В рядах и колоннах вперед». В статье этой сообщается следующее: «Витте знает, что народ не успел организовать и вооружиться... но мы удесятим свои силы... заводы и фабрики разобьются на десятки, сотни и тысячи, которые выберут своих командиров... каждый отряд приложит все усилия, чтобы вооружиться револьверами, ружьями и проч. ...Организация сделает нас сильнее, и мы с голыми руками сумеем достать оружие... и победить темных защитников озверелого правительства». Затем из остальных статей я позволю себе указать лишь на две.

В шестом номере «Известий» помещен «Ответ графу Витте» на его известную вам телеграмму, начинающуюся словами: «Братцы-рабочие»; в ответе этом говорится, что Совет объявляет прекращение забастовки, чтобы организовать и вооружить рабочие массы: «Для решительной атаки на правительство Витте, прикрывающее преступную монархию».

Наконец, в передовой статье 7-го номера, объясняя причины прекращения ноябрьской стачки, «Известия» говорят: «Стачка-протест, стачка-манифестация окончена, чтобы в надлежащее время объявить стачку-битву. Готовьтесь же к окончательной битве с царизмом, товарищи. Сердца солдат теперь для нас открыты. Идите к ним, зовите их к нам, организуйтесь, вооружайтесь, товарищи, и мы освободим нашу родину от проклятого самодержавия».

Я думаю, гг. судьи, что содержание прочитанных статей представляется

столь несомненно революционным, что доказывать это мне не приходится. Невозможно найти хоть какое-нибудь объяснение, которое делало бы все эти воззвания и статьи безразличными в смысле состава в них преступления. Разве только могло бы прийти в голову то соображение, что статьи эти написаны людьми, которые сами думали не так, как писали, и что содержание «Известий» это, так сказать, революционная фразеология, тогда как мысли, лежавшие в основании статей, были сдержаннее и желания скромнее.

Несостоятельность такого предположения, однако, очевидна, так как несомненно, что Совет рабочих депутатов состоял из серьезных и определенно мыслящих людей, отдававших себе полный отчет в том, что они делали.

Но даже если бы указанное предположение было допустимо, то тем не менее мы не должны забывать, что в рабочие массы пропаганда Совета проникала в форме, приданной ей «Известиями», а подобного рода яркие фразы, конечно, должны были оказывать в массах неизмеримо большее влияние, чем распространение партийных теоретических доктрин, изложенных сухим научным языком.

Пропаганда в войсках специально составляла заботу Совета и имела свою отдаленную цель, о которой нам говорили сами обвиняемые. Ноябрьская забастовка была вызвана стремлением выразить сочувствие кронштадтским матросам, которым грозила смертная казнь, и я не сомневаюсь, что подсказана была мысль о забастовке не только действительным сочувствием к матросам, но и утилитарной, так сказать, целью, а именно намерением подготовить почву для перехода войск на сторону революции. Этой цели не отрицали и сами подсудимые, объясняя вам, что стачка должна была показать флоту и армии расположение к ним рабочих масс, а располагая войска в свою сторону, стачка ослабляла вражду или возможность вражды в случае столкновения, обеспечивая переход войск на сторону народа. В целях этой специальной пропаганды Совет создал целый ряд воззваний и резолюций.

В номере третьем «Известий» помещено в форме прямого обращения

к армии воззвание под названием «Братья-солдаты». В нем говорится, между прочим: «Час расправы со всеми кровопийцами, с царем во главе, приближается, он почти настал. Солдаты, именем борющегося за освобождение народа мы призываем вас не жалеть патронов для уничтожения народных угнетателей с царем во главе! Мы призываем вас не стрелять в народ, а переходить к нему и передать оружие, арсеналы, пушки и пулеметы. Вы знаете, кто негодяй и кто друг народа из ваших офицеров — стреляйте и колите тех, кто командует убивать народ».

Затем тут же помещена резолюция, будто бы принятая на митинге военных, где сообщается, что «ораторы нижние чины и офицеры, принадлежащие к военной организации партий социалистов-революционеров и социал-демократов, давали целый ряд практических указаний, как действовать при народном восстании военным, примыкающим к революции».

В номере пятом помещено воззвание, обращенное к солдатам Петербургского гарнизона, следующего содержания: «Мы, делегаты Совета рабочих депутатов, объявляем 2-го ноября политическую забастовку. Наши требования: освободить немедленно кронштадтских матросов и солдат от военно-полевого суда и смертной казни. Солдаты и матросы, рабочие поднимаются за ваших братьев, которых хочет замучить царское правительство. Подадим же друг другу руки и спасем наших братьев матросов, которым грозит смерть».

Кроме этих резолюций и отдельных статей, помещенных в «Известиях», в типографии «Новой жизни» найдено при обыске 217 экземпляров прокламации издания Исполнительного комитета Совета рабочих депутатов, под заглавием: «К солдатам и матросам», приблизительно такого же содержания, как все, только что мною прочитанное.

Наконец, при обыске у Хрусталева, в доме № 25 по Торговой улице, была найдена записка о том, что желательно доставлять соответствующую литературу унтер-офицеру Новочеркасского полка Рыжикову. Из сопоставления всего сказанного видно, что Совет для своих целей считал пропаганду среди войска необходимой и

для осуществления ее последовательно принял целый ряд мер.

Совет обсуждал затем, как это утверждает обвинение, способы и время выступления для открытой борьбы с правительством и средства ослабления противника. Это видно из сопоставления нескольких отдельных моментов жизни Совета. 25 ноября состоялась резолюция Совета рабочих депутатов о том, что Совет не дает еще сигнала к всеобщему выступлению. Прошел день; председатель Совета был арестован, и 27 ноября Совет составляет новую резолюцию, в которой говорит, что «Совет продолжает готовиться к вооруженному восстанию»... И в том же заседании, как сегодня вы слышали из отчета «Петербургского листка», Исполнительный комитет заявляет, что он будет впредь заниматься организацией вооруженного восстания.

Для ослабления правительства в целях этого восстания Совет 29 ноября обсуждал, а потом 2 декабря издал рабочий манифест к народу⁴. Содержание этого манифеста так часто повторялось перед вами, так подробно всем известно, что я полагаю лишним повторять его перед вами теперь. Манифест имел целью привести правительство к банкротству, чего не отрицали подсудимые, и я позволю себе лишь обратить ваше внимание на практические результаты этого манифеста. Как видно из справки управляющего Государственными сберегательными кассами, прилив взносов в сберегательные кассы за декабрь месяц 1905 года упал в сравнении с средней цифрой поступлений за декабрь предшествовавших трех лет на 94 миллиона рублей, и эта цифра свидетельствует вам о том, насколько широко манифест повлиял на массы.

Совет собрался в следующий раз 3 декабря, и Исполнительный комитет приступил к обсуждению вопроса о времени выступления пролетариата.

Вы помните, конечно, подробности этого заседания из черновика протокола, которому я придаю большое значение. Один из участников совещания, называемый в черновике сокращенным именем Антон, говорил, что необходима немедленная забастовка с вооруженным выходом на улицу. Другой представитель партии

социалистов-революционеров возражал, что за 7 последних дней ничего не изменилось и что 7 дней тому назад по обсуждению вопроса о выступлении вопрос этот был решен отрицательно, вследствие чего оратор высказался против выступления. Наоборот, Шанявский говорил за выступление (т. е., я оговариваюсь, не Шанявский, а, по точному тексту протокола, лицо, обозначенное инициалами «П. Т.»).

Один из представителей районов доказывал, что пролетариат не может выступать, потому что он не вооружен, причем оратор сказал, между прочим: «Мы вооружены лишь постольку, поскольку на нашу сторону перейдут войска». Наконец, один из членов совещания также указывал, что пролетариат не готов к открытому выступлению, и полагал, что, если выступление это неизбежно и если оно будет произведено немедленно, то это будет последняя ставка, или, как он выразился, «ва-банк».

Дальнейшее совещание о времени выступления было прервано арестом всего состава Совета рабочих депутатов.

Последней, наконец, категорией деятельности Совета рабочих депутатов, на которую я должен указать, являлось изготовление оружия и раздача его депутатами рабочим.

Обращаясь к этой части деятельности Совета, я позволю себе несколько вернуться обратно к высказанным уже мною положениям. Я говорил вам, гг. судьи, что я придаю большое значение свидетельским показаниям лиц, которые впервые явились перед вами и которые описывали внешние условия, при которых действовал Совет рабочих депутатов.

Из сопоставления этих показаний с данными дознания перед судом создались две параллельные картины: одна картина — дознания, которая сложилась под такими впечатлениями, как записки неразысканного Богданова о доставлении ему транспортов оружия и как заметки черновиков о вооружении тысяч рабочих без точного указания целей вооружения, причем все это уснащалось рядом виновных резолюций о восстании, и таким образом казалось несомненным, что приобретение оружия имело

своей непосредственной целью приготовление к вооруженному восстанию.

Перед вами обрисовалась другая картина: длинный ряд свидетелей описывал картины тревоги и боязни погрома в Петербурге в конце октября минувшего года, и, безотносительно к тому, насколько тревога эта была основательна, свидетели эти установили, что рабочим субъективно тревога казалась основательной, что они боялись погромов и могли вооружиться для самозащиты.

Так говорили вам свидетели, и то же самое заявил вам подсудимый Хрусталеv-Носарь. Он говорил, что Совет рабочих депутатов действительно приобрел несколько сот револьверов, но исключительно в целях защиты, хотя, конечно, на них не было клейма, делавшего их пригодными только для самозащиты, и в случае восстания эти револьверы сыграли бы свою роль, хотя куплены они были не для восстания.

Сопоставляя данные дознания с данными судебного следствия, гг. судьи, я прихожу к следующему выводу: я, говоря словами закона, заявляю суду по совести, что от обвинения всех подсудимых в преступлении, предусмотренном 101 ст. Уложения, т. е. в приготовлении вооруженного восстания,— я отказываюсь.

Этот отказ для суда не обязателен и в то же время говорит в пользу обвиняемых, вследствие чего я позволю себе несколько подробнее мотивировать его причины.

Приготовление к преступлению, с точки зрения закона, с точки зрения 50-й статьи Угол. Уложения, это «приобретение или приспособление средств для приведения в исполнение задуманного», другими словами, непосредственно вслед за приготовлением должно следовать выполнение, и мы можем говорить о наказуемом приготовлении лишь тогда, когда сделано все, что нужно, для осуществления преступного посягательства.

Обвинительный акт уж указывал на весьма незначительное количество заготовленного оружия, но в связи с другими данными дела целью приобретения оружия представлялось тогда приготовление к восстанию, и приобретение это принимало характер технической подготовки восстания. В связи с вооружением вся остальная

часть деятельности Совета входила, с точки зрения обвинения, в то же понятие технического приготовления к вооруженному восстанию, ввиду сложности выполнения восстания. Но раз судебным следствием опровергнута непосредственная цель вооружения, то обвинение не считает возможным настаивать на доказанности технической подготовки восстания, и, конечно, одновременно отпадают в смысле такой подготовки все остальные способы действий Совета для приготовления вооруженного восстания.

Если мы признаем, таким образом, невозможным применить к деятельности Совета рабочих депутатов самостоятельное обвинение по 101-й ст. Уложения, то и в этой части обвинения окажется, что я утверждаю именно то, что признавали обвиняемые в документах, перед вами оглашенных. Совет рабочих депутатов, пишут обвиняемые Центральному комитету, путем агитации в массах проводил идею неизбежности восстания, Совет подготовлял организационную базу для восстания, а это и есть политическая подготовка вооруженного восстания.

То же самое теперь перед вами заявляю и я, утверждая, что, если Совет технической подготовкой восстания и не занимался, то политически он восстание подготовлял, т. е., другими словами, он признавал необходимость, неспровергая строй, идти путем насилия, а это признание необходимости насилия, как средства для достижения цели, имеет большое значение для суда.

Если суд разделит мои соображения, т. е. признает, что Совет, не приступив еще к технической подготовке восстания, стремился, однако, неспровергнуть существующий строй именно путем насилия, то этот признак насильственности вольется в понятие 102 ст. Уложения, и, таким образом, все требуемые для применения этой статьи признаки будут на основании данных дела заполнены.

Я, со своей стороны, утверждаю, что состав преступления, предусмотренного 102 ст. Угол. Уложения, по делу установлен, и поэтому я поддерживаю теперь перед вами обвинение по этой статье закона.

Обязанность моя, однако, гг. судьи,

сводится не только к выводам, касающимся дела вообще, но и к представлению доказательств виновности отдельных лиц, суду вашему преданных. В этом отношении я буду краток, потому что считаю теперь возможным основываться только на таких уликах, которые признаны самими обвиняемыми и которые, следовательно, с фактической стороны не могли бы быть опровергнуты, все же остальное я из своих соображений исключаю. С этой точки зрения обвиняемые распадаются на пять групп.

К первой группе принадлежат все члены Совета рабочих депутатов и в то же время члены социал-демократической партии, которые подписали известное вам письмо Центральному комитету, а именно: Хрусталева-Носарь, Бронштейн, Сверчков, Зборовский, Кнунианц и Вайнштейн. Я полагаю, что, подписывая это письмо, подсудимые тем самым признали все данные, на которых я строю обвинение, а поэтому распространяться об их деятельности детально, я думаю, излишне. Излишне тем более, что такие деятели Совета, как Хрусталева, Бронштейн, Сверчков и Злыднев — первый, как председатель Совета, а остальные, как заместители его в роли президиума, — одухотворяли собой всю деятельность Совета, и говорить об их деятельности — значит повторять все сказанное по вопросу о составе преступления.

Из этой группы лиц я должен, впрочем, остановиться на Зборовском, по вопросу судопроизводственному. Защитник Зборовского, присяжный поверенный Зарудный, указал вам на дефект дознания, заявив, что Зборовский не был привлечен к настоящему делу. Если это так, то это чрезвычайно серьезное нарушение, так как, значит, Зборовскому не было предъявлено обвинения, но в данном случае нарушение сводится, мне кажется, лишь к несоблюдению формальности. В первом постановлении о привлечении Зборовского по делу о втором составе Совета сказано, что он привлекается в качестве обвиняемого по тем же статьям закона за принадлежность к Исполнительному комитету, без указания, к какому именно Совету он принадлежал, затем составлено было постановление о признании Зборовского принадлежащим к составу

первого Совета рабочих депутатов, и это постановление не было ему предъявлено. Таким образом, я думаю, что хотя, конечно, формально Зборовскому следовало предъявить вновь обвинение в принадлежности к первому составу Совета и допросить его вторично по этому обвинению, но, ввиду идентичности состава преступления, я полагаю, что нарушение нельзя считать серьезным, лишаящим суд возможности решить вопрос о виновности Зборовского.

Если, однако, особое присутствие не разделит моего взгляда, то тогда оно, я думаю, не может вообще решить теперь вопроса о виновности Зборовского. Раз, по мнению палаты, обнаружено такое новое обстоятельство, которое требует возвращения дела к доследованию, для того чтобы восполнить упущение дознания, то только это и может быть сделано, подобно тому, как по обыкновенному уголовному делу, с участием присяжных заседателей, было бы при отсутствии привлечения обвиняемого невозможно вручить присяжным заседателям вопросный лист.

Заканчивая затем свои объяснения по поводу первой группы подсудимых, я считаю долгом напомнить суду, что повторными и настойчивыми вопросами подсудимого Сверчкова было установлено, что обвиняемый Вайнштейн был избран в Совет 3 ноября, но в состав Исполнительного комитета вошел лишь после ареста Хрусталева, когда Сверчков был избран в президиум.

Ко второй группе подсудимых принадлежат представители партии социалистов-революционеров Авксентьев и доктор Фейт. Как тот, так и другой признали себя делегированными в Совет рабочих депутатов партией социалистов-революционеров и пользовались в Совете, так же, как и другие представители партий, правом совещательного голоса, причем я считаю установленным, что партийные представители менялись в Совете, т. е. на каждое заседание Совета приходили не одни и те же лица, а разные. Нет, однако, никакого сомнения в том, что партия посылала в Совет своих делегатов, чтобы проводить и там свою программу, а участие в сообществе для выполнения программы социалистов-революционеров и заключает в

себе именно, по моему мнению, признаки преступления, караемого по 102 ст. Угол. Уложения.

Третью группу подсудимых составляют лица, которые сами признали свою принадлежность к Исполнительному Комитету Совета рабочих депутатов, а именно: Немцов, Киселевич, Стогов, Комар, Расторгуев, Шанявский, Бабин и Полетаев. Первоначально, по письменному материалу, я предполагал, что Исполнительный Комитет представлял собой нечто вроде правления Совета, т. е. что именно им возбуждались все разрешавшиеся в Совете вопросы. Теперь на суде установлено, что это не совсем так: к деятельности Комитета относились: 1) обсуждение «порядка дня», т. е. общей системы вопросов, которые должны были обсуждаться в данном заседании, 2) издание «Известий Совета рабочих депутатов», хотя издание это, по словам Хрусталева, выполнялось не всем Исполнительным Комитетом, а только небольшой группой его членов, в точности на суде не установленных, и 3) наконец, несомненно, бывали случаи, когда Исполнительный Комитет обсуждал самостоятельно отдельные вопросы. Это мы знаем хотя бы потому, что 3 декабря Исполнительный Комитет был арестован в то время, когда отдельно от Совета обсуждал вопрос об активном выступлении.

Мы знаем, что рабочие уже высказались по поводу ареста Хрусталева, и результатом этого была резолюция от 27 ноября, а 3 декабря, однако, Исполнительный Комитет перешел вновь к обсуждению способов борьбы с правительством, и, значит, мне кажется, в данном случае Исполнительный Комитет проявил личную инициативу. Словом, я думаю, что сопоставление, которое сделал здесь на суде Хрусталева, говоря об отношениях Совета и его Исполнительного Комитета, совершенно правильно, а именно: если Совет рабочих депутатов можно назвать рабочим парламентом, то Исполнительный Комитет был его ответственным министерством.

С точки зрения улик против отдельных лиц, принадлежащих к третьей группе, я могу указать, что из них: Немцов признал, что он был членом социал-демократической пар-

тии, участвовал в проведении забастовки на канатной фабрике Гот и был одним из делегатов, ездивших депутатами к графу Витте. Точно так же ездил к графу Витте и Киселевич, который, видимо, нес активную роль в Комитете, хотя записи он вел в заседаниях, быть может, не потому, что исполнял обязанности секретаря, а потому, что был корреспондентом газеты «Русь», секретарями же Совета было несколько женщин. Подсудимый Стогов распространял в трактире «Лондон» № 7 «Известий» и раздавал оружие, чего он сам не отрицает. Комар, признавший себя членом социал-демократической партии, произнес речь, которая, несомненно, сохранилась у вас в памяти, гг. судьи, и которая доказывает, что Комар сознательно отождествился к революционной деятельности Совета, так как он выражал здесь сожаление, что Совету не удалось водрузить красное знамя на здании русского Учредительного собрания. Должен, однако, оговориться, что вопрос о пропаганде Комара в войсках не может служить теперь против него уликой, так как это было уже предметом судебного приговора и за это он Судебной палатой был уже осужден.

Не буду я затем много говорить о показаниях Расторгуева и Шанявского, которые они дали при допросе,— эти показания равносильны сознанию, так как из них надо сделать вывод, что Шанявский и Расторгуев были членами Исполнительного Комитета, знавшими директивы Совета, а следовательно, принимали они участие в его деятельности совершенно сознательно. Что касается подсудимых Бабина и Полетаева, то, кроме их собственного признания в том, что они были членами Исполнительного Комитета, обвинение не имеет против них улик, и я считаю своим долгом напомнить судьям, что свидетели утверждали, будто Полетаев советовал рабочим своего завода разоружиться, а в Исполнительный Комитет он был избран лишь 3 декабря, т. е. в день ареста.

Четвертую группу подсудимых составляют: Гольнский, Сильверстов, Симановский, Бобров, Петров, Красин и Луканин.

Они не входили в состав Исполнительного Комитета, а были лишь ак-

тивными членами Совета. Голынский вместе с Сильверстовым согласно циркуляру Хрусталева проводил почтово-телеграфную забастовку и являлся для этой цели в квартиры Шахт и Благовещенской, и, кроме того, он, по его признанию на следствии, участвовал в размножении «Известий» в типографии «Нового времени» и по дороге туда роздал своим соучастникам 9 револьверов.

Раз я заговорил о «Новом времени», то позвольте мне сказать, что характеру печатания «Известий» обвинение придает исключительно эпизодическое значение, причем самый эпизод обрисовался теперь не совсем таким, каким он представлялся раньше. Несмотря на двукратное назначение дела к слушанию, свидетели Алексей и Михаил Суворины, поручик Васмунд и свидетель Гольштейн не могли быть нами выслушаны, так как они не явились, а основываясь на показаниях допрошенных здесь свидетелей, я должен сказать, что картина насильственного захвата типографий прошла на судебном следствии слабее, чем на следствии предварительном, так что возможно допустить, что собственно захвата типографий не было, а дело, в сущности, сводилось к угрозам, которые ни разу не были осуществлены.

Подсудимый Арсений Симановский также участвовал в печатании «Известий», а кроме того, вы припомните, какое он принимал участие в обсуждении вопроса о протесте по поводу ареста Хрусталева, причем приводил для примера случаи, когда где-то был арестован полицейский чин, чтобы тем вынудить освободить какого-то арестованного; впрочем, конечно, это был только пример, а не предложение способа, который бы Симановский советовал привести в исполнение. Наконец, взгляд Симановского на значение Совета рабочих депутатов определяется характерным письмом, посланным им в одну из газетных редакций. Симановский пишет в этом письме, что, хотя он и получил повестку о явке в жандармское управление, но по повестке не явится, так как вообще считает, что никакому суду не подлежит, пока он состоит членом Совета рабочих депутатов. Подобная точка зрения ясно показывает, как именно понимал Симановский права Совета и какое

значение он придавал этой политической организации. Подсудимые Бобров и Петров изобличаются в том, что раздавали рабочим оружие, но разница между ними заключается в том, что Бобров признает это, а Петров отрицает, хотя экспертиза признает, что подпись на записке о выдаче оружия сделана Петровым. Что касается, наконец, последних подсудимых этой группы, а именно Луканина и Красина, то они признали на дознании свою принадлежность к Совету рабочих депутатов, заявив тогда же, что они признают себя виновными. Вам, гг. судьи, предстоит решить на основании их показаний, значит ли в их понимании выражение «я признаю себя виновным» лишь признание, что они были членами Совета, и только, или же они сознательно признавали себя виновными в преступной деятельности Совета. По этому поводу я напоминаю вам, что Луканин, признавая себя виновным в участии в деятельности Совета, добавил, что ниспровержение существующего строя казалось ему необходимым для улучшения быта рабочих, и, таким образом, он субъективно признал самую цель своего участия в Совете.

Ко всем перечисленным подсудимым я считаю правильным применить 102 ст. Угол. Уложения, к подсудимым же последней группы, т. е. к Шевченко, Филиппову и Клейцу, которые печатали «Известия», я полагаю, нельзя применить указанную статью закона, так как, сопоставляя объяснения подсудимого Хрусталева с другими данными дела, я прихожу к заключению, что эти три лица членами Совета не были и, следовательно, по 102 статье ответственны быть не могут. Лица эти двукратно размножали «Известия», причем, однако, соответствующие номера «Известий» получили распространение не через них. На следствии перед нами проходили и другие лица, которые печатали «Известия», которые, однако, остались свидетелями и говорили вам: «Меня взяли на улице, и я печатал». Разница в данном случае заключается, однако, в том, что Шевченко, Филиппов и Клейц — первые двое свидетельскими показаниями, а последний собственным признанием — изобличены в том, что приняли повторное участие в размножении, печатая «Известия» и в «Новом време-

ни», и в «Нашей жизни», а следовательно, участие их случайным не было.

Здесь я должен остановиться на юридическом построении 2 ч. 132 ст. Угол. Уложения, которая карает за размножение с целью распространения, если самое распространение не последовало. В законе нет другой статьи, которая говорила бы о последствиях размножения в тех случаях, когда распространение затем имело место, но я думаю, что к такому деянию, очевидно, подходит 129 ст. Угол. Улож., потому что если человек размножает с целью распространения, то целью его действий является именно распространение, которое заканчивается собой задуманное преступление. Размножение в таких случаях — это лишь одна из форм участия в распространении, на что указывает и объяснительная записка к Уложению, разъясняя, что для ответственности по 129 статье будет совершенно безразлично, распространяет ли преступное воззвание физический виновник размножения или другое лицо с его ведома и согласия.

Таким образом, для ответственности подсудимых надо, чтобы они знали, что печатают «Известия» для распространения, а печатая в «Новом времени» 30 тысяч экземпляров того же номера, они не могли не знать, что номера эти получают распространение, а не предназначаются для хранения в каком-нибудь архиве.

Из всего числа преданных суду лиц остается, таким образом, двое подсудимых, о которых я еще не упоминал: это Мосалев и Коссовский. Мосалев, как удостоверили свидетели, 16 ноября был командирован в Совет союзом железнодорожных служащих для того только, чтобы узнать намерения Совета, т. е. с информационными целями, причем если бы Совет решил стачку, то, по словам свидетелей, Мосалев должен был заявить, что железные дороги не могут к ней примкнуть. Коссовский, как корреспондент газеты «Свободное слово», из желания проникнуть в Исполнительный Комитет раздобыл себе билет, удостоверивший, что он будто бы делегат железнодорожного союза в Исполнительном Комитете, чего в действительности не было, и явился он в заседание 3 декабря как корреспондент.

При таких условиях я нахожу, что

поддерживать против Мосалева и Коссовского обвинение невозможно, и потому от обвинения их я отказываюсь, в отношении же остальных подсудимых поддерживаю обвинение по 102 ст. Уложения, кроме Шевченко, Филиппова и Клейца, которых прошу признать виновными по 1 п. 129 ст. Угол. Уложения.

Этим я мог бы кончить свое обвинение, но пределы, которые принял судебное следствие, вынуждают меня сказать еще несколько слов.

Вопрос о вменении почти никогда не возникает по делам о преступлениях государственных, и это вполне естественно, так как это преступления идейные, и следовательно, сознательность деяния не возбуждает сомнения. В это дело, однако, по-видимому, внесено предположение, что если обвиняемые и нарушили закон, то действуя в таких условиях, которые создали для них, говоря словами закона, «неведение преступности деяния», делавшее в силу 43 ст. Угол. Уложения преступное деяние их ненаказуемым.

Я говорю об отношении исполнительной власти к Совету рабочих депутатов и, безотносительно к подробностям этих отношений, полагаю, что исполнительная власть ни при каких условиях не может отменять действующих законов, и дозволение этой власти не может устранять преступности деяния.

Положение это нельзя не считать правильным; и неведение преступности деяния нельзя отнести исключительно к заблуждениям фактическим, а не юридическим. Если мы обратимся к объяснительной записке Уголовного Уложения, то убедимся в том, что ссылка обвиняемых на то, что они считали свои деяния законом не воспрещенными, не может иметь никакого влияния на уголовную ответственность.

В данном случае, я полагаю, не может быть даже места для такой ссылки, ибо невозможно допустить, чтобы кто-либо мог считать дозволенной при любом государственном устройстве проповедь вооруженного восстания и насильственного изменения государственного status quo.

Если, однако, у обвиняемых и существовали сомнения относительно дозволенности их действий, то сомнения эти должны были рассеяться 26

ноября при аресте Хрусталева, а мы знаем, что на этот арест Совет рабочих депутатов на следующий же день ответил объявлением *ugbi et ogbi*⁵ о том, что он продолжает готовиться к вооруженному восстанию, а через неделю Исполнительный Комитет начал обсуждать конкретный вопрос о способах и времени выступления, хотя, по собственным словам участников заседания, знал о грозящем ему аресте и, следовательно, не мог не знать, что власть признала политическую деятельность Союза законом воспрещенной.

Я далек, однако, от мысли, чтобы сказать, что взаимные отношения исполнительной власти и Совета рабочих депутатов не должны быть вовсе предметом вашей оценки.

Разбирая дело в эпоху сравнительного политического затишья, суд должен мысленно перенестись в ту своеобразную эпоху, которая отделяла 17 октября минувшего года от дня ареста Совета и которая во время следствия пронеслась перед вами со всеми своими подробностями и деталями.

Когда суду придется остановиться на определении меры и степени ответственности того или другого обвиняемого, тогда суд не может забыть, что новые условия жизни создали у всех нервное к ней отношение и заставили на время забыть холодное спокойствие и осторожный расчет.

Гг. судьи, я кончил свое обвинение.

По силе разума своего, я выполнил лежавшую на мне трудную, сложную и, говорю совершенно откровенно, тяжелую задачу. И я чувствую себя спокойным перед собственной совестью. Совесть подсказывает мне объективную правильность моего конечного вывода из дела.

Вывод этот следующий.

В водовороте политической жизни, охватившем всю Россию, а в частности Петербург, после 17 октября минувшего года, Совет рабочих депутатов своей политической деятельностью вторгся в такое русло, вход в которое загражден законом, но сделал это он в такое время, когда в силу событий сдвинулись со своих мест все составные части громадного механизма и не успели еще освоиться и укрепиться на тех новых устоях, которым суждено в будущем регулировать даль-

нейшее течение русской государственной жизни.

Я кончил... Палата объявляет перерыв, и все с шумом удаляются в совещательную комнату.

Первым ко мне подошел экспансивный П. К. Камышанский и, сказав несколько любезных фраз, добавил:

— Жаль, что ты меня не предупредил об отказе от обвинения по 101 ст., и, кроме того, я боюсь, что «лирика» в конце твоей речи может дать для тебя самого нежелательные наслоения. Лучше было бы «не пускать» этой лирики.

Сановники и чиновники своих мнений не высказывают или ограничиваются любезно-бесцветными фразами. Так и чувствуется в этих нерешительных отзывах сомнение: «А что-то еще из всего этого выйдет?..»

Но в эту минуту мне решительно все равно, что из этого выйдет. Я испытываю совершенно искреннее ощущение спокойной совести и свалившейся с души громадной тяжести. Уходя из суда, я хочу только отдыха, хочу хоть на время совсем забыть о процессе.

На следующий день, 19 октября, при совершенно пустом зале были оглашены вопросы. Палата совещалась в течение трех часов, и к пяти часам вечера был вынесен приговор.

Хрусталева, Троцкий, Сверчков, Злыднев, Зборовский, Кнунианц, Авксентьев, Немцов, Киселевич, Фейт, Вайнштейн, Голынский, Комар, Шаняевский и Симановский были признаны виновными по 102 ст. Уг. Ул. и приговорены к ссылке на поселение.

Стогов и Шевченко приговорены к заключению в крепости по 129 ст. Уложения.

Коссовский, Мосалев, Бабин, Полетаев, Расторгуев, Сильверстов, Бобров, Петров, Красин, Луканин, Филиппов и Клейц — оправданы.

Обвинение всех подсудимых в приготовлении вооруженного восстания признано недоказанным, и по этому обвинению все подсудимые оправданы.

Провозглашение приговора происходило также при совершенно пустом зале; только официальные представители власти да газетные сотрудники по обязанности присутствовали при чтении резолюции,

Публика отсутствовала; не пришли даже родные подсудимых. Общественное мнение как бы демонстративно говорило суду:

«Ваш приговор нам не интересен...»

Палата удалилась на совещание. Оно длилось недолго, и затем палата объявила определение о заключении под стражу подсудимых, находившихся на свободе, и об удалении всех подсудимых в Дом предварительного заключения.

Все сразу зашумело и задвигалось в зале. Подсудимые уходили через маленькую дверь за скамьей подсудимых; жандармы окружали тех, которые до этого момента были на свободе, и одновременно с подсудимыми ушла и публика, как бы подчеркивая, что ее интерес к процессу исчерпан.

IX ПОСЛЕ ПРОЦЕССА

Приговор был вынесен около шести часов вечера, а на следующее утро я уже был на Балтийском вокзале и торопился уехать к родным в деревню, в довольно глухой угол Ямбургского уезда. Двухнедельный отпуск я себе выговорил еще раньше и теперь жаждал только одного: забыть хоть на время о процессе, уйти от политических вопросов, забыться и отдохнуть не столько физически, сколько отдохнуть душой, после той сложной и мучительной работы, которую пришлось вынести за время процесса.

Пусть судит читатель, поскольку этот желанный отдых мне удался. Приехал я на вокзал рано, и, как только подали поезд, я вошел в совершенно пустой вагон и испытывал наслаждение одиночества. Под окном стояли кондуктора и о чем-то разговаривали; обрывки их разговоров доносились до меня.

— Наших депутатов не больно строго осудили, — говорил один голос, — без каторги, слава Богу, обошлось. А в газетах писали, что им каторги не миновать.

— Да, без каторги прошло, — согласился другой голос. — Прокурор Бальц совсем мало обвинял...

Ощущение покоя немедленно отлетело от меня. Я подошел к окну и хотел прислушаться к дальнейшему разговору, но говорившие отошли от вагона, и, кроме этого отрывка, мне

ничего услышать не пришлось. И опять дело Совета вторглось в сознание, и мысль против воли была опять прикована к впечатлениям последнего месяца. Всю дорогу я старался отвлечь себя от этих воспоминаний, а они не уходили и неотступно меня преследовали... Наконец, вот и станция Веймарн...⁶

В усадьбе меня встретили старики родные, и им очень хотелось сейчас же, во всех подробностях, услышать от меня рассказ о процессе, о моих впечатлениях, мою характеристику главных действующих лиц. Я умолил их не говорить об этом... Потом, завтра, когда угодно, но не сейчас, не тогда, когда всеми силами хочется уйти не только от воспоминаний, но вообще от самого себя.

С каким наслаждением я проснулся на следующий день ранним утром и почувствовал себя в милой родной деревне. Город казался где-то бесконечно далеко, и хотелось только одного — чтобы это чудное ощущение покоя как можно дольше не нарушалось.

Я ушел в сад, в поле, к далекому лесу. И в эти минуты с необыкновенной отчетливостью в мой мозг проникало сознание тщеты и мелочности человеческой борьбы, человеческих страстей. Это сознание поразительной ничтожности бытия перед величием и горделивым спокойствием природы охватывало меня всякий раз, когда от шумной городской жизни я уходил в тихую, спокойную деревню...

Был чудный осенний день. Вековые деревья сада, почти обнаженные от листьев, словно дремали уже перед глубоким зимним сном. Сухие листья по аллеям, тронутые утренними заморозками, хрустели под ногами. Сквозь опавшую листву видна была бесконечная даль полей, и печальное, холодное солнце, словно прощаясь, грустно и мягко освещало и старый сад, и поле, и погруженную в осеннюю тишину маленькую бедную деревню...

Время близилось к полудню; обойдя свои любимые места, я возвращался к дому и, уже подходя к крыльцу, заметил поднимающуюся в гору тележку, в которой сидел не то телеграфист, не то кондуктор, словом, какой-то железнодорожный служащий.

«Нарочный», — подумал я, и какое-то неприятное предчувствие как будто кольнуло в сердце. Приехавший слез

с тележки и пошел ко мне навстречу со словами: «Телеграмма прокурору Бальцу из Петербурга». Я взял от него конверт, торопливо разорвал телеграфную бандероль и взглянул на короткий текст телеграммы. Там было всего пять слов и подпись.

«Тебя увольняют в отставку. Приезжай». Так телеграфировал мне один из близких мне людей.

Прощай, покойствие деревни, прощай, отдых и желанное одиночество! Все это исчезло мгновенно. Злобное ощущение несправедливости, гнев и раздражение... целиком меня захватили, и я, не колеблясь, решил ехать в Петербург и бороться с нависшей без причины неприятностью самым энергичным образом.

Наскоро пообедав, я покинул усадьбу и поехал вновь по той же самой дороге, по которой ехал вчера. Но если вчера я радовался окружающему, если каждая верста, приближавшая меня к дому, все повышала и повышала мое настроение, то сегодня те же знакомые места производили на меня впечатление чего-то мрачного, унылого и печального. К тому же и солнце спряталось, пошел мелкий осенний дождь, стало сыро и холодно...

Около восьми часов вечера поезд подошел к Гатчине, и я поспешил на перрон, чтобы купить газеты, но нашел только вечернюю газету «Сегодня». Мне сразу бросился в глаза крупный аншлаг на первой странице, кратко сообщавший содержание номера. В этом аншлаге, между какими-то сенсационными новостями, я прочел слова: «К отставке товарища прокурора Бальца». В самом тексте газеты я не нашел ни слова о своей отставке и пребывал в неведении до Красного Села, где буфетчик дал мне номер вечерних «Биржевых ведомостей». Там я прочитал посвященную мне шутовскую заметку Скитальца⁷, которая сообщала буквально следующее:

«Окончился процесс-монстр — и так жаль, так жаль... господина Бальца. Мог удружить патриотам своего отечества, счастье было так близко, так возможно, а он... «по сто первой отказываюсь совсем, а что касается отношения к рабочим депутатам исполнительной власти»... и пошел, и пошел — совсем как в известном анекдоте.

На месте доктора Дубровина⁸ и Булацеля⁹ я бы немедленно подал

заявление в участок, что, несомненно, подлинный Бальц в последний день был экспроприрован анархистами, а вместо него говорил на суде Марат¹⁰, Рамишвили¹¹, Равашоль, Муромцев¹² — кто-нибудь из этих ужасных людей.

Я уверен, что г. Бальц был подлинный, и с меланхолией думаю, что никогда ему не быть прокурором и дальше товарища он не пойдет.

Может быть, судейское сословие и совсем его потеряет!

После нескольких политических процессов, разбиравшихся в последнее время в военных судах, 3—4 защитника-офицера внезапно оставили службу и связанную с ней сладостную перспективу стать когда-нибудь генералами Павловыми¹³ и вступили в присяжную адвокатуру.

Присяжный поверенный Бальц!..

И подумать только, что стоило ему сказать: — Требую для Хрусталева и других повешения. — И все было бы хорошо.

Мог бы даже и до Акимова дослужиться. Вспоминаете? Был такой министр юстиции или — как писали в газете „Русь“ — пол-юстиции».

Прочитав эту милую газетную заметку, я продолжал свой путь в едва ли веселом настроении духа. Я ведь знал, что Бальц не был «экспроприрован анархистами», и понимал, что решается вся моя дальнейшая судьба.

Показались огни Петербурга, мимо вагонного окна побежали вокзальные фонари, и, наконец, я приехал.

Было около 10 часов вечера; обратительный, неповоротливый извозчик бесконечно тащил меня от Балтийского вокзала на Фурштадтскую. Мои родные, конечно, уже знали из газет и из разговоров об отрицательном впечатлении, произведенном «в сферах» моей деятельностью, и с нетерпением меня ждали. Я немедленно позвонил к Камышанскому, но не узнал от него ни два, ни полтора.

— Твоей речью действительно недовольны в министерстве, — сказал мне Камышанский, — там не делают пока никаких определенных выводов, но я был прав, говоря, что ты напрасно давался в «лирику» в конце твоей речи. Эта лирика дает уже «наслоения». Во всяком случае, достань стенограмму твоей речи и передай мне — я представлю Щегловитову.

Благодаря любезности одного из защитников (кажется, М. Л. Гольдштейна) мне через несколько дней удалось достать от помощника присяжного поверенного Селюка¹⁴ напечатанную на машинке расшифрованную стенограмму моей речи, и я съез ее Камышанскому.

Потянулись неприятные, неопределенные дни...

Приятели сообщили мне, что на моей речи Щегловитовым положена резолюция: «Прошу А. А. Глищинского ознакомиться и переговорить». Пока Глищинский* знакомился, я по впечатлениям разных бесед приходил постепенно к убеждению, что Скиталец, по-видимому, прав и что мне придется sastаться с ведомством. Для таких выводов служил показателем барометр отношений ко мне некоторых моих сослуживцев. Чиновничий Петербург остался и в этом эпизоде Петербургом.

Кроме самых близких мне людей, с которыми меня связывали не только товарищеские, но и дружеские отношения, большинство остальных явно ко мне изменились.

Одни, притворно возмущаясь, говорили мне, что все их симпатии на моей стороне, другие облекали свое злорадство в сентиментально-ласковую манеру обращения, а у третьих совершенно прозрачно светился злобный огонек, и они, видимо, иронически вопрошали меня мысленно: «Что, брат, опростоловолился?»

Только один (оказавшийся впоследствии моим подчиненным) нашел в себе гражданское мужество прямо сказать мне: «Ты знаешь, в министерстве говорят, что твое выступление — это не обвинительная речь, а 129 статья**. Не понимаю, зачем тебе понадобилось „позировать на беспристрастие“; надо думать, что кончится это не сладко, но пеняй на себя».

Так отнесся ко мне Петербург. Совершенно иначе отнеслась провинция, где я провел больше половины своей службы. Я получил довольно много сочувственных писем, причем сочувствие выражалось не по поводу служебных неприятностей, о которых в провинции не знали, а по поводу

положения, которое я занял в процессе. Особенно дорого мне было письмо, присланное мне председателем одного из судов Московского округа. В письме этом говорилось, что ведение мною процесса в значительной мере оградило в таком трудном деле достоинство судебной власти, и заканчивалось письмо словами: «Если в результате ты вместо благодарности получишь одни неприятности, и, быть может, большие, не огорчайся и не удивляйся. Друг мой, это в порядке вещей, и иначе это почти и быть не может».

Мое беспокойство и раздражение особенно поддерживались теми выводами, которые из моей речи сделала печать. Позиция печати по отношению к процессу после приговора резко изменилась.

Ругалась правая пресса, а либеральная печать, не высказывая прямо своего мнения о приговоре, явно одобряла характер и содержание моего выступления, как обвинителя.

Черносотенный «Голос правды» писал: «Трудно представить себе более бездарно и бюрократически составленное обвинение, достойно увенчанное «корректной» речью товарища прокурора Бальца. Бедный г. Бальц, попавший в неприятное положение обвинять «бывшее правительство», очень угодил своей речью «лучшей части печати», а следовательно, с честью вышел из положения. И это вовсе не из симпатии к крамоле. Г. Бальц — это просто умеренный и аккуратный бюрократ, в чистоте души своей принявший за чистую монету разыгравшуюся на суде срететированную комедию и ничего не понимающий в действительной жизни. Вот такие-то корректные господа, не менее настоящих хищников в мундирах, и довели Россию до настоящего положения, они-то и дискредитируют власть».

Наряду с этим отзывом — о моей речи лестно отозвался в «Вестнике Европы» К. К. Арсеньев; подчеркнула беспристрастие речи газета «Столичная почта»; «Товарищ» уверял, будто я так разочаровался в нашей «независимой юстиции», что сам подал в отставку, а вечерняя газета «Сегодня» посвятила моему выступлению передовую статью, в которой называла мою речь «выдающейся» и также выражала сомнение в том, что мое выступление в процессе «пройдет мне даром».

* Вице-директор департамента министерства юстиции.

** Возбуждение к учинению государственных преступлений.

Не удивительно, что, читая газеты, я не мог не понимать, что министр юстиции может стать на сторону «Голоса правды» и, признав меня «корректным господином, который дискредитирует власть», предложить мне навсегда прекратить это занятие.

К этим поводам для неудовольствия прибавился еще один эпизод, который, по словам Камышанского, усилил нараставшее против меня раздражение.

Эпизод этот заключался в следующем.

Недели через две после процесса ко мне позвонили по телефону, и у аппарата оказался бывший премьер граф С. Ю. Витте, которого я до сих пор никогда в жизни не видел.

Витте сказал мне по телефону, что он отсутствовал из Петербурга и теперь, вернувшись, прочитал отчеты по делу Совета рабочих депутатов и очень хотел бы со мною по этому поводу побеседовать.

На следующий день, в назначенное время, я приехал в особняк графа Витте на Каменноостровском проспекте.

Бывший премьер встретил меня очень любезно, но содержание его разговора со мной свидетельствовало о явном неудовольствии всем ходом процесса.

— Из отчетов по делу, — говорил мне граф Витте, — можно думать, что я был в курсе всей деятельности Совета, входил с ним в сношения и чуть ли не собирался легализовать его положение. Все это неверно, и так как подобные указания я усмотрел в обвинительном акте, и в вашей речи, то я хотел бы, чтобы вы прочитали письмо, заготовленное мною для опубликования в газетах.

Затем С. Ю. Витте дал мне прочесть письмо, смысл которого сводился к тому, что после манифеста 17 октября к нему приходили представители рабочих, заявляя ходатайства, из которых одни он удовлетворил, в других отказывал, но политической деятельности Совета рабочих депутатов, как такового, не знал.

Сейчас у меня нет под рукой этого письма, но я помню, что содержание его произвело на меня чрезвычайно странное впечатление. Было явно неправдоподобно и почти наивно утверждать, что граф Витте не знал того, что было известно чуть не каж-

дому грамотному человеку в Петербурге.

На вопрос графа Витте, какого я мнения об этом письме, я ему ответил, что сомневаюсь, чтобы приводимые в письме доводы могли опровергнуть те факты, которые были установлены судебным следствием.

На этом мы расстались.

Через несколько дней письмо графа Витте все-таки появилось в одной из газет (кажется, в «Новом времени»).

На это письмо осужденные по делу Совета, в свою очередь, ответили в газете «Товарищ» — и ответили подробно.

Они сдержанно, но твердо заявляли, что «граф Витте говорит неправду». Затем приводились все данные судебного следствия, доказывавшие сношения Витте с представителями Совета и осведомленность главы исполнительной власти о существовании деятельности Совета.

В этом письме, которое, кажется, было подписано всеми осужденными, сделаны были две ссылки на меня.

Осужденные говорили о том, что я — «профессиональный обвинитель» — признал их объяснения на суде правдивыми и искренними. Кроме того, они указывали и на то, что слухи о совершившихся будто бы в Совете растратах я назвал в своей речи «клеветой».

Вот эти-то две злополучные ссылки и усугубили против меня неудовольствие. По крайней мере, П. К. Камышанский сообщил мне, что Щегловитов видит в самой возможности подобных ссылок неправильность моей позиции на суде. Ссылки на меня в доказательство правильности отдельных эпизодов, сделанные осужденными, доказывают, что я будто бы не ограждал достоинства государственной власти.

Совершенно естественно, что при создавшемся положении я не мог ожидать для себя чего-нибудь доброго. Однако мои опасения оказались напрасными.

Когда, наконец, А. А. Глищинский «ознакомился» и, очевидно, «переговорил» по поводу моего выступления, то П. К. Камышанский известил меня сначала по телефону, а затем и лично, что в конце концов неудовольствие против меня «не выльется в каких-либо конкретных формах, и, следовательно, я... могу успокоиться».

Не могу не сказать, что я ждал не успокоения; мне хотелось другого, хотелось, чтобы мои действия были признаны правильными и соответствующими достоинству государственной власти.

Такого признания я не дождался, и воспоминания обо всем пережитом оставили во мне очень надолго горький осадок неудовлетворенности, ощущение какой-то недоконченности мною сделанного и печальное разочарование в возможности чисто судебной, а не политической борьбы с государственными преступлениями.

Постепенно впечатления процесса утратили свою остроту, и этот период моей жизни ушел далеко в историю, но теперь, когда свершилась русская революция и Советы вновь возродились к жизни, все минувшее с необычайной яркостью вновь ожило передо мной.

Мне думается, что впечатления каждого из участников этого исторического судебного процесса не могут не представлять известного интереса для общества, и это побудило меня поделиться и своими воспоминаниями о нем.

Конст. ШОХОР-ТРОЦКИЙ

К ЮБИЛЕЮ ОТЛУЧЕНИЯ ТОЛСТОГО

5—7 марта 1926 г. (20—22 февраля ст. ст.) минуло 25 лет со дня опубликования Синодом знаменитого отлучения Л. Н. Толстого от церкви. Вряд ли можно указать еще хоть один касающийся отдельного лица акт, который произвел столько шума и доставил столько досады представителям царской власти. Рассчитанный на определенный эффект в широких массах православного населения, — на укрепление в народных толщах представления о Толстом как безбожнике и антихристе, — акт Синода вызвал необычайный, бурный взрыв интереса к Толстому, притом интереса горячо сочувственного. Мало того, отлучение было встречено неодобрением даже в глубоко православной части так называемого высшего общества. Синод получал жалкую поддержку преимущественно от узких кругов, группировавшихся около пресловутого «Миссионерского обозрения», «Церковных ведомостей» и им подобных почти официозных изданий. Все же русское общество было как бы всколыхнуто и разбуждено бессмертным творением Синода. Интерес к Толстому чрезвычайно возрос в широких слоях населения. И неожиданно для себя, против своей воли, Синод, своим посланием к чадам православной церкви, увеличил славу Толстого, поднял его на ту высоту колоссальной популярности, какой ни до Толстого, ни после него не достигал ни один из мировых писателей.

По случаю отлучения Толстого от

церкви его приветствовали многие тысячи русских людей. Но среди потока полученных Толстым приветствий (все они могут составить целый том) одно выделяется своей необычной формой и замечательной простотой и душевностью. Это приветствие было прислано служащими Мальцовского хрустального завода (в Дядькове, Орловской губ.). Написано оно на многогранной, неправильной формы, глыбе зеленого стекла. Под переплетенными инициалами Л. Т. — текст*:

Вы разделили участь многих великих людей, идущих впереди своего века, глубоководный Лев Николаевич! И раньше их жгли на кострах, гноили в тюрьмах и ссылке. Пусть отлучают вас как хотят и от чего хотят фарисеи — «первосвященники». Русские люди всегда будут гордиться, считая вас своим, великим, дорогим, любимым. К. Славский, С. Иванов, В. Кокорева, Е. Стефанова, К. Камаева, К. Казанская, Русанова, Н. Владыкин, П. Владыкин, Ю. Цурикова, А. Эндауров.

Когда Л. Н. Толстой получил этот оригинальный адрес, он был очень тронут и поставил стеклянную глыбу

* Выделяем его, как и ответ Л. Н. Толстого, разрядкой.— Ред.

на своем письменном столе около чернильницы, пользуясь ею иногда в качестве массивного пресса*. Приславшим ему это приветствие Лев Николаевич ответил кратким письмом:

Г-ну А. Эндаурову.

Я получил ваш прекрасный подарок, в котором особенно дорога мне подпись, и прошу вас передать мою живейшую благодарность всем подписавшимся.

Лев Толстой

1 августа 1901.

Александр Меркурьевич Эндауров, которому адресован ответ Толстого, был инициатором приветствия. Небезынтересно, думаю, будет сообщить несколько сведений об этом лице. Родившийся в 1851 г., А. М. Эндауров, поступив в начале 70-х годов в Технологический институт, познакомился и близко сошелся с Василием Львовичем Перовским (братом Софьи Перовской), с Кравчинским-Степняком¹ и с Драго². Все они тогда же примкнули к кружку Чайковского³ и занялись пропагандой и нелегальным издательством. Летом Эндауров ходил в народ на Юг России под видом рабочего. В конце зимы 1875 г. его арестовали в Ярославской губ., в имении его родителей. Повезли в Петербург. Товарищи решили устроить ему побег, что и удалось по приходе поезда в Петербург. Сначала он скрывался в городе, но потом уехал под чужим именем в Крым, где поселился в имении матери Перовских. Здесь В. Л. Перовский, Эндауров и другие жили целой ком-

муной долгое время. В 1878 году Александр Меркурьевич был вызван в Харьков Софьей Львовной Перовской. В Харькове находились еще Фроленко⁴ и Армфельд⁵, хотели устроить побег Мышкина⁶, что, однако, не удалось.

В 1879 г. Эндауров был узан и арестован в имении Перовских. В. Л. Перовского тоже арестовали за укрытельство. Просидев около года в Доме предварительного заключения, Эндауров попал в ссылку в Вятку. По возвращении из ссылки Эндауров попал на заводы известного С. И. Мальцова, который, совсем не посчитавшись с его политическим прошлым, предложил ему работу на одном из своих заводов. Вскоре на одном из заводов (хрустальном) произошло столкновение между рабочими и директором завода, очень неприятным человеком. Столкновение было крупное, рабочие были раздражены, и среди них шла речь о том, чтобы бросить директора в доменную печь. Мальцов вызвал А. М. Эндаурова и, отстранив директора, поручил Эндаурову заведование хрустальным заводом. В течение ряда лет работы Эндаурова на этом заводе он все время был в самых лучших отношениях с рабочими. Репутация его в рабочей среде была такова, что при возникновении трений на других заводах рабочие говаривали: «Вызовите Меркулыча, мы с ним переговорим, а с вами — не желаем».

В 1905 г. болезнь (грудная жаба) заставила А. М. Эндаурова уйти с заводской службы. Вскоре он переселился в Петербург, где и скончался в 1918 г.*

БИБЛИОГРАФИЯ

Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартевым в 1851—1860 годах. Вступительная статья и примечания М. А. Цявловского. Издание М. и С. Сабашниковых. Москва, 1925, 140 стр. (в серии «Записки прошлого. Воспоминания и письма»).

* Эта стеклянная глыба и посейчас стоит на своем месте в яснополянском кабинете Толстого. «Корректирный» экземпляр этого подарка передан сестрой А. М. Эндаурова Любовью Мерк. Эндауровой в Толстовский музей в Москве.

Лишь в последние 15—20 лет изучение Пушкина из области любительства, случайного занятия перешло на

* А. М. Эндаурову не довелось лично встретиться с Л. Н. Толстым, хотя Л. Н. бывал на мальцовских заводах, будучи лично знаком с С. И. Мальцовым, дочь которого была замужем за одним из первых единомышленников Л. Н-ча, кн. Л. Д. Урусовым⁷. Толстой знал лично сестру А. М. Эндаурова, художницу Елизавету Мерк. Бём⁸. Пользуюсь случаем, чтобы выразить благодарность за сообщение сведений об А. М. Эндаурове его сестре, художнице Любови Мерк. Эндауровой.

степень пристального исследовательского труда и начало с проверки того, что сделано было в предыдущие десятилетия. Такой цели призван был служить и основанный в 1903 г. Академический сборник «Пушкин и его современники», из недр которого вышла целая плеяда пушкинистов-исследователей, в работах своих вновь поставивших и окончательно разрешивших ряд общих и частных вопросов пушкиноведения, запутанных подчас, казалось, до полной неразрешимости.

К числу таких пушкинистов принадлежит и М. А. Цявловский, издавший в своей, как всегда, ювелирно-тонкой и изящной обработке записанные много лет тому назад П. И. Бартевым рассказы о Пушкине нескольких современников, друзей и знакомых поэта. Хотя П. И. Бартев не пользуется, как пушкинист, такую известностью в широкой публике, как Анненков, Ефремов, Майков, Якушкин и другие, — его заслуги в области пушкиноведения весьма значительны: его, собственно говоря, следует считать основоположником науки о Пушкине. Человек с серьезным научным и литературным образованием, с обширнейшими историческими и историко-литературными познаниями, с редкой страстью к русской словесности и с благоговейной любовью к Пушкину, — он был первым русским ученым, который спустя лишь десяток лет после смерти поэта, начал собирать материалы о нем и его литературном наследии. Метод собирания этих материалов был прост, но верен: Бартев опрашивал, расспрашивал лиц, близких к Пушкину, и затем немедленно заносил вызнанное на бумагу, а иногда давал еще свою запись рассказчику и на проверку.

Из таких записей составлялся ценнейший биографический и историко-литературный материал, предназначенный Бартевым для дальнейшей обработки в форме связной, подробной биографии Пушкина. Как известно, Бартев успел обработать лишь начальные главы жизнеописания своего любимого писателя и затем, отдавшись «составлению» и изданию своего детища — «Русского архива», к Пушкину возвращался редко, и то лишь по отдельным поводам, и собирание материалов прекратил; но тетрадь с его записями, по счастливой случайности, сохранилась в руках известного

московского любителя книги — Л. Э. Бухгейма — и теперь издана просвещенною фирмою М. В. Сабашникова на радость и на пользу всех, кто любит и изучает Пушкина.

Содержание тетради П. И. Бартева составляют записанные им рассказы о Пушкине со слов нескольких современников поэта, знавших его лично. Записи Бартева разделяются на 4 рода: 1) Беседы Бартева с П. В. Нащокиным и его женой. 2) Рассказы Н. А. Елагина, И. Ф. Мойера, П. и И. Киреевских и А. П. Елагиной-Киреевской, передававших Бартеву кроме своих личных воспоминаний рассказы о поэте Е. А. Баратынского, В. А. Жуковского и Е. А. Протасовой. 3) Выписки из «Московского телеграфа» за 1827 г., из «Современника» и «Московитянина» за 1853 г. мест, казавшихся интересными Бартеву в качестве материала для биографии Пушкина. 4) Стоящие особняком: рассказы О. М. Бодянского о посещении Пушкиным Московского университета в 1832 г., рассказы о Пушкине В. И. Даля и запись слов о Пушкине архим. Болконского. Как справедливо замечает редактор в своем предисловии, наиболее ценным из всего публикуемого материала являются записи бесед Бартева с Нащокиным и его женою. Пушкина и Нащокина соединяла самая нежная, самая глубокая дружба; Пушкин поверял своему другу не только литературные замыслы (известно, напр., что «Дубровский» создан Пушкиным на основе рассказа Нащокина об одном белорусском дворянине Островском, доведенном до нищеты своим богатым соседом), но и житейские заботы и тревоги. В одном из своих писем к жене Пушкин говорил, что «любит его один Нащокин»; этот человек, такой близкий к поэту, должен был сохранить много воспоминаний о своем друге; и действительно, если отделить в рассказах Нащокина то, что почти всегда сопутствует такого рода материалу, как воспоминания, т. е. некоторые неточности в датах, возможное смещение мелких фактов и т. п., — мы получим факты из жизни Пушкина если не всегда вполне новые, то, во всяком случае, подтверждающие многие предания и предположения.

Вся работа по проверке и уточнению рассказов, собранных Бартевым,

проделана М. А. Цявловским с присутствием ему глубокими познаниями, исключительной добросовестностью и научным тактом; некоторые комментарии по поводу того или иного рассказа разрастаются у него до степени специальных экскурсов, сводящих воедино, в критической проверке, весьма обширную литературу по тому или иному общему или частному вопросу пушкиноведения.

Останавливаться подробно в короткой рецензии на разборе материала книги и работы редактора нет возможности, но кое-что из сообщаемого Бартевым и комментируемого М. А. Цявловским все же хочется и необходимо отметить.

Роковая для Пушкина близость ко двору и отношение поэта к членам царской фамилии всегда интересовала исследователей; теперь скудный материал по этому вопросу, которым они располагают, пополняется из записей Бартева до известной степени новыми подробностями. На странице 34 Бартев заносит следующее указание Нащокина: «Государыню Пушкин очень любил, благоговел перед ней», а на стр. 64 выражается еще определеннее: «Императрица удивительно, как ему нравилась; он благоговел перед нею, даже имел к ней какое-то чувственное влечение»; все это подтверждает высказанное нами убеждение, что стихотворение «Красавица» («В альбом Г.») относится к Александре Федоровне. На том, как относился Николай I к Пушкину и особенно к его жене, М. А. Цявловский подробно останавливается в своем комментарии к тетради. Он критически сопоставляет характеристику этих отношений, сделанную самими действующими лицами — Пушкиным и царем. Мнение М. А. Цявловского о том, что Пушкин имел основания подозревать и подозревал Николая I в не совсем «отеческом» отношении к Наталии Николаевне, подкрепляется высказываниями по этому поводу самого поэта, записанными Бартевым со слов Нащокина. Далее Нащокин дает верную характеристику отношений Пушкина к Гоголю, что находит подтверждение в новейших исследованиях истории знакомства этих двух великих людей: «Гоголь никогда не был близким человеком к Пушкину, Пушкин, радостно и приветливо встречавший

всякое молодое дарование, принимал к себе Гоголя, оказывал ему покровительство, заботился о внимании к нему публики, хлопотал лично о постановке на сцену «Ревизора», одним словом, выводил Гоголя в люди», но не больше. Эта характеристика разрушает представление некоторых исследователей о какой-то необычайной близости и дружбе Пушкина и Гоголя.

Кроме записей, имеющих чисто биографический интерес, тетрадь дает кое-что относительно пушкинского текста. В одном из рассказов, записанных Бартевым, мы встречаем новый вариант перечня лиц, на которых направлена знаменитая эпиграмма Пушкина «Собрание насекомых». До сих пор, со времен Геннади, все редакторы принимали следующий порядок имен: Глинка, Каченовский, Свињин, Олин, Раич. Бартев в своей записи изменяет его; у него значится: Олин, Каченовский, Свињин, Глинка, Раич. По мнению М. А. Цявловского, Бартев допустил ошибку, переместив Глинку и Олина.

Ограничиваемся этими примерами. Всякий, взявший книгу «Рассказы о Пушкине», найдет в ней подробный, постраничный комментарий М. А. Цявловского, который поможет разобраться даже совсем неискушенному читателю в проблемах пушкиноведения, затронутых в рассказах.

В заключение надо сказать, что мнение о почти полной исчерпанности архивной части пушкиноведения блестяще опровергается опубликованною тетрадью. Можно с уверенностью сказать, что многое еще в этой области скрывается от пытливого взгляда ученых. Работа далеко не завершена, потому что каждая находка, относящаяся до Пушкина, прибавляет новый штрих к великой картине его жизни. Прав был поэтому один из первых наших историографов, М. И. Семевский, писавший некогда: «Биография великого человека никогда не может быть закончена последним словом».

Б. Модзалевский

Сергей Гессен. Декабристы перед судом истории (1825—1925). С предисловием Б. Л. Модзалевского. Изд-во «Петроград». Лен. — Москва, 1926. Стр. 296. Цена 2 р. 75 к.

Общая задача книги С. Я. Гессена сформулирована в авторском предисловии несколько туманно: «Задача этой книги — дать целостный очерк оценки отношения к декабристам современников и потомков». Если оставить в стороне явно наспех написанное определение «очерк оценки отношения» и перейти к самому содержанию книги, то она представляет собой и с любовью составленный свод, раскрывающий те формы, в каких декабристское движение преломлялось в русской литературе в широком смысле этого слова на протяжении столетия, истекшего с памятных декабрьских дней 1825 года. К этому надо прибавить замечание, делаемое автором на стр. 225—226, где он указывает, что в его задачи «не входит разбор политических и общественных идей декабризма: он только фиксирует то или иное отношение к ним общества или отдельных лиц». Необходимое примечание: от этого правила автор довольно часто отступает, особенно в тех случаях, когда разбираемое им произведение находится в прямой противоположности с его собственными взглядами: если взять для примера пресловутое «исследование» графини Толь, то окажется, что, «фиксируя» ее точку зрения, автор не жалеет ни острой иронии, ни гневного сарказма и для оценки последней. В общем, однако, в книге, несомненно, имеется налицо стремление зачастую отказаться от оценки взглядов той или иной общественной группы, того или другого автора.

Об этом нельзя не пожалеть. При всех своих достоинствах, о которых речь будет ниже, книга много бы выиграла, если бы автор достаточно определенно и равномерно выявил свое личное отношение ко всем затронутым им темам, придав, таким образом, своему исследованию некоторое методологическое единство. Впрочем, как раз сторона методологическая является в книге наиболее слабой, и это особенно сказывается в ее последних главах — X, XI и XII, посвященных темам «Декабристы в современной русской историографии», «Декабристы в освещении революционеров и социалистов» и «Декабристы в оценке советской печати». Прежде всего, самая классификация этих тем очень неточна: начав «современную историогра-

фию» почему-то с трудов Пыпина, автор далее рассматривает в этой главе посвященные декабристам сочинения Ключевского, Довнар-Запольского, В. И. Семевского, Павлова-Сильванского, Сватикова, В. Е. Якушкина, Модзалевского, Щеголева, Корнилова, Преснякова, Котляревского, Гершензона, Сыромятникова, Ковалевского, Платонова, Мельгунова, Полиевктова и др.; в главе о «революционерах и социалистах» фигурируют имена Бакунина, М. И. Михайлова, Плеханова, Мякотина, Левина, Рожкова, Ольминского, Зиновьева, Покровского, Русанова, Иванова-Разумника, Берлина и др.; наконец, в главе о советской печати мы знакомимся с взглядами Зиновьева, Святоловского, Быстрянского, Шелавина, Луначарского, Ольминского, Покровского и Ленина. Классификацию свою автору, как видим, выдержать не удалось — одни и те же имена попадают у него в различные главы. И действительно, довольно трудно провести грань между революционерами и социалистами, с одной стороны, и советской печатью — с другой, если не пользоваться критерием чисто хронологическим; последний, однако, тоже отсутствует — характеристика взглядов В. И. Ленина, напр., дается на основании его статьи «Памяти Герцена», написанной за несколько лет до революции. Довольно трудно также установить критерий «современности» того или другого исторического направления. Очевидно, автор в эту группу стремится свести историков-специалистов, но вряд ли можно получившуюся картину признать удачной: рассматривать взгляды Семевского и Мельгунова нельзя, не привлекая и статей Мякотина, попавшего в другую рубрику, едва ли допустимо исключение Покровского и Рожкова из ряда специалистов-историков и т. д. Эта методологическая недодуманность последних глав и повлекла за собой ряд недоразумений, как, напр., противопоставление на стр. 251 оценок, дававшихся Покровским и Русановым мировоззрению Пестеля, противопоставление, не обоснованное в книге разницей мировоззрений самих приводимых авторов и оставляющее читателя в недоумении, или возражение С. Гессена М. Н. Покровскому на стр. 248, где приводя оценку М. Н. Покровским освободительных проектов

Якушкина как проектов явно дворянского происхождения, автор оспаривает последнюю точку зрения, считая, что «этим самым М. Н. Покровский признает тоже как бы наличие в действиях декабристов доли корыстного расчета». Имеется налицо и некоторая терминологическая путаница, как, напр., на стр. 294—295.

План и построение глав, предшествующих трем вышеуказанным, следует признать гораздо более удачными и выдержанными. Начинаются они главой «Официальные донесения и правительственная печать», где подробно излагается и получает должную оценку точка зрения на декабристов правительства Николая I, нашедшая свое выражение в правительственных сообщениях, печатавшихся в «Русском инвалиде», в Блудовском «Донесении следственной комиссии», в записках Николая I и, наконец, в «Автобиографических записках» Боровкова. Рассматривая эти документы, автор умело привлекает на помощь разбор их, сделанный самими декабристами, и с достаточной отчетливостью вскрывает всю фальшивость и тенденциозность официальных материалов. В следующей главе «Декабристы в оценке современного общества» собран обширный материал, ярко рисующий то впечатление, какое произвело восстание 14 декабря на различные круги тогдашнего общества. Затем автор останавливается на отношении к декабристам передовой фаланги дворянского общественного мнения — литераторов. По тому в высшей степени любопытному материалу, какой привлечен в этой главе, ее следует признать одной из самых удачных в книге.

Самостоятельная глава посвящена вопросу об отношениях Пушкина к декабристам, где автор ставит своей задачей реабилитировать Пушкина от обвинений, в свое время брошенных памяти последнего и сводившихся к упрекам в измене тем идеалам, которые он декларировал в стихах своей вольнолюбивой юности. Делает это автор с большим увлечением и жаром, но, к сожалению, без достаточно основательной мотивировки. Его заявление, что Пушкин в своей знаменитой записке «О народном воспитании» все не высказывается против политических изменений, но считает их слишком преждевременными, не звучит

должной убедительностью: ведь на такой точке зрения стоял, пожалуй, и сам «властитель слабый и лукавый»...

Следующая, самая большая по размерам, глава посвящена «самооценке декабристов». Материалом для нее послужили мемуары декабристов, их переписка и некоторые ранее напечатанные документы следствия. Огромная литература эта собрана автором с почти исчерпывающей полнотой, и шаг за шагом он показывает, с каким настроением шли декабристы на Сенатскую площадь, их образ действий во время следствия и, наконец, позднейшее преломление в их мемуарах былого революционного подвига. Несколько страниц посвящено и «отклонившимся» — А. Н. Муравьеву, М. Н. Муравьеву и др. В этой главе вызывает некоторое смущение уверенность автора, что декабристы, организуя восстание 14 декабря, сознательно шли на разгром, памятуя, что «погибель ждет того, кто первый восстает на угнетателей народа». Может быть, у некоторых из них такое чувство и было, но приравнивать его общей для всех и сознательной цели, конечно, рискованно. Точно так же недостаточной кажется и защитительная речь в пользу поведения декабристов во время следствия. Полемизируя с П. Е. Щеголевым, обвинявшим декабристов в малодушии, автор приводит в качестве аргументов в свою пользу попытки, применявшиеся к декабристам, а также и то обстоятельство, что большинство членов тайных обществ стало известно правительству благодаря доносам Витта, Шервуда и т. д. На самом деле мы знаем, что попытки далеко не на всех декабристов подействовали в желательном для их тюремщиков смысле, что же касается до осведомленности правительства, то она, с одной стороны, не была так уж обширна, а с другой, поскольку речь идет о моральной оценке, отнюдь не оправдывает поведения декабристов. Особенно это должно быть принято во внимание по отношению к Рылееву, которого автор на стр. 250 реабилитирует от нападок Покровского, указывая, что, хотя Рылеев и выдал Пестеля, последний независимо от этого был уже арестован Чернышовым. Беда в том только, что в тот момент, когда Рылеев называл главу южного общества, об аресте последнего не

знал еще не только Рылеев, но и сам Николай I... Зато вполне убедительно обрисована психология кающегося Пестеля, и здесь с автором нельзя не согласиться.

Переходя к эпохе тридцатых и сороковых годов, С. Гессен останавливается на оценке декабристов у их младших современников — Погодина, Тютчева, Лермонтова, петрашевцев, Философова, Огарева. И здесь ему удается показать, какое обаяние производил подвиг декабристов на современников, с каким благоговением большинство последних к ним относилось. Нельзя только не пожалеть, что автор оставил без внимания те тайные общества в промежутке между декабристами и петрашевцами, которые справедливо могли быть названы «эпигонами декабристов».

Следующая глава трактует уже времена появления первых печатных работ о декабристах, начиная с известного произведения барона Корфа. Далее выясняется точка зрения Герцена на декабрьское движение и попутно освещается вопрос о личных взаимоотношениях Герцена и декабристов.

Основываясь на оценке деятельности Герцена, данной Оболенским и Волконским (в последнем случае приведен материал не слишком убедительный — воспоминания внука декабриста, С. М. Волконского, мемуариста подчас довольно тенденциозного), автор распространяет эту оценку и по отношению к другим декабристам и, считая ее несправедливо резкой, пытается ее, однако, психологически обосновать. Между тем далеко не все декабристы отрицательно относились к Герцену. Автор сам упоминает об А. В. Поджио как об исключении в этом смысле. Можно было бы добавить сюда и И. Д. Якушкина, писавшего Герцену еще из Сибири о людях, которые «сочувствуют вашим убеждениям и ценят вполне прекрасное ваше направление и благородный труд ваш»... Точно так же, с большим почтением, относился к Герцену и М. А. Бестужев, дающий в одном из своих не опубликованных доселе писем очень любопытную характеристику издателя «Колокола», как высоко благородной личности, но Дон-Кихота, зачастую даром растрачивающего свои богатырские силы. Думаем, что

в этом пункте С. Гессену нужно отказаться от своего, несколько поспешного, утверждения.

Далее автор останавливается на возвращении декабристов на родину и довольно обстоятельно освещает взаимоотношения, сложившиеся между декабристами, вернувшимися после амнистии, и новым поколением, выступившим на сцену в период шестидесятих годов. Тут же затронут и вопрос об оценке декабристами «эпохи великих реформ».

Глава «Эпоха увлечения декабристами» является, по существу, продолжением предшествующей и дает обзор периода «первичного накопления» исторических материалов о декабристах. Переходя к официальным историкам декабризма, автор метко и отчетливо характеризует их общий облик и каждого в отдельности. Затем идут три главы, которых мы касались в начале рецензии, и заключительная — «Декабристы в изящной литературе», где автор проследил отражение декабрьских событий в творчестве Пушкина, Л. Толстого, Некрасова, Одоевского, Данилевского, Гнедича и Мережковского. Особенно много внимания уделено последнему, и с большой убедительностью вскрыта вся фальшивость историзма его романов.

Кроме указанных спорных вопросов, надо еще остановиться на некоторых упущениях, правда, не очень существенных, но все же требующих исправления. Так, на стр. 42 автор указывает, что подозрение, павшее на ген. А. П. Ермолова, объяснялось только тем, что заговорщики намечали его в число членов Временного правительства, совершенно упуская из виду тот повышенный интерес, который проявляла следственная комиссия к существованию тайного общества в Кавказском корпусе, связывая его именно с ген. Ермоловым. На стр. 102 автор сообщает, что вслед за Пестелем в Тульчине были арестованы Юшневский и Абрамов, — на самом деле они были арестованы значительно позже Барятинского и Крюкова II. На стр. 194, перечисляя живших в 1865 г. декабристов, автор забывает М. А. Бестужева. Следует также отметить довольно, к сожалению, многозначленные опечатки — даже в датах (см., напр., стр. 71, 153, 201, 208).

Резюмируя все сказанное, нельзя не

подчеркнуть, что автор весьма серьезно проработал действительно огромный материал и дал книгу, которая безусловно займет свое место в обиходе всякого, кто интересуется декабрьским движением.

И. Троцкий

Б. Кубалов. Декабристы в Восточной Сибири. Очерки. Изд. Иркутского Губернского архивбюро, 1925. Стр. 216.

Материал, даваемый книгой Б. Кубалова, не является вполне новым. Из восьми печатаемых очерков шесть уже были опубликованы им прежде либо публикуются ныне в других изданиях. Конечно, нельзя отрицать в некоторых случаях необходимости перепечатки ценных работ, опубликованных в старых и потому мало доступных читателю изданиях. Но «древнейший» из публикуемых автором очерков, «Декабристы в Якутской области», был напечатан всего только в 1921 г. (Сборник трудов проф. и препод. Иркутского гос. ун-та, отд. 1, вып. 2), три же очерка опубликованы одновременно с рецензируемым сборником: «Декабристы в Иркутске и на ближайших к нему заводах» (отд. изд.), «Члены тайного о-ва военных друзей на каторге и поселении» (Сб. «Декабристы на каторге и поселении», изд. О-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев. М., 1925) и, наконец, третий очерк, «Декабристы и крестьяне в Восточной Сибири», опубликован в сборнике, изданном в том же Иркутске («Сибирь и декабристы». Иркутск, 1925). В последнем случае автор обращается к маскировке, перелицовывая название, но не стоит много труда убедиться в том, что под названиями «Декабристы и крестьяне Вост. Сибири» (в сборнике Б. Кубалова) и «Крестьяне Вост. Сибири и декабристы» (в иркутском сборнике) мы имеем одну и ту же работу.

При трудностях, с которыми ныне связано опубликование новых работ и документов, относящихся к декабристам, подобная трата издательских возможностей на двукратное опубликование одних и тех же работ должна быть по справедливости осуждена. Тем более что в том же иркутском сборнике сам Б. Кубалов публикует описание дел о декабристах, хранящихся в иркутском архиве, из которой видно,

какое множество сибирских документов еще ждет публикации и обработки.

Печальным результатом этого соединения в одном сборнике очерков, написанных прежде для разных изданий, является частое повторение одних и тех же фактов, как-то о распрях Рукевича с крестьянами, о злочлечениях Луцкого после амнистии и т. д. А о просе, посеянном М. И. Муравьевым-Апостолом в Вилюйске, читателю повествуется дважды буквально в одних и тех же выражениях (стр. 57 и 84).

Обращаясь к самим очеркам, должно, прежде всего, отметить, что научное значение их далеко не равноценно. Наибольший интерес представляют три первых очерка. Первый из них, «Декабристы в Иркутске и на ближайших к нему заводах», посвящен истории двух первых отправленных в Сибирь партий декабристов, в которые входили Трубецкой, Давыдов, братья Борисовы, Якубович, Арт. Муравьев, Оболенский и Волконский. Значение этой работы несколько уменьшается наличием одновременно опубликованного очерка С. Н. Чернова «Декабристы на пути в Благодатск» («Каторга и ссылка», 1925, кн. 5). Второй очерк, «Декабристы в Якутской области», дает чрезвычайно много ценных данных о жизни декабристов, поселенных в окрестностях Якутска. Если судьба Ал. Бестужева и М. Муравьева отчасти уже была нам знакома, то жизнь на поселении Андреева, Заикина, Чижова, Краснокутского впервые разворачивает перед нами свой трагический свиток. Огромный интерес представляют сообщения о связях ссыльных декабристов с местным обществом, о культурных кружках, группировавшихся вокруг них. Интерес этот усугубляется тем, что в данном случае мы знакомимся с культуртрегерской ролью декабристских низов, рядовых, заурадных декабристов.

Отношения декабристов с крестьянами, которым посвящен третий очерк, освещены весьма полно. Взаимное их содружество, о котором доселе не упоминалось в литературе, не может быть обойдено историком, как крупнейшей значимости психологический штрих.

Такой же интерес представляет очерк «Декабристы и амнистия», вскрывающий закулисную сторону «ве-

ликодушия» Александра II. Это совершенно новая в истории декабристов страница до конца смыкает идилическую окраску, в которую усиленно окрашивали этот факт официозные историки.

Любопытные сведения попадают в очерке, посвященном членам Общества Военных Друзей. Меньший интерес представляет очерк «Забытый декабрист Луцкий», опубликованный ранее в журнале «Русское прошлое», № 5.

Особняком стоит очерк, посвященный декабристу Лунину. В данном случае мы имеем дело уже не с обработкой материалов, а с попыткой психологического анализа. Поэтому позволю себе остановиться на этом очерке несколько подробнее.

Лунин — натура исключительно сложная. В историю он вошел, окруженный ореолом таинственности и легендарности. Это, конечно, не могло не отразиться на исследованиях, посвященных ему. И тогда как Георгий Чулков в своем очерке о Луине («Мятежники 1825 г.», М., 1925), облек своего героя в латы Дон-Кихота, Б. Кубалов приложил все силы к тому, чтобы облечь Лунина в католическую сутану.

Итак, по убеждению автора, Лунин был монахом, чуть ли не священником. Конечно, можно сказать заранее, что здесь мы имеем дело с актом жесточайшего насилия над фактами. Но познакомимся с доводами, которыми автор старается обосновать свою мысль. Прежде всего, это сибирские показания Лунина. «Из показаний, данных Луниным в Сибири, — пишет Б. Кубалов, — явствует, что католиком он помнит себя с детства» (стр. 127). И далее следует выдержка из показаний Лунина: «Я крещен и воспитан с детства в римско-католическое вероисповедание». Но автор совершенно игнорирует то обстоятельство, что в своих показаниях 1826 г. Лунин утверждал, что он «греко-российского исповедания». Этот факт не мог, конечно, остаться неизвестным Б. Кубалову. Ясно, что в одном из своих противоречащих между собой показаний Лунин погрешил против истины. А вслед за ним погрешил против истины и его биограф, игнорируя документ, противоречащий его догадке. Оставляет он без внимания и объективные данные, говорящие за то, что

католичество Лунин принял в бытность свою во Франции, в 1816—1817 гг. (см.: С. Я. Гессе и М. С. Коган. Декабрист Лунин и его время. Л., 1926, стр. 54—55).

На поселении, по мнению Б. Кубалова, «мысль Лунина прежде всего отвращается от забот суетного мира, от житейских треволнений» (стр. 127). Эта мысль подкрепляется цитатой из письма Лунина: «Мне стоило усилий отвлечь свою мысль от занятий, составляющих мое утешение в изгнании, и обратить ее на заботы и суетность мира». Цитата подобрана очень удачно, и не случайно автор не указывает адресата. Ибо адресатом был не кто иной, как гр. А. Х. Бенкендорф. Едва ли, обращаясь к шефу жандармов, Лунин был искренен. Но Б. Кубалов в отношении Лунина не стесняется средствами. Он умело выбирает из его писем выдержки, которые, вне связи с целым, как будто и действительно подтверждают мысли автора. В самом деле, как не поверить Б. Кубалову в том, что Лунин тяготился жизнью, когда автор ссылается на самого Лунина, выражавшего в письме к сестре желание «окончить странствование, перейти за пределы, отделяющие нас от существ прославленных, вкушать спокойствие, которым они наслаждаются в полном познании истины». Из этого можно было бы действительно вместе с Б. Кубаловым заключить, что Лунин бежал от суеты мирской, но начало того же письма предательски выдает Б. Кубалова. «К полноте бытия моего недостает опасности, — скорбит Лунин. — Я так часто встречал смерть на охоте, в поединках, в сражениях, в борьбах политических, что опасность стала привычкой, необходимостью для развития моих способностей. Здесь нет опасности».

Конечно, Б. Кубалов не поместил этой цитаты, ибо ему пришлось бы тогда разъяснить этот новый вид монаха-анахорета, высшее наслаждение видевшего в ощущении борьбы и опасности.

Но мало того, что Лунин избегает жизненной суеты; оказывается, что он «весь во власти идеи смерти: о смерти он говорит, о ней читает, пишет и как бы предчувствует неизбежно-роковое приближение ее» (стр. 127).

Вывод слишком поспешный. И на чем он основан — неизвестно. Все дан-

ные говорят за то, что Лунин, напротив, далек был от «идеи смерти». И даже много позднее, из Акатуя, когда смерть действительно уже готова была постучаться к нему, Лунин писал: «Здоровье мое поразительно. И если только не вздумают меня повесить или расстрелять, я способен прожить сто лет» (*Гессен и Коган*, назв. соч., стр. 279).

Покончив, таким образом, с внутренним миром Лунина, знакомство с которым якобы должно убедить нас в том, что Лунин был чуть ли не католическим священником, Б. Кубалов обращается к фактическим данным. Все они свидетельствуют о том же. Оказывается, напр., что, «если мы обратим внимание на сохранившиеся портреты М. С., относящиеся к периоду пребывания его на каторге и поселении в Урике, мы ясно отличим там сутану, с характерными для нее пуговицами» (стр. 132). Каюсь, пуговицы Лунина для меня очень убедительны!

«Только поступлением в один из монашеских орденов, — пишет автор, — Лунин мог быть известным папе и заслужить его внимание. Лунину было прислано из Рима на каторгу освященное папой чугунное распятие» (стр. 138).

Да не подумает читатель, что римский первосвященник вздумал посылать распятие русскому политическому преступнику. Распятие это прислала сестра Лунина, Е. С. Уварова, жившая за границей, а папа только освятил его, как делал это сотни раз ежедневно, может быть, даже не зная, для кого оно предназначено. Уж не решит ли на основании этого Б. Кубалов, что и Е. С. Уварова вступила в католический орден?

После всего этого, без видимого перехода, автор обращается к политической деятельности Лунина в Сибири. Оказывается, что и к борьбе с правительством побуждала Лунина католическая церковь, ибо «католицизм, не стесняясь, заявлял, что только он из своего незыблемого принципа... в состоянии решать все жизненные вопросы и тем спасти человечество от конечной гибели» (стр. 133). Эта цитата, однако, не способна в одном лице примирить католичество монаха и горячего убежденного революционера, каким справедливо рисует Лунина

Б. Кубалов во второй части своего очерка. Несмотря на все усилия автора, ему не удается натянуть сутану на гигантскую фигуру своего героя.

Не лишен интереса последний из напечатанных в книге очерков, в котором, под скромным заглавием «У могил декабристов», заключаются ценные фактические данные о многих забытых декабристах, Бесчасном, Люблинском и др., а также весьма любопытные воспоминания о декабристах их детей и сибирских старожилов.

В целом, если исключить неубедительный очерк о Лунине, книга Кубалова все же дает цельную и яркую картину сибирской жизни декабристов с того момента, как впервые две партии отправлены были туда, и до тех пор, как «монаршая милость» вернула из изгнания тех из декабристов, кому посчастливилось дожить до нее.

С. Гессен

Революция 1848 г. во Франции (Донесения Я. Толстого). Под редакцией и с предисл. Г. Зайделя и С. Красног. Центр. архив Гос. Изд. Ленинград, 1925.

Друг молодости Пушкина, член Союза Благоденствия и собраний «Зеленой лампы», впоследствии друг К. Маркса и посредник между ним и «русскими людьми сороковых годов», Я. Н. Толстой, как известно, значительную часть времени своей заграничной жизни состоял корреспондентом министерства народного просвещения, т. е. в сущности, агентом 3-го отделения собственной его величества канцелярии, а в конце 1848 года сделался советником русского посольства в Париже. Облик этого «степного помещика», по выражению П. В. Анненкова, блестяще зарисован Д. Б. Рязановым*.

Упомянув о назначении Я. Н. Толстого советником посольства, Д. Б. Рязанов полагает, что назначение это состоялось по следующим причинам: в бурный 48 год, когда был поставлен вопрос о защите принципа частной собственности, «было бы безумием от-

* См. его книгу «Карл Маркс и русские люди сороковых годов». Петроград, 1918. Стр. 56—78. См. также: Б. Л. Модзалевский. Я. Н. Толстой.—«Рус. старина», 1899, сентябрь и октябрь.

казываться от человека, который обладал не только прекрасными „ушами и глазами“, но и искусным пером».

А искусство своего пера Толстой мог доказать, по мнению Д. Б. Рязанова, составляя депеши о событиях в Париже, шедшие в Министерство иностранных дел от имени русского посла Н. Д. Киселева, краткое содержание которых излагал с большими похвалами в своем известном труде проф. Мартенс*.

Это предположение весьма вероятно. Хотя Толстой был официально назначен советником посольства только 29 декабря 1848 года, но из донесений, печатаемых в настоящей книге, видно, что поручения он выполнял и даже официальные разговоры от имени посольства вел уже в июле (см., напр., донесение от 8/20 июля о беседе с польскими эмигрантами и от 3/15 августа о поездке в Лондон по личным делам, но и с депешами от Киселева). Однако окончательный ответ на этот вопрос можно было бы дать только по ознакомлении с этими посольскими депешами. К сожалению, в разбираемой книге этих депеш не имеется. Донесения, содержащиеся в ней, не были посольскими депешами. Они предназначались для шефа жандармов графа А. Ф. Орлова и являются, таким образом, донесениями заграничного агента 3-го отделения. Но и эти донесения могли создать впечатление об искусном пере Я. Толстого и послужить причиной к назначению его советником посольства. Таким образом, вопрос об авторе депеш Киселева не может считаться решенным.

Печатаемые в настоящей книге донесения имеют, несомненно, громадный интерес. Авторы предисловия совершенно справедливо указывают, что в донесениях «поразительно верно схвачен смысл совершающихся событий», понятия «движущие силы революции, характер классовых противоречий, разъедающих французскую общественность». Но, по их мнению, это не столько заслуга Толстого, сколько вина обстоятельств — «крайнего обострения и обнаженности классовой борьбы, развернувшейся во Франции». Позволительно, однако, думать, что здесь сыграла некоторую роль образованность и одаренность автора донесе-

ний. Последние являются отнюдь не простой передачей того, что у всех на глазах и ясно само собой, а и глубоким проникновением в отдельные моменты и общие вопросы движения. Надо полагать, что Толстой, выдавший виды и людей, имевший довольно близкое общение с Марксом, мог приобрести эту способность проникновения.

В донесениях Толстого, прежде всего, находим интересную характеристику экономического положения Франции в 1848 году. «Банкротства с каждым днем учащаются; государственные бумаги падают с ужасающей быстротой; золото растет в цене с быстротой, порождающей серьезную тревогу; кредитные билеты уже понизились на 75 на 1000», — пишет он 29 февраля (12 марта). Именно в связь с таким положением Толстой ставит обострение классовой борьбы и популярность социалистических идей в рабочем классе. С первых же донесений он предвидит неизбежность столкновения между рабочими и временным правительством и замечает распространенность лозунгов о замене данного состава правительства «испытанными патриотами, людьми, не знающими колебаний».

Наблюдения над ролью рабочего класса в революции приводят русского полицейского агента к поучительным размышлениям. «Все крупные города, в которых правительство имело неосторожность допустить открытие многочисленных фабрик, являются, особенно в дни, когда работа не производится, ареной шумных сборищ, обычно предшествующих бунтам. Вообще фабричные рабочие составляют самую беспокойную и самую безнравственную часть городского населения; вот почему следовало бы ограничивать их численность в столицах и образовывать изолированные фабричные центры».

Конечно, не в этих глубокомысленных советах следует видеть проникновение в смысл событий. Оно — в понимании роли рабочих в революции. Оно — также в оценке политических сил противоположного лагеря.

Паника не владела Толстым. Он не думал, что наступает последний момент для «священного принципа собственности». Напротив, он уже в донесении от 17/29 февр. утверждает, что

* Соб. трактатов и конвенций, т. XV, стр. 223—235.

«девять десятых французов против республиканского образа правления», и предвидит восстановление монархии. Он внимательно ищет в потерявшей голову массе представителей имущих классов — сил и вождей, могущих восстановить порядок. Как и следовало ожидать, его первой надеждой был Ламартин — лидер антисоциалистического большинства временного правительства. Для Толстого сразу стало ясно, что не только социализм, но и революция, и республика не имеют в лице Ламартина искреннего приверженца. Ламартин, характеризует его Толстой, делает все от него зависящее, чтобы «очистить Париж от разбойничьей шайки, составляющей основу того, что здесь называют „суверенным народом“». «Чтобы управлять движением, он принужден был, так сказать, олицетворить собою республику и заставить замолкнуть свои собственные убеждения». Его действия — «великий шаг к торжеству человечности». Но утопающий хватается за соломинку. Таковы только первые отзывы Толстого о Ламартине. В дальнейших донесениях он рисует его с самой смешной стороны: как человека самовлюбленного, глубоко убежденного в своей популярности, преждевременно хвастающего своим будущим президентством, наконец, как человека, лишенного всяких убеждений. Да и все временное правительство представляется ему состоящим из посредственностей. Это люди, «не имеющие никакого представления об административном, политическом и государственном управлении, правда, в них много усердия и преданности идее, но их неспособность и их бессилие — явны».

Как ни относиться к этим отзывам русского агента, но несомненно, что они совпадают с отзывами людей совсем другого лагеря, людей, бывших в оппозиции временному правительству слева. «Временное правительство, — писал Герцен, — приняло за главный вопрос успокоить среднее состояние во Франции и встревоженные правительства в Европе. Оно не верило в свое собственное дело и оттого погубило его... Новой, государственной, построяющей мысли у него не было; отсюда это неприятное, нестройное колебание между двумя направлениями».*

* Полн. собр. соч. А. И. Герцена, ред. Лемке, т. VI, стр. 83.

Накануне открытия Национального Собрания Прудон писал о временном правительстве: «Эти республиканцы-любители, эти дворяне демократии имели такое понимание революции, такой страх перед народом, что, лишь придя к власти, они обратились ко всем посредственностям страны»*.

По мнению Толстого, высказанному еще в марте, Франции нужен «человек решительный, выдающегося ума... Это должен быть человек из военной среды, в большом чине, высокой репутации». Он должен был бы стать во главе армии и спасти столицу от «господства в ней подонков населения». И Толстой уверен, что армия «будет беспощадна к черни». Таким образом, не только ожидание, но и предсказание июньской расправы имеются в донесениях Толстого задолго до того, как она пришла.

Любопытно также, что деятельность Кавеньяка не вызвала большого восторга у Толстого. Правда, он, наконец, совершил расправу, но для Толстого ясно, что и это — еще не вождь. «Он боится скомпрометировать себя навсегда в глазах красной республики, порывать с которой он не желает». В нем нет готовности идти до конца против республиканских принципов. Напротив, с большим вниманием следит Толстой за растущей популярностью Луи-Наполеона и уже до июньского восстания (донесение от 1/13 июня) указывает на него, как вероятного кандидата в президенты республики, прибавляя к этому, что народ, солдаты и значительная часть торгового класса желают его видеть с титулом императора.

Мы находим, таким образом, что донесения Толстого обнаруживают проникновение в смысл событий. Но, конечно, фактическая сторона его сообщений подлежит серьезной проверке. В рассказах о несимпатичных ему деятелях революции он повторяет ходячие анекдоты о продажности, безнравственности и т. п. Поведение Луи Блана в день 15 мая он освещает согласно рассказам врагов председателя люксембургской комиссии. Эти рассказы совершенно не совпадают с собственным свидетельством Луи Блана, его общим политическим обликом и

* Proudhon. Oeuvres complètes. Tome XVII. Paris, 1868, pp. 22—23.

свидетельством некоторых других лиц*.

Донесения Толстого сравнительно немного дают для понимания русской политики 1848 года. Но кое-что все же дают. В качестве представителя посольства Толстой имел очень интересный разговор с делегацией польских эмигрантов. Среди последних в этот момент довольно неожиданно проявилось течение в пользу «ориентации» на Россию. И делегаты убеждали Толстого, что Россия — главная представительница славянства — заинтересована в восстановлении независимой Польши теперь, когда на очереди стоит национальное объединение Германии и Италии. По словам делегатов, если Россия не согласится на восстановление Польши, это восстановление состоится помимо России, так как и Германия и Франция готовы этому содействовать. Толстой, однако, хорошо понял причину этого шага польской эмиграции. Вопреки утверждениям делегатов он говорит, что «последние волнения в Познани лишили симпатии Германии и что положение их во Франции стало тоже менее благоприятным, особенно после событий 15-го мая, предлогом для которых послужила Польша, они стараются создать себе новое положение и находят лишь этот единственный выход для избежания полной изолированности и нищеты». Но могла ли Россия встать на путь, который ей указывали польские эмигранты?

Собственно говоря, перед Россией давно стояла дилемма: или победоносное завершение традиционной борьбы с турками и для этого обращение за содействием к национальным движениям славянских народов и, следовательно, примирение с поляками; или продолжение русификаторской политики в Польше, подозрительное отношение к национальным движениям вообще и отказ от завоевательных намерений по отношению к Турции. Примирение на Висле для натиска на Дарданеллы или, напротив, отказ от Дарданелл и суровое давление на Висле. Только так стоял вопрос. И николаевская дипломатия избирала последний путь. В ее глазах поддержка национальных движений требовала из-

мены консервативным принципам. Когда Бакунин в «Исповеди» посоветовал Николаю стать во главе славянского движения, Николай отказался «стать в голову революции». И на донесении Толстого последовала резолюция, предлагавшая полякам сдаться без всяких условий, с тем чтобы «по прежним примерам судить их военным судом».

В заключение не можем не выразить еще раз пожелания, чтобы были изданы, наконец, и депеши Киселева о событиях 1848 года.

А. Шебунин

М. П. Сажин (Арман Росс). Воспоминания. Изд. Всесоюз. О-ва Политкаторжан и Ссылнопоселенцев. Москва, 1925. Стр. 143. Цена 1 р. 10 к.

Не ко всем мемуаристам судьба бывает одинаково благосклонна, есть у нее свои пасынки. К величайшему сожалению, к числу таких пасынков относится, между другими, — правда, немногими, — мемуаристами, как раз автор названных здесь воспоминаний М. П. Сажин. Несколькими годами назад М. П. Сажин составил свои записки о прошлом, занявшие у него четыре большие тетради. И эта запись погибла! Восстанавливать раз написанное — что может быть труднее этого! Тем не менее М. П. Сажин сделал такую попытку, и в результате появляется настоящая книга его «Воспоминаний». Следы понесенной утраты слишком, однако, заметны на ней, и они зияют, как незакрытые раны. Благодаря этому, книга М. П. Сажина, помимо его воли, представляет собою не систематизированные воспоминания о прошлом, а отрывки из богатого запаса его наблюдений за целые 60 лет его сознательной жизни.

Основное содержание «Воспоминаний» располагается по двум руслу, — прежде всего, конечно, внимание М. П. Сажина привлекают М. А. Бакунин и бакунисты 70-х гг. Иначе и не могло быть, так как М. П. Сажин являлся одним из самых близких людей Бакунину за последний период его жизни, а после его смерти он, как бакунист, ушел на каторгу (по процессу 193-х). Бакуническое направление того времени обязано М. П. Сажину изданием таких характернейших для этого направления книг, как

* См. стр. 74—75 у Толстого, а также: Луи Блан. История революции 1848 года. Русск. пер. СПб, 1907, Стр. 437—440.

«Историческое развитие Интернационала» и «Анархия по Прудону» (написана Гильомом, переведена с рукописи Варфоломеем Зайцевым), не говоря уже о «Государственности и Анархии». В этих книгах — основное идейное содержание русского бакунизма 70-х гг., и одно уже это определяет роль М. П. Сажина в нашем прошлом.

Другое русло, по которому идут воспоминания Сажина, касается П. Л. Лаврова и «лавристов», что тоже естественно: как бакунист, он не мог обойти и своих тогдашних противников. Из статей М. П. Сажина на обе эти темы часть была напечатана еще раньше (краткая автобиография в «Каторге и ссылке» за 1923 г.; о гражданской казни Чернышевского в «Русск. бог.» за 1909 г.; о Лаврове в «Голосе минувшего» за 1915 г.; «Парижская Коммуна» в «Известиях» за 1921 г. и т. д.), остальные появляются впервые. К последним относятся: «Первая ссылка и побег», «Ответ Герману Лопатину»; воспоминания о Нечаеве, к слову сказать, в высшей степени интересные; «Первая встреча с Кропоткиным»; «Поездка в Герцеговину»; воспоминания «О харьковском центре».

Один перечень этих статей, как напечатанных раньше, так и появляющихся впервые, показывает, насколько интересны должны быть записки Сажина. Значение их усиливается тем, что в его книге собрано вместе все, им написанное, благодаря чему она приобретает вид цельного цикла статей, восполняющих до известной степени потерянный текст его первоначальных записок. Другой отличительной чертой «Воспоминаний» Сажина является их строго фактический характер, временами почти что протокольный. Сажин не литератор по своим дарованиям — это практик-организатор, и очень крупный, а не идеолог и не мемуарист по склонностям. И в этом отношении М. П. Сажин своего рода пасынок мемуарной литературы, о чем опять-таки приходится искренне пожалеть. Как много он мог бы рассказать и как обидно скуп на слова!

Будем, впрочем, благодарны ему и за то, что он дает, так как в этой скупости есть своя выгодная сторона: Сажин регистрирует только существенное, вот почему каждая его заметка, даже самая скромная по размерам, в 1—2 стр., — а таких у него несколько,

— представляет собою всегда что-нибудь значительное, а часто и очень ценное. Таковы все его воспоминания, перечисленные выше: о центре, о Герцеговине, о Нечаеве и, конечно, о Бакунине. Как всякие мемуары, эти очерки требуют, разумеется, встречной проверки — мемуарная литература всегда односторонняя — тем более что автор сам в одном случае должен был признать, как временами ему «изменяла память» (см. примеч. к стр. 95); тем не менее большая историческая ценность всей серии «Воспоминаний» стоит вне всяких сомнений. Если они в этой части — бакунинской — требуют оговорки, то не столь значительных.

Несколько иное придется сказать о другой части «Воспоминаний» М. П. Сажина — это именно о той, которая касается не Бакунина и бакунистов, а Лаврова и лавристов. Здесь автор гораздо более субъективен, и текст его требовал бы в этом случае многих поправок и пояснений, но, во-первых, к книге М. П. Сажина целиком приложена (стр. 121—132) статья Г. А. Лопатина «К рассказам М. П. Сажина о Лаврове», представляющая ряд очень существенных возражений автору, которые отнюдь не теряют своей убедительности и после его ответа Лопатину (см. стр. 55—62). А во-вторых, они касаются таких сторон деятельности и взглядов Лаврова, на которые даже среди комментаторов и истолкователей Лаврова до сих пор не установился прочный взгляд, что дает большой простор для разногласий в оценке его тогдашней позиции. Мы отнюдь не хотим сказать, впрочем, что Сажин прав в своей характеристике Лаврова и его знаменитых «трех программ» (см. стр. 36 и след.), о которых в свое время было столько разговоров, — напротив, мы полагаем, что здесь он допускает несомненные ошибки, рисуя Лаврова начала 1870-х гг. почти что «либералом», что, во всяком случае, спорно*. Мы отмечаем

* Сам П. Л. Лавров, так же как М. П. Сажин, был крайне несловоохотливым мемуаристом, однако кое-что характерное он дает в смысле определения этапов своего развития. Ср., напр., примечания на стр. 50 и сл. его «Народников-пропагандистов». Оно дает большой материал для поправок к тексту Сажина. См. также чрезвычайно интересные воспоминания о Лаврове покойного Л. Ф. Пантелеева в сб. о Лаврове, изд. «Колос» («П. Л. Лавров». Изд. «Колос». Петр., 1922 г., особенно стр. 423, 426, 428 и др.).

лишь, что при современном состоянии литературы о Лаврове даже такие ошибки не лишены законности. Критического исследования литературной и общественной деятельности Лаврова мы до сих пор не имеем, а то, что имеем, очень некритично, в этом едва ли можно сомневаться. Для нас все еще рисуется, как в тумане, фигура и позиция Лаврова в 1860-е гг., и Лавров этой поры до сих пор в нашем представлении не связывается, а противопоставляется Лаврову 70-х гг., как редактору «Вперед» и автору «Парижской Коммуны» (ср. у Сажина, стр. 56—57), — тогда как между этими двумя периодами у Лаврова на самом деле была связь чисто органическая.

Сажин, как и многие другие, не видит в Лаврове 1860-х гг. будущего автора «Парижской Коммуны», отсюда у него и проистекают ряд ошибок при общей оценке и характеристике Лаврова. Однако и в том виде, как теперь, его воспоминания о Лаврове имеют крупный интерес и значение, так как они представляют собою точно сформулированный взгляд современников на Лаврова. Именно так смотрели на Лаврова его противники, тогдашние бакунисты, и верен этот взгляд или неверен, справедливы или несправедливы обвинения их по адресу Лаврова, они безусловно существовали и выражены в «Воспоминаниях» М. П. Сажина очень рельефно, без смягчений. Большого, собственно, от мемуаров требовать мы не можем. Все же остальное — дело исторической критики, которая в значительной степени еще впереди.

Претендовать на М. П. Сажина, что он не превосходит этой критики, было бы довольно странно. Мы можем лишь выразить глубокое сожаление, что таким людям, как он, приходится, не по своей вине, оставлять себя в тени мемуарной литературы, тогда как по существу они имели бы все права на одно из самых почетных мест среди наших мемуаристов. Оговоримся, впрочем, еще раз: книга «Воспоминаний» М. П. Сажина, даже в том виде, как сейчас, будет отнесена к числу незаменимых пособий для характеристики и для истории русского бакунизма 1870-х годов.

М. Горбунов

О. Э. Вольценбург. Библиографический путеводитель по революции 1905 года. Систематический обзор книг и журнальных статей о первой русской революции. Гос. Изд. Л., 1925. Стр. 253+3 н. Ц. 3 р.

В 1922 г. в издании Ленинградского губполитпросвета вышел составленный О. Э. Вольценбургом и В. А. Фейдер библиографический указатель: «Что читать о 9 января 1905 года» («В помощь читателю и библиотекарю», № 2). Появившийся в конце 1925 г. «Библиографический путеводитель по революции 1905 года» представляет собою совершенно новый труд: вопрос захвачен гораздо шире, — взят не только один эпизод революции 1905 г. — 9 января, но и вся она в целом, указаны 962 книги и статьи, вместо 98, приведенных в первом труде.

О. Э. Вольценбург — опытный библиограф и притом весьма деятельный, выпустивший за последнее время несколько библиографических указателей. Это дает право предъявить к его новому труду строгие требования библиографической методологии.

Прежде всего следует отметить, что большим и непростительным недостатком труда О. Э. Вольценбурга является то, что предисловие не дает ясного представления о том, как составлен указатель, что затрудняет его использование.

О. Э. Вольценбургом указана как послеоктябрьская литература о революции 1905 г., так и напечатанная до Октября, причем отмечаются труды разнообразных политических направлений. Поступая так, О. Э. Вольценбург проявляет необходимую осторожность и каждый раз указывает, к какому политическому лагерю принадлежит автор. В отношении подбора материала достоинством указателя является также и то, что приведена художественная литература, рисующая революцию 1905 г. и дающая иногда живое и яркое представление о ней, как, например, произведения М. Горького, Вольнова, Вересаева, Скитальца и др.

Указывая, как на достоинство труда, на перечисление в нем богатого и разнообразного материала, приходится отметить и методологические недостатки, относящиеся к подбору материала. Так, нигде не указан принцип,

по которому подбирался материал. Судя по структуре указателя, составитель ограничивается 1905 г., но так же как ряд приведенных работ касается и революционного движения 1906 г., то было бы методологически правильнее исчерпать и этот год. О. Э. Вольценбург не говорит о том, ставил ли он своей задачей привести только литературу, рисующую фактическую сторону движения, или же и работы, посвященные ему вообще. Судя по указателю, составитель преследовал главным образом первую задачу, но отмечал и некоторые работы, посвященные вообще революции 1905 г. Если это делалось, то следовало бы указать и другие аналогичные работы. Наконец, составителем не указаны точно хронологические грани приводимого материала. Так, встречаются указания на издания 1925 г. (№ 895, 904), но до какого времени просмотрены издания этого 1925 г., не отмечено.

Самым существенным методологическим недостатком труда О. Э. Вольценбурга является отсутствие указаний на то, какие издания им просмотрены и какие библиографические пособия использованы. Благодаря этому затрудняется ориентировка в библиографии революции 1905 г. Используя труд О. Э. Вольценбурга, не знаешь, следует ли обратиться к другим библиографическим пособиям, например, к изданному Коммунист. Академией в 1924 г. под ред. Г. Бешкина указателю «Легальной социал-демократической литературы в России за 1906—1914 годы», дающему много указаний на статьи о революции 1905 г., или же эта работа использована уже О. Э. Вольценбургом. Наконец, неуказание просмотренных изданий и использованных библиографических источников осложнит работу будущего библиографа революции 1905 г., заставит его проделывать работу заново, посмотреть то, что, быть может, уже было использовано О. Э. Вольценбургом. Не имея точных сведений, какие библиографические пособия были просмотрены О. Э. Вольценбургом, можно сказать, что, если они и были все использованы, то некоторые из них недостаточно и неполно. Так, в «Указателе литературы по истории русского революционного движения» (Спутник лектора, Пгр., 1920), «Программа чтения по русской истории» С. В. Вознесен-

ского (Пгр., 1923), «Библиографическом ежегоднике» И. В. Владиславлева (вып. V и VI, за 1921—1923 гг., М.—П., 1923 и 1924), «Что читать по общественным наукам» И. С. Книжника (2-е изд. Л., 1924) приведены некоторые работы о революции 1905 г., не указанные О. Э. Вольценбургом, но отметить которые следовало бы. Недостаточно использована и легальная социал-демократическая печать 1906—1914 гг. Не указан ряд заслуживающих внимания статей, приведенных в отмеченном выше указателе, изданном Коммунистической Академией. О. Э. Вольценбург в предисловии говорит, что он не претендует на полноту. Конечно, библиограф в праве производить отбор материала, но тогда он должен придерживаться строго определенного принципа в подборе материала. О. Э. Вольценбург не формулирует этого принципа и, отмечая работы, которые по его же словам внимания не заслуживают (напр.: «Москва на баррикадах». М., 1906, № 932), не указывает некоторых работ, представляющих ценность и интерес в том или ином отношении. Так, наряду с приведенным материалом следовало бы отметить следующие работы: 1) Стрельский, П. Партии и революция 1905 г. Спб., 1906; 2) Менжинская, Л. Месяцеслов революционного движения. Временник революционных событий 1905 г. Мартиролог. — «Рабочий ежегодник». Вып. 1. Спб., 1906; 3) Ларский, И. По России. Вооруженные восстания 1905 г. — «Мир Божий», 1906. № 1; 4) Ларский, И. По России. Волнения в городах, деревнях и армии. — «Мир Божий», 1906, № 4, 6 и 7; 5) Горький, М. По поводу московских событий (О роли Дубасова во время декабрьского восстания в Москве). — «Молодая Россия», 1906, № 1; 6) Гапеев, А. Победленные и победители. (Сведения о расстрелах во время декабрьского восстания в Москве). — «Молодая Россия», 1906, № 1; 7) Хроника. Итоги гражданской войны за две недели (Военное положение. Аграрные беспорядки. Жертвы столкновения. Списки убитых. Обыски). — «Молодая Россия», 1906, № 1; 8) Чужак, Н. (Насимович). Очерки провинциальной жизни. Деревенские картины (О карательных экспедициях, в частности об экспедиции ген. В. В. Сахарова в Саратовскую и Пензенскую губернии). —

«Наша мысль», 1906, № 1—2; 9) Из практики борьбы с крамолой. (Выдержки из отчета сенатора Кузьминского, ревизовавшего деятельность администрации в Баку). — «Наша мысль», 1906, № 3—4; 10) П-а. Из Прибалтийского края (О революционном движении после 17 октября 1905 г. и о белом терроре). — «Наша мысль», 1906, № 5; 11) А. Ц. Крестьянское движение в Ставропольской губернии. — «Наше дело», 1906, № 2; 12) И. С. Октябрьские дни в Ростове-на-Дону. — «Наше дело», 1906, № 6; 13) Хроника (Казни по приговорам военно-полевых судов. Аграрное движение). — «Невский вестник», 1906, № 2; 14) Кок, И. Всеобщая забастовка в Финляндии. Перев. с финского с предисловием А. Игельстрома. Спб., изд. «Друг народа», 1907; 15) Николаев, Н. Москва в огне. 1905—1907. Очерки недавнего прошлого. М., 1908; 16) Вентин, А. Пятилетние итоги. — «Соврем. мир», 1910, № 12; 17) Дыбенко, П. В недрах царского флота. М.—П. Изд. «Коммунист», 1919; 18) Прокопцев, М. Из воспоминаний старого большевика. Ред. Гомельского Бюро Истпарта. Гомель. Изд. «Гомельский рабочий», 1922; 19) Шебалов, А. К закрытию Нижне-Исетского завода. — «Архив истории труда», 1922, № 5; 20) Зеленко, В. Из пережитого. (Воспоминания о революционной деятельности учительства) (Прибалтика). — «Дела и дни», 1922, № 3; 21) В. М. Из переписки лейтенанта Шмидта. — «Красный архив», 1922, № 2; 22) Попова, О. 9 января 1905 г. (Материалы для агитаторов). — «Политвестник», 1922, № 1; 23) Бранденбургский, Я. (Валериан). Из воспоминаний (Екатеринославский комитет Р.С.Д.Р.П. в 1904 и 1905 гг.). — «Пролетарская Революция», 1922, № 5; 24) Шебанов, А. К истории крестьянских беспорядков 1905 г. — «Архив истории труда», 1923, № 6—7; 25) Гейман, В. Сумасшедший генерал-губернатор (Материалы к истории «Потемкина»). — «Голос минувшего», 1923, № 1; 26) Риш, А. Рабочая республика в Енакиеве (в Донбассе) (Отрывки из воспоминаний). — «Пролетарск. Мысль», 1923, № 3—4; 27) Пирейко, А. Партийная работа во 2-м городском районе Петербурга (1905—1910) (По личным воспоминаниям). — «Пролетарск. Революция», 1923, № 4. Перечисляя различные биб-

лиографические труды, в которых дан список литературы о революции 1905 г., О. Э. Вольценбург не указывает: О. И. Власова, Е. М. Орловская и И. Г. Бендер. Первомайские прокламации. Библиографическое описание. Под редакцией С. Н. Валка и А. А. Шилова. Л., 1924, и отмеченные выше «Спутник лектора», указатели С. В. Вознесенского, Г. Бешкина, И. С. Книжника.

Переходя к примененным в указателе техническим приемам библиографического описания, следует прежде всего отметить как большое достоинство то, что все перечисленные книги и статьи непосредственно просмотрены составителем, хотя об этом нигде не упомянуто. Описаны книги и статьи с одинаковой и достаточной полнотой, с указанием всех важнейших элементов библиографического описания. Насколько точно описаны книги и статьи, сказать трудно, для этого пришлось бы проверять всю работу. Несомненно, что некоторые неточности допущены. Так, например, вместо фамилии Крамаров (№ 146) указана Комаров, не совсем точно описана книга Ал. Пиленко: «Забастовки в средних учебных заведениях С.-Петербурга» (№ 764). Ко всем почти книгам и статьям даны аннотации, в составлении которых кроме О. Э. Вольценбурга принимали участие члены Библиографической Комиссии Ленинградского Губполитпросвета: А. П. Башилов, Е. В. Кезевич, М. И. Кинкуликин, В. М. Покровский и С. П. Розов. Одни из аннотаций более подробны и обстоятельны, другие менее, они не носят одинакового характера, одни полнее вскрывают содержание книги, другие менее, одни указывают, в чем заключается значение данной книги или статьи, для какого читателя они пригодны, другие об этом не говорят. Несмотря на это, помещенные в указателе аннотации являются очень большим достоинством указателя, увеличивают значительно его ценность, облегчая использование его и ориентировку в приведенном материале. Непосредственный просмотр всех отмеченных 962 книг и статей и снабжение их аннотациями, что потребовало много времени и труда от составителей, нужно признать их большой заслугой.

В основу распределения материала

в указателе положен календарный порядок событий революции 1905 г., и материал разбит на довольно мелкие рубрики. Принятый порядок расположения материала удобен и позволяет легко ориентироваться в приведенной литературе. Использование труда О. Э. Вольценбурга еще более облегчается приложенными вспомогательными алфавитными указателями, позволяющими навести самые разнообразные справки и использовать труд в различных отношениях. Этим вспомогательных указателей несколько: 1) деятелей революции 1905 г., 2) городов, губерний и местностей, 3) журналов и сборников, 4) авторов и редакторов. Наряду с этими указателями очень уместен и полезен приложенный также довольно подробный «Календарь революции 1905 года», позволяющий найти литературу о каждом отдельном ее событии. К сожалению, в этих указателях встречаются ошибки: см., например, ссылки на № при «Мире Божьем», «Пролетарской Революции», Гореве Б. И., Слепкове А.

У нас имеется несколько небольших указателей литературы о революции 1905 г., перечислена она и в отмеченных выше общих библиографических справочниках по истории революционного движения и социальным наукам: «Спутнике лектора», трудах А. А. Шилова, С. В. Вознесенского, Г. Бешкина, И. С. Книжника. Труд О. Э. Вольценбурга является первым выполненным в таких широких рамках специальным указателем литературы о революции 1905 г., первой серьезной попыткой обследовать весь материал о ней. Несмотря на отмеченные недостатки, работа О. Э. Вольценбурга является солидным библиографическим трудом, ценным вкладом в библиографию русского революционного движения, значительно облегчающим использование довольно большой литературы о революции 1905 г. и ориентировку в ней. О. Э. Вольценбург предназначает свой труд главным образом для политпроблетработников (агитаторов, библиотечкарей, лекторов, пропагандистов), а также и для отдельных читателей, широко интересующихся историей русского революционного движения. Но, безусловно, значение указателя шире: он окажет хорошую услугу и тому, кто серьезно изучает революцию 1905 г.

А. Фомин

Русская сатира первой революции 1905—1906. Составили В. Боцяновский и Э. Голлербах. Гос. Изд. Ленинград, 1925. Стр. 224. Цена 3 руб.

Начнем с оговорок относительно некоторых особенностей издания. Прежде всего, судя по титульному листу, можно думать, что мы имеем дело с хрестоматией, тогда как книга представляет собой самостоятельную работу по истории русской сатиры в эпоху первой революции, а отнюдь не хрестоматию, всегда составляемую (больше, понятно, ножницами, чем пером). А затем — имя Э. Голлербаха, написавшего талантливый очерк о журнальной графике 1905—6 гг., не может быть поставлено здесь рядом с именем В. Боцяновского, так как последнему из 170 страниц текста принадлежит 145, Голлербаху же только 25, причем эта разница должна представляться еще более значительной, если принять в расчет, что очерк Голлербаха весьма густо насыщен рисунками*.

Скажем заодно и о еще двух особенностях книги. Во-первых, внешность книги (в особенности по сочетаниям цветов бумаги и красок) такова, что вряд ли она послужит стимулом к привлечению внимания широкой читающей публики, и, во-вторых, расценка книги в 3 руб. при размере ее в 224 страницы, несомненно, преграждает всякий доступ к ней читателю из трудящихся. А между тем книга заслуживает того, чтобы она дошла до массового читателя, так как она посвящена еще неисследованной области истории первой русской революции. Ведь область русской сатиры XX в. не только не исследована и не оценена в должной мере, но и не обследована в своих источниках. Тот шумный водоворот, каким характеризовались дни революционного подъема, вызвал к жизни политическую сатиру, дотоле мало ведомую русским читателям. Правда, мы знаем образцы блестящей бытовой сатиры как в области литературы, так и ри-

* В объявлении, помещенном в № 16 (41) «Бюллетеня торгового сектора Ленгиза»; книга называлась иначе: В. Ф. Боцяновский. Русская сатира первой революции 1905—1906 гг. С приложением статьи Э. Ф. Голлербаха «Политико-сатирическая графика». Такое заглавие, бесспорно, больше отвечало действительности и справедливости.

сунка — в первую половину и 60-е годы XIX века, но к концу последнего она заметно пошла к упадку. Вялая и бесцветная по внутренним художественным достоинствам, по содержанию своему она не шла дальше «теш» и разгулявшихся купцов. Только первая революция изменила ее содержание и дала ей другое направление.

Труд В. Ф. Боцяновского — первый опыт в области исследования сатирических журналов 1905 г. В описательной форме автор дает характеристику сатире, предшествующей революции, останавливаясь вкратце на сатире 60—70-х гг. («Искра» Курочкина и «Свисток» «Современника») и взглядах на нее Добролюбова, Достоевского и Салтыкова-Щедрина. Цензурные тиски приводили сатириков к изощрению в изыскании легальных форм для обличения общественно-политических пороков. Как это отражалось на сатириках, видно из одного письма Салтыкова-Щедрина. «Думается, — говорит он, — что самое лучшее, вместо всякого писания, наплевать в глаза. А тут еще сиди да всякую форму придумывай, рассчитывай, чтобы дураку было смешно, а сукину сыну не совсем обидно...» (Цит. по рецензируемому изданию.)

Первая русская революция была эпохой обильного выхода сатирических журналов, несмотря на все притеснения и гонения, каким они подвергались и до акта 17 октября, и после. Как велик был интерес к политической сатире, показывают цифровые данные выходящих в свет журналов. До 1900 г. едва ли не за все столетие существовало сатирических журналов: в Петербурге — 47, в Москве — 12 и провинции — 20 (стр. 36). В течение последних двух месяцев 1905 г. и начала 1906 г. в Петербурге и Москве — по неполным данным — вышло 84 журнала. Сатирические журналы выходили также в Одессе, Киеве (на украинском языке — «Шершень»), Ярославле, Полтаве, Тифлисе, Владивостоке, Харькове и др. крупных провинциальных центрах. Всего же за период 1905—1907 гг. в одном Петербурге вышло 178 журналов, в Москве — 43 и провинции — 88 (стр. 37).

Из журналов, сыгравших наиболее крупную роль в революции 1905 г., нужно отметить: «Зритель» Арцыбушева, «Пулемет» Шебуева, «Сигнал»

Чуковского, «Жупел», «Стрелы», «Адская Почта» и «Леший». Что же касается художников, определявших художественную значимость сатирических журналов, то здесь мы находим самые видные имена: Кустодиева, Чехонина, Е. Е. Лансере, Анисфельда, Добужинского, И. Бродского, Кардовского, Герардова, Гржебина, Сварога и Фалилеева.

Но как ни многочисленны сатирические журналы 1905—1906 гг., нельзя сказать, чтобы по своему происхождению они охватывали широкие общественные слои, сатирические журналы первой русской революции отражали взгляды оппозиционной интеллигенции, видевшей корень зла в самодержавии и не шедшей, в сущности, дальше общедемократических лозунгов. Ни крестьянство, ни рабочий класс своих журналов не имели, и если им тем не менее уделялось большое внимание, то это бралось под углом интеллигентской расплывчатой идеологии — поверхностной и ограниченной. Правда, рабочие газеты (преимущественно профессиональные) не были чужды сатире, а в 1906 и 1907 гг. мы уже видим и специально рабочие сатирические журналы («Балда» и «Топор»), но все это мало характеризовало основное течение сатирической мысли той эпохи и не имело широкого влияния.

Для оценки политической обстановки 1905 г. судьба сатирических журналов дает богатейший материал. Некоторые из них (напр., «Зритель» Арцыбушева) начали выходить еще до «свобод» 17 октября, и первое же появление их в свет ознаменовалось конфискацией и преданием суду редакторов-издателей. Но не совсем благополучно обстояло дело и после издания пресловутого манифеста: журналы по-прежнему подвергались конфискациям в судебном порядке, а редакторы-издатели — переселялись на жительство в «Кресты».

Главной мишенью для журналов 1905 г. служили Николай II и камарилья. Такие царедворцы, как Дурново, Горемыкин, Победоносцев, Витте, а из великих князей — Владимир и Алексей Александровичи, наряду со своим патроном являлись главными фигурами, дававшими материал сатирическим журналам. Из событий 1905 г. наиболее выпуклое выражение

в сатирических журналах получили: события 9-го января, Цусима и декабрьское восстание в Москве и следовавшие за ним карательные экспедиции «семеновцев» Римана и Мина. Попутно давалась блестящая оценка — особенно в изобразительной части журналов — «сухопутному адмиралу» Дубасову, залившему кровью Москву.

Эволюция либералов после провозглашенных «свобод» также получила некоторое отражение в сатире 1905 г. (харьковский журнал «Штык», стр. 105); отмечено и движение во флоте («Зритель», 112), но все это крайне художочно и бледно.

С падением революционной волны сатирические журналы оппозиционного направления начали сходиться со сцены, а на их место понемногу стали пробиваться на поверхность черносотенные журналы («Кнут», «Скворец» и др.).

Хорошим дополнением к книге служит ярко написанный Э. Ф. Голлербахом очерк «Политико-сатирическая графика», дающий оценку изобразительных достоинств сатирических журналов первой русской революции. Если резюмировать выводы Голлербаха, то придется признать, что сатирические журналы 1905—1906 гг. за редким исключением (таковы «Жупел», «Адская почта» и «Леший», сгруппировавшие вокруг себя лучшие художественные силы) художественной ценности не имеют.

К книге приложены: 1) список художников, участвовавших в сатирических журналах 1905—1906 гг., с их ссылающихся к преследованию сатирических журналов судебными и цензурно-полицейскими властями, и 3) довольно обстоятельный список сатирических журналов, выходивших в Рос-факсимиле; 2) 10 документов, относящихся к времени с 1905 по 1908 гг.

Труд В. Ф. Боцяновского — первый опыт научного обследования и оценки сатирической литературы первой русской революции. Не ставя себе социологических задач, автор в блестящей литературной форме дает богатейший фактический материал. Труд, прокладывающий вехи в совершенно новой области, понятно, не может претендовать на исчерпывающую полноту, но он должен послужить серьезным основоположением в дальнейшей разра-

ботке поставленной темы. Обследование всех позднейших сатирических журналов, не исключая и журналов монархического направления, — острая задача, вытекающая из работы В. Ф. Боцяновского.

Н. Николаев-Бергин

К. В. Базилевич. Очерки по истории профессионального движения работников связи. 1905—1906. Изд. Ц.К. Союза связи. М., 1925. Стр. 616+98+XIII+23 табл.

В основу «Очерков» К. Базилевича положен обширный материал — архивные данные и воспоминания участников движения, — собранные Исторической комиссией при ЦК Союза связи. В результате исследовательской работы автора над этим материалом мы имеем в рассматриваемой книге ясную картину вовлечения почтово-телеграфных работников в революционное движение и активного участия их в нем.

Развитие революционного движения среди работников связи представляется в следующих общих чертах. До 1905 г. в нескольких крупных городах (Москва, Харьков) создаются, начиная с 1902 г., небольшие конспиративные кружки, которые ведут политическую агитацию среди почтово-телеграфных работников, затрагивая в то же время и профессионально-экономические вопросы. Работа этих кружков велась под влиянием двух партий: с.-д. и с.-р.

В начале 1905 г. (февраль — май) движение работников связи развивается по линии легальных попыток улучшить свое положение путем подачи петиций, которые не привели ни к каким результатам. С развитием в стране революционного движения среди почтово-телеграфных работников делаются попытки создания своей организации для борьбы за свои права. Уже в конце июля в Москве создано организационное Центральное Бюро, взявшее на себя инициативу объединения почт.-телегр. работников в профессиональный союз. В октябре и начале ноября союз вполне оформился, 15 ноября в Москве был созван Всероссийский съезд, работавший до 6 декабря и руководивший

ноябрьской всероссийской почтово-телеграфной забастовкой.

1906 г. был периодом подпольного существования почтово-телеграфного союза, заглохшего с развитием реакции. Дальнейшие годы выходят за пределы книги К. Базилевича.

Трудно согласиться с данной автором оценкой политической деятельности почтово-телеграфного союза. По словам К. Базилевича, «зародившись в недрах государственных учреждений, союз нес на себе формы политической организации» и «политический момент» играл в профессиональном движении работников связи «исключительную роль» (стр. 614). Оба эти утверждения остаются не подкрепленными фактически материалом. При больших организационных достижениях почтово-телеграфного союза, принявшего сразу высшие организационные формы при сильнейшей централизации аппарата, политический облик его крайне расплывчат и бледен. В этом отношении он разделил судьбу своего прототипа в организационном отношении — железнодорожного союза, у которого был заимствован, с небольшими изменениями, устав.

В Центральном Бюро почтово-телеграфного союза были сильны эсеровские влияния; на Всероссийском съезде, в момент наибольшего развития союзной работы, выступали представители с.-д. партии, но в общем политическая ориентация съезда оказалась какой-то половинчатой, и он запутался в колебаниях между Союзом Союзов и Советом Рабочих Депутатов. Так, 20 ноября съезд, после некоторого колебания, решил не присоединяться к Союзу Союзов, как к буржуазной организации (стр. 21), 22-го ноября «было принято постановление о присоединении к Совету Рабочих Депутатов», но «вместе с принятием этого постановления было решено отправить в Союз Союзов одного представителя с тем, чтобы принимаемые в нем решения не были обязательными» (стр. 212). Автор ограничился лишь сообщением отмеченных фактов, не говоря ничего о проведении в жизнь этих противоречащих одно другому постановлений. Все это плохо согласуется с высказанными на стр. 5 и 614 цитированными выше положениями. В заключительных выводах

книги автор не дал достаточных обобщений о роли с.-д. партии, которые суммировали бы разбросанные на страницах о ноябрьской забастовке отдельные сведения об отношении к стачке с.-д. организаций в различных районах.

Наиболее полно разработана К. Базилевичем история и ход всероссийской почтово-телеграфной забастовки (ноябрь — декабрь 1905 г.). Автором использован огромный материал и внимательно прослежено развитие забастовки в различных районах России.

Одним из наиболее ярких моментов в движении работников связи была забастовка в Чите, где, как и вообще в Забайкалье, «революционное движение развертывалось совершенно открыто и без всяких помех» (стр. 468). При поддержке воинских частей и твердом руководстве местного комитета социал-демократической партии почтово-телеграфная забастовка в Чите привела к переходу почтамта в руки восставших. По постановлению, принятому на митинге 19 декабря, управление почтой и телеграфом было передано Исполнительному Комитету почтово-телеграфного союза (стр. 474—477), который возобновил работу в почтамте для операций «частного и общественно-областного характера», при бойкоте правительственной корреспонденции. Такие же меры предполагалось провести по всей Сибири, но к концу декабря восстание в Забайкалье было подавлено оправившимся от первоначальной растерянности правительством.

В обзоре «Всероссийской почтово-телегр. забастовки в целом» (глава пятая, раздел XI), в части, касающейся влияния забастовки на торгово-промышленную жизнь, данные автора могут быть несколько дополнены. Им не дано указания, откуда взята записка Московского биржевого общества от 2 декабря 1905 г., известная нам по копии, имеющейся в одном из дел архива Министерства торговли и промышленности. В этом же деле сохранились другие любопытные документы, неизвестные, по-видимому, К. Базилевичу, но очень характерные для отношения торгово-промышленных кругов к почтово-телеграфной забастовке. (Архив м-ва торг. и пром., отдел торговли. III отделение, I стол, дело № 51,

1905 г. ч. 1). «По разным вопросам в связи с беспорядками и забастовками»; ср. мою статью в № 4 (15) «Кр. летописи» за 1925 г. — «Буржуазия в борьбе с забастовками в конце 1905 г.». Из них мы узнаем о выработанном в Петербурге 17 ноября на совещании торгово-промышленных деятелей под председательством министра торговли и промышленности плане срыва почтово-телеграфной забастовки, путем организации перевозки почты через специальных ответственных артельщиков; при содействии министра торговли и промышленности Тимирязева были обещаны бесплатный провоз корреспонденции и проезд артельщиков, а также воинская охрана поездов (л. 11—13 указ. дела).

В этом же деле имеются два документа, дающие несколько новых штрихов, характеризующих позицию Московского Биржевого общества по отношению к забастовке почты и телеграфа. Это — доклад и записка члена избранной обществом комиссии для борьбы с забастовкой, крупного заводчика Ю. П. Гужона (доклад — л. л. 123—125 дела, записка — л. л. 127—128). Доклад, представленный им обществу 27 ноября 1905 г., наряду с признанием необходимости «справедливого улучшения» положения работников почты, объявляет их забастовку «преступной затеей», составляющей, «какими бы причинами ее ни объяснить, преступление против общества,

против государства при всяком правительстве». Гужон считал долгом Моск. Биржевого общества требовать от правительства «самых строгих законодательных мер» против бастующих.

В записке Гужона от 7 декабря очень характерна оговорка, что Моск. Биржевое общество, соглашаясь принять на себя расход по увеличению жалованья почтовым чиновникам, имело в виду лишь служащих московских учреждений почтового ведомства. Эта оговорка значительно смягчает красивый жест, сделанный Биржевым обществом в первые дни забастовки (в дальнейшем, после прекращения стачки, Общество уже не заговаривало об отпуске средств на оплату чиновников, см. стр. 560 разбираемой книги).

Ноябрьско-декабрьская всероссийская забастовка была временем наивысшего подъема в движении почтово-телеграфных работников. После декабрьской победы реакция деятельности почтово-телеграфного союза ослабевает, и 1906 г. проходит в обстановке подполья.

Хорошим приложением к работе Базилиевича служит помещенное в конце книги собрание прокламаций к работникам связи от партий с.-д. и с.-р. и почтово-телеграфного союза, начиная с периода конспиративных кружков 1902 г. и кончая 1906 годом.

Т. Шатилова

П. С. ИВАНОВСКАЯ

ДЕЛО ПЛЕВЕ

(Из воспоминаний)

Предисловие

Автор предлагаемых вниманию читателя воспоминаний, Прасковья Семеновна Ивановская-Волощенко, принадлежит к тем, уже немногочисленным, семидесятникам-ветеранам революции, которые и до сих пор еще не утратили бодрости, столь характерной для людей этого поколения, и продолжают свою общественную деятельность в пределах, конечно, оставшихся сил и политических ситуаций. Проживая последние годы — войны и революции — в г. Полтаве, несколько раз переходившей в течение гражданской войны и к белым, и к красным, Прасковья Семеновна (совместно с Вл. Гал. Короленко) отдавала все свои силы Красному Кресту, и ее энергии и усилиям не одна жизнь политических заключенных обеих борющихся сторон обязана была своим сохранением. Сохранено было, конечно, и здоровье весьма многих заключенных.

Прасковья Семеновна родилась в 1853 г., в семье священника, в Тульской губ.; по окончании духовного училища, получив звание домашней учительницы, еще в юном возрасте окунулась она в среду революционной молодежи первой четверти 1870-х годов. Попав сначала в Петербург — вместе с сестрами Авдотьей Семеновной (будущей Короленко) и Александрой Семеновной (будущей Малышевой), — Прасковья Семеновна сразу сделалась близким человеком в кружке молодежи, во главе которого стоял ее брат, тогда весьма популярный и пользовавшийся большим влиянием среди медиков и вообще студенчества Василий Семенович Ивановский¹ (кличка «Василий Великий»). Он был библиотекарем студенческой библиотеки при Медико-Хирургической академии, являвшейся в те годы одним

из центров революционной пропаганды среди молодежи и рабочих. На Б. Монетной ул., в «коммуне», где жил Вас. Сем. Ивановский, по вечерам собирались рабочие, и здесь им читались лекции обитателями коммуны. Приходил часто и рабочий Петр Алексеев², приведший однажды с собою двух подростков — будущего знаменосца на Казанской площади Потапова³ и будущего известного предателя-provokatora И. Окладского⁴. Затем, переехав вместе с братом в Москву, Прасковья Семеновна познакомилась там с двумя рабочими, пионерами социализма в России, только что вернувшимися из поездки в Зап. Европу, с Викт. Обнорским⁵ и Петровым. Из этого беглого перечня даже только юношеского периода жизни автора читатель видит, насколько богата была деятельность Прасковьи Семеновны встречами и впечатлениями. Жизнь ее в Москве, главным образом в кружках Петровско-Разумовской академии, знакомство ее и сестер с Вл. Г. Короленко и другими лицами, сыгравшими впоследствии видную роль в общественном или революционном движении, завершилось в 1878 г. арестом и ссылкой в Архангельскую губ., откуда она вскоре бежала за границу, и с этого момента до ареста в Витебске в 1882 г. Прасковья Семеновна была уже нелегальной, отдавшись целиком борьбе «Народной Воли» с самодержавием. Исполнительный Комитет поручал ей, как своему агенту, устройство различных конспиративных квартир (типографий, динамитных мастерских и пр.) и давал другие ответственные поручения. По приговору Ос. Прис. Сената, по «процессу 17-ти» в 1883 г. Прасковья Семеновна осуждена была на бессрочную каторгу, которую и от-

бывала на Каре и в Акатуе. Срок ее, благодаря нескольким манифестам, был сокращен до 19 лет, и в 1899 г. Прасковья Семеновна вышла на поселение в г. Баргузин Забайкальской области, а затем переехала в Читу, откуда в конце 1903 г. бежала с целью вновь принять активное участие в явно оживлявшемся тогда революционном движении, явившемся естественным продолжением деятельности «Народной Воли».

Настоящий отрывок записок Прасковьи Семеновны охватывает время с начала 1904 г. до конца октября 1905 г. и дает колоритную картину ее деятельности как члена Боевой организации партии социалистов-революционеров, ее встреч с видными ее представителями (Е. Сазоновым⁶, И. Каляевым⁷, Д. Бриллиант⁸, Швейцера⁹, с Е. Ф. Азефом — революционером и одновременно охранником, и др.). Что особенно ценно в записках и что отличает их от большинства им аналогичных, это их непротокольный характер. Автор сумел оживить описываемые события, и читатель находит в деятелях их живых людей; в описаниях жизни на конспиративной квартире, в ночлежках, на улице (когда Прасковья Семеновна была папиросницей и торговкой фруктами) он видит бытовые картины, штрихи и детали, придающие его впечатлениям одухотворенность. Вследствие такого характера записок у автора почти не встречается дат, почему в некоторых местах редакция сочла необходимым (ради хронологической последовательности) снабдить их примечаниями.

Примечаниями же снабжены и некоторые другие места записок, с целью пояснения или исправления неточностей.

Еще одно пояснение.

Записки написаны были в 1912 г., когда по конспиративным соображениям о многом приходилось умалчивать. Поэтому автор совершенно не говорит о своих переговорах в Саратове с представителями партии соц. рев., о согласии участвовать в покушении на министра вн. д. В. К. Плеве и о вступлении в Боевую организацию. По намеченному плану автору надлежало играть роль кухарки на конспиративной барской квартире в Петербурге, почему Прасковье Семеновне надлежало явиться в Петербург и по-

селиться в качестве кухарки, ищущей места. Для этого она и поселилась в квартире с «углами». С этого и начинается эпопея автора в «деле Плеве».

*Н. Тютчев*¹⁰

Глава I

СНОВА НА РОДИНЕ

В 1903 г. я решила бежать из Читы, где кончала свой срок поселения после каторги.

С лишком двадцать лет, таких тяжело длительных, не могли вытравить в душе жгучей, неумолкаемой сверлящей боли и вечно тревожащего вопроса: когда же и как мы вернемся туда? Немного было желаний, осуществление которых было бы так дорого, как вновь увидеть родину и все то, от чего мы были насильственно оторваны. Текли годы, сменялось начальство, сторожившее нас, а мы всё оставались, как проклятые, за крепкими замками тюрьмы. Разумеется, многие отлично понимали тщету ожидания вернуться на родину, но смотрели на это, как на спасительный самообман людей, отрезанных от жизни.

Отделенные десятками тысяч верст от изгнавшей нас отчизны, от общего дела, от всего там покинутого дорогого, мы были далеки от мира, и Россия с каждым медленно протекавшим годом все более уходила от нас, являясь все более в смутном очертании и неясной в своих быстро менявшихся исканиях. Между нашим, старым поколением, с народническим направлением, и новым, молодым, более, как казалось нам, узким, залегла широкая раздельная полоса, мешавшая слиться этим двум течениям в одно русло.

Волнуемая и настроенная неизвестным будущим, я всматривалась туда, откуда с каждым пробегом версты, с каждой убегающей назад станцией приближалась желанная родина, пугающая своей неясностью, своей, казалось, духовной отдаленностью. Было и радостно, и жутко! Сознавалось, что целая большая полоса жизни, большое звено выпало, ушло безвозвратно много молодых, здоровых жизней, и нельзя этого никогда забыть! Тут, в стране сурового холода, оставлено полжизни, потеряны дорогие люди, ушедшие давно в мир другой, где будто бы нет «ни печали, ни

слез», и все это нельзя ни вернуть, ни исправить, да и сам уже не тот, каким переступал когда-то пограничную черту на Урале, с раздельным столбом.

Одно поколение сменялось другим, со своими новыми исканиями иных путей, иной линии поведения, и в этих поисках иногда слышалось прошлое, но чаще всего иные формы жизни выявлялись искавшими. Порой поиски обращались вспять, к старому, давно забытому. Непротивленство в 1880-х гг., проповедь малых дел, пропаганда чистого экономизма в 1890-х гг., хулиганство и черносотенство в последнее время. Некоторые желали выбросить за борт все то, что было, хотя и давно, но, по моему мнению, не могло быть забыто. Многие казалось мрачным и безнадежным. Доходили порой вести одна другой печальнее. Один покончил с собой, другой сошел с ума. Но наконец, после чистого экономизма, пришла воинствующая теория или теории, вызвавшие долгий, жестокий спор, который сам по себе вызывал только радость, как всё, что возбуждает общественную мысль, и обещал внести — положительно или отрицательно — хотя какое-нибудь прояснение в тогдашнюю путаницу. Стороной, конечно, кое-что и до нас доходило, хотя и с большим опозданием, как от лиц нового направления, так и из литературных новинок. Понятно, это «кое-что» повергало большинство карийских изгнанников в полнейшее изумление. В таких выражениях, как: «От старых теорий камня в камне не осталось» или «Михайловский разбит вдребезги... Не хочется ему уступить нарождающимся великим силам марксизма, как Туган-Барановский, Струве и Бельтов, первенствующее место». Отрицание политической борьбы, значения личности в истории, интеллигенции в революции. Низведение деятельности предшественников к нулю! Если во всем этом значительную долю можно было отнести на счет сравнительно юного возраста и соответственной ему восторженности передатчиков и посредников, а также и случайностей, — то за всем этим все же оставалось очень многое непонятное... В этой боевой полемике была и другая сторона — дух, в котором она велась, тон и направление. Фактическая сторона дела казалась многим гораздо важнее, чем теоретическая отчужден-

ность проповедников «нового слова» от деятелей прошлого времени. Кажется, говорили у нас карийцы, немало нужно иметь исторического и личного опыта, чтобы убедиться, что в большинстве общественных теории это только вывески, фирмы, дающие указание только крайне общего и неопределенного вида о том, что за ними предполагается. Массы людей, общества — не теоретики, они очень мало заботятся о том, чтобы то, что всеми делается, соответствовало тому, что говорится (ибо это только говорится, а не думается).

Присмотреться и понять этот быстро менявшийся тогда людской поток, эту бегущую жизнь, довольно резко и, казалось нам вдали, поспешно уже отошедшую от старых своих отцов, — ближе подойти к самой жизни и уловить, быть может, связь нового со старым, пройденным — в этом была в то время задача.

Ведь это:

Лес шумел, молодой
И зеленый лес.

Попытки многих из нас осуществить безумное желание видеть опять то, от чего нас силой оторвали и, скованных по рукам и ногам, разбросали по всей холодной, безлюдной пустыне, попытки эти никогда никому не удавались, и расплата за них чересчур дорого стоила каждому из бежавших.

Чтобы понять все эти неудачи, понять наше бездейственное существование или, вернее, прозябание, необходимо соблюсти историческую перспективу и самому понять давно ушедшую историческую полосу жизни. С проведением великого сибирского пути, соединившего гиблые далекие места с Россией, Сибирь пошла быстрыми шагами во всех сферах своей жизни и общечеловечности.

Блуждать и прятаться по разным «хоронушкам», как вынуждены были делать раньше наши беглецы, не было теперь уже никакой необходимости. Поезда ходили по всей Сибири, хотя и довольно медленно, беспересадочно; было нетрудно пересечь всю огромную страну, затерявшись в массе проезжающих, без риска ареста в дороге.

Я ехала из Читы одна, будучи очень немолодой, с разбитым в значительной степени здоровьем и силь-

но пораненным сердцем. Было грустно и больно: ведь в этой жестокой стране осталась добрая половина жизни. Все довелось испытать, пережить. Годами ждали вестей с родины, перебрасывались ими из тюрьмы в тюрьму, знали и голод, и особенно холод, сидели под замками без воздуха, прогулок, переживали порою кое-что страшнее смерти. Но у нас было еще и другое, значительное и большое, что поддерживало и давало силу и упорство жить, почти без надежды на будущее. Это сознание справедливости своего дела, его общей важности для всей великой нашей родины; оно скрепляло нас в одну спаянную семью с одним исходным путем, с одним неизбежным концом.

Среди общего, по временам наступавшего мрака, индифферентизма и дикости наше поколение одно обречено было вынести на своих плечах святое и важное дело; оно почти одно дерзало смело и открыто на весь мир кричать и грудью защищать действительную свободу своей родины, своего народа, необходимую для нее в такой же мере, как хлеб и солнце для жизни. Сорок лет назад с объявлением войны правительству выступили одни революционеры, от которых позорно отеклась тогда страна, отдавая их на съедение бешеным волкам, и довольно равнодушно смотревшая на казни Перовской¹¹ и других... Поезд переносил меня издали на родину. На родину! Порой кажется, что поезд стоит на одном месте, не двигается дальше. Среди узкой таежной просеки, между могучими стенами темного леса, движение — осторожное и тихое — походило на то, как будто мы скользим в темном туннеле. А кругом, куда только мог глаз видеть, все сопки да вековечная тайга. Это целый неизмеримый океан, конец которого терялся в неведомой дали. Из века в век стоят могучие сосны, красавицы лиственницы и богатыри кедры. Осенью, в самую позднюю пору, мы приходили эту тайгу рубить и валить огромные деревья, заготавливая дрова. А лес был такой прекрасно тихий — тихий, без мелочей мира, целые века никем не ворошимый. Птицы и звери жили в своих излюбленных густых зарослях, и не было слышно их гомона. В редких случаях проходил тунгус-охотник или осторожно, чуть слышно

пробирался бродяга, и он норовил держаться ближе опушки, пересекая тайгу по едва заметной, ему только известной тропке спиртоносов. Для нас тайга не была с отмеченными границами, с указанием определенного района, переступить пределы которого вменялось в преступление. Мы чувствовали в ней себя вольными птицами и могли уходить далеко вглубь, в самую непролазную чащу. Сколько раз случалось теряться среди колоссального царства, кружась, переваливая одну сопку за другой, не видя признаков человеческого существования...

Теперь мы едем в самую студеную пору; лютый мороз все заковал, и тайга кажется пораженной насмерть вместе с населяющими ее застывшими великанами, с нахлобученными белыми папахами на головах. Это опушенные снегом высокие пни. И над этой величавой красавицей куполом опускается суровое черно-синее небо. Там, в Сибири, и люди решительные, суровые, как голые серые сопки, и... простые. «Кабы не простота-то наша... совсем бы в нашей стране жить народу не можно», — говорят сибиряки. К этим жестким людям в душе поднималась нежность и глубокая благодарность, и к этой угрюмой тайге. Они приняли нас, изгнанников с родины, и часто поддерживали в борьбе за свои права, за свое существование. Мы, рассеянные, были для них только постояльцами, временными жильцами, пригнанными неизвестно откуда и неведомо за что, не сами избравшими для себя новое отечество; но среди них нам удалось сохранить свою идейную независимость и право открыто жить по вере своей. А среди тайги, перед лицом природы, такой спокойной и величавой, власть людей теряла свою силу, чувства и мысли теряли свой болезненный характер. Все до последнего атома переполнялось жизнью лесной, тихой, таинственной; вся мирская суетность вытеснялась могучими и целительными дарами природы.

И теперь я прощалась со всем этим! Медленно подвигается наш поезд, подолгу задерживаясь на станциях, по горло увязших в снежных сугробах. И кажется порой, что мы никогда не достигнем желанной цели. А из заволакивающего тумана вдруг

жгуче всплывает тревога: что, если там за такой долгий срок ничего не изменилось и все старое вновь повторится? Но ведь жизнь никогда не стоит на одном месте; она вечно и непрерывно движется вперед, прокладывая новые и неожиданные пути,— успокаивает меня сознание. Да, жизнь действительно несколько изменилась,— это заметно даже здесь, в Забайкалье, и обнаруживается все резче по мере нашего движения на запад. Уже за Байкалом, на станциях, пассажиры-гаежники, более осторожные и менее сведущие в политике, не удерживались больше от непосредственного вступления в разговоры на рискованные темы со встречными западниками. Толковали и судили о томских студенческих беспорядках, некоторые тут же громко декламировали появившееся тогда в честь «бунтовавших» стихотворение.

Разговоры переходили в страстные споры, при которых обе стороны не слушали больше друг друга. Однако все это еще не была Россия, а ведь Сибирь с большим основанием могла считаться «вольнодумной». Подлинная Россия была еще очень далеко, и только много дней спустя, в Челябинске, на станции, впервые за все время путешествия почувствовалось, что начинается подлинное русское, то именно, чего так страшился, от чего отбивался все время пути.

На перроне жел. дор. тесно жалась группа крестьян в рваных заплатанных зипунах, в лаптях, с большими грязными сумами на спине, и казались все они такими корявыми... Они волновались, гомонили, размахивая безнадежно руками, а лохмы их рукавов трепыхались, как птичьи крылья. Все тискались друг на друга, лезли без толку, а их отбрасывали слишком грубо. Там, в Сибири, не встречалось такого убожества, такой унижительной бедности, таких грязных людей. Разве когда прибывала длинная цепь вагонов с переселенцами, подолгу стоявших близ станций, жители городка или ближайших сел сбегались смотреть на невиданное и удивительное зрелище — на людей-лапотников, сборище нищих, с тучей полуодетых, босых и истощенных детей.

Сибиряки рассматривали приезжавших с сострадательным любопытст-

вом, смешанным со значительной долей неприязни, сравнивая вытесненных с родины из родных гнезд переселенцев с мошкой и комарами, которые, согревшись солнцем и большими просторами, станут больно кусать их, сибиряков.

От Челябинска сразу началось великое наводнение вагонов нищенствующими детьми, калеками, вымаливающими подавание.

Это унижительное явление никому не портило настроения; оно было, видимо, для пассажиров таким бытовым явлением, к которому глаз присмотрелся, а чувство притупилось давно.

К концу 15-дневной дороги мы добрались, наконец, до Саратова. Ощущение такое, как будто из темной полосы попал в ярко освещенную местность.

Память сохранила из этой продолжительной поездки два эпизода, тесно связанные с дорожными знакомствами. Припоминается один ссыльный «павловец»¹² по фамилии Фарафонтов, возвращавшийся с какой-то работы домой, в Енисейскую губернию. В 1902 году он судился с двумя своими взрослыми сыновьями за разбитие церкви и отказ брать оружие в руки. Дело «павловцев» в свое время надделало много шума. В судьбе всех осужденных тогда принимал самое близкое участие Л. Н. Толстой. Фарафонтов-отец был осужден в Енисейскую губ. на поселение, старший его сын — в каторжные работы на Сахалин, а младший в Мерв, в арестантские роты или батальон. Выйдя в вольную команду, павловец-сахалинец нанялся в батраки к ссыльнопоселенцу*. Второй сын

* Судьба этого сына, как я узнала потом, была такова. Когда Сахалин был взят японцами, жителям острова, всем без исключения, приказали сдать имеющееся у них оружие. Не сдавших, не выполнивших этого приказа, если будет оно у кого найдено, будут подвергать высшей мере наказания. Фарафонтов-павловец, будучи без того противником оружия смерти, несколько раз уговаривал своего хозяина отнестись в управление имевшееся у него ружье и револьвер, но, очевидно, расстаться с такой ценной вещью, да еще на Сахалине, было нелегко. Хозяин зарыл его во дворе, поближе к своему соседу. У кого-то из однодворцев случилась кража, и японцы, делая обыск, обнаружили спрятанное оружие. Все, в том доме жившие, не исключая женщин и детей, были обезглавлены, и с ними казнен и Павел Семенович Фарафонтов, осужденный в каторгу за проповедь и отказ держать в руках ружье, за признание заповеди «не убий».

Фарафонтова, и тоже за отказ от воинской службы высланный в Мерв, был там буквально забит. К нему отнеслось начальство со всей беспощадностью, наказания были жестоки и непрерывны, и он вскоре по взятии на службу скончался на гауптвахте при истязании, все время повторяя своим палачам слова «любовь» и «я брат твой». Фарафонов, отец этих двух мучеников, теперь возвращался с какой-то работы домой. Он рассказал всю историю своей загубленной семьи с поразительным спокойствием, как будто это не были факты современности; казалось, он нам передавал давно-давно кем-то пережитое, его ничуть не касавшееся. Евангелическое лицо его, задумчивые глаза, без гнева и суровости, выражали такое удивительное спокойствие, какое встречается только у людей, сверх меры перестрадавших. Это была красивая тоска, не нуждавшаяся в поддержке или чужом участии. Весь вагон в глубоком молчании слушал напряженно эту истинно скорбную повесть.

Под самый конец нашего долгого пути как-то незаметно к нам подсел новый путник, средних лет, баптист. Очень крепкий, живой, интересный собеседник, пока, впрочем, не касалось веры. Он был немного суров и аскетичен, но из-под густо нависших бровей глядели такие загадочно-задумчивые глаза, загоравшиеся часто чудесным гневным огнем, что это невольно привлекало к нему внимание. В нем было много своего, самодельного и самостоятельного. Исколесивши всю Россию со своими неотступными порывами отыскать праведную веру, он побывал у субботников, проникал в другие секты, но всюду ему казалось у них мало святости, нет настоящей правды. Опять и опять стучался он к цадикам¹³, отшельникам, пока не утомилась его мятущаяся душа в тщетных исканиях чего-то другого, более широкого, что успокоило бы его ум и сердце. Тщетно потратив много энергии и средств на эти поиски, баптист решил еще поехать к Л. Н. Толстому, который принял его очень ласково.

— Он, Л. Н., слишком много думает,— сказал с печалью баптист,— другим мало о чем остается размышлять. Притом же среднему человеку

не справиться с тяжестью, возлагаемой его вероучением на наши слабые плечи.

Они долго спорили о вере, день и ночь, и другой день и ночь, вели упорные схватки, и наконец Л. Н. стал сердиться, говоря с раздражением: «Вот я старый, смотрите на меня, и глаза уже ослабли, а читаю много; читайте и вы, учитесь, почерпайте мудрость из хороших книг». И ушел от баптиста в свой кабинет, гневно хлопнув дверью. Однако скоро вновь вышел оттуда со смягченным взглядом и без заметных неприязненных ноток в голосе возобновил беседу, стараясь приблизить баптиста к своей вере.

— У меня есть свое,— сказал я ему,— с этим я своим едва справляюсь, как же я могу брать еще такое большое твое? Представь, у меня есть бочонок, вмещающий пять ведер воды, можно ли в него еще сверх этого налить воды? — говорил баптист.

— Нельзя,— согласился Л. Н. с заметной печалью в голосе и жестким выражением в глазах.

— Вы сорокаведерная бочка, в вас вмещаться может много, а я наполняюсь пятью, только пятью ведрами.

Рассказы баптиста о своих мытарствах привлекли внимание пассажиров всего нашего вагона. Сидевший через лавочку от нас священник все время настороженно прислушивался к свободной речи сектанта, то одобрительно, то негодуяще выражал свои чувства. Внимание его значительно возросло, когда речь коснулась Л. Н. Толстого. Глаза его заискрились злорадством, и он громко заметил: «Тоже проповедует, а своего богатство небось не отдал. Оно, видите ли, неудобно — говорить одно, а жить иначе, и при этом множество людей обращаются к нему за братской помощью. Вот он и снял ношу свою, тяжелую ношу с плеч своих, передал детям все свое богатство, яко неимуший теперь. Такова очевидная непоследовательность».

— А вы-то, отец,— ехидно заметил баптист,— разве уж очень последовательны?

— Мы не пророки, не проповедуем людям новые царства на земле,— резко сказал поп,— мы не зовем людей в новый храм, сооруженный чело-

веческими руками. Мы обещаем царство Божие на небе.

Опасение, что мой побег каждый день может быть обнаружен и с розысками обратятся прежде всего к родным, адрес которых начальству был хорошо известен, побудило меня не задерживаться у родных, а ехать на север, вступить в организацию и в меру небольших оставшихся сил отдаваться работе, завещанной нашими погибшими братьями.

Мне дали адреса, совет немного отдохнуть и осмотреться, выждать.

Глава II В ПЕТЕРБУРГЕ

Из путевых впечатлений запало одно событие, немного меня смутившее. На Московском вокзале, совершенно пустом, одиноко маячила незаметной точкой в уголке моя фигура.

Было довольно-таки тоскливо ждать поезда, но вдруг в зал выплыла внушительная жандармская фигура, мерно и властно начавшая шагать из конца в конец. Потом жандарм свернул в мою сторону, внимательно всматриваясь в меня, как будто узнавая во мне свою знакомую. У меня уже созревало намерение переменить место, когда жандарм круто повернул прямо ко мне.

— Есть билет? — спросил он, меря меня бычьими глазами.

Не понимая хорошенько, о каком билете идет речь, я пожалала в недоумении плечами. Тогда он пояснил:

— Взяла, говорю, проездной билет до Питера?

На отрицательный ответ жандарм скороговоркой сказал:

— Не берите, поедете с моим знакомым, служащим железной дороги. У него семейный билет, жену и сестру он нашел, а мамашею будете вы.

Мой отрицательный жест к такому лестному предложению очень его удивил, оскорбил даже, и он старался соблазнить меня теми выгодами, которые проистекут из этой сделки.

— Тебе, кроме пользы, ничего не будет, вместо 6 рублей заплатишь 5 р., понимаешь? Жди тут, сам приду за тобой.

Конечно, пришлось убраться подалее, и потом видно было, как жандарм тщетно разыскивал «мамашу».

Протекшее время с последнего пребывания в Петербурге было так значительно, внесло столько перемен, что невольно смущала мысль, как наилучше устроиться. Впрочем, на петербургском вокзале было нашлось разрешение этого немудрого житейского вопроса. Извозчик отнесся участливо и предложил отвезти в самые дешевые номера, ему хорошо знакомые. Я вручила свою судьбу в его руки.

Номера действительно были недорогие, немного странноватые, около самого Николаевского вокзала. Весь огромный дом заполнен был одинаковыми, до мелочей во всем похожими друг на друга номерами.

Типичнейшая хозяйка меблированных комнат меня встретила и отвела мне самую маленькую комнатку. Это была женщина уже пожилая, с букляшками на лбу, со сбитыми волосами, подбеленная, неряшливо, грязно одетая, и все-таки во всей ее фигуре, в манере держать голову, видно было, что она когда-то знавала и другую обстановку, и иную среду. Номера имели сходство со своей хозяйкой; жильцы, как потом выяснилось, состояли из самой сборной публики и вполне загадочных личностей. На все номера была одна довольно жалкая прислуга, мыкавшаяся по всем комнатам и часто вступавшая с хозяйкой в настоящие бои с весьма трагическими последствиями для обеих. Но почему-то она стойчески выносила все невзгоды и свое тяжелое, бесправное положение.

Быть может, частые вечерние пиришества служили смягчающим обстоятельством в ее неприглядной жизни. Бог весть откуда являлись на кухню запоздалые гости в пузырячатых лаковых сапогах, с гармониками под мышкой, с пивом и водкой. У хозяйки тогда головная боль проходила, прислуга торопилась ставить самовар, начинался пир под руководством самой барыни. Почему-то между игрой на гармонике и битьем посуды хозяйка читала по-немецки или говорила фразы на том же языке, а когда это не убеждало гостей в ее превосходстве, она приносила из своей комнаты старые истлевшие документы, бесповоротно доказывавшие ее родовитость. Так гомонили они в кухне целую ночь.

Ближайшими соседями двух номеров были батюшки. Один, совсем мо-

лодой, с Афона, днем стоял с тарелкой на углу Знаменской и Невского, собирая посылную лепту. Вечером у него собиралась своя веселая компания пропивать собранные гроши жертвователей, приношение которых часто доходило до ста рублей в день.

Другой поп, занимавшийся тоже сбором, имел угрюмый характер и пил вдвоем с приходившей к нему каждый вечер с гитарой довольно мрачной личностью. Играл он большей частью грустные, заунывные мотивы, и под конец вечера оба горько плакали, кого-то проклиная. Оба эти батюшки никогда не соединялись вместе. Мой сосед говорил, что будто другой завидует ему за большой сбор подавания.

Жить среди такой компании долго одной было тяжело и опасно. Усугублялось это рискованное положение тем, что каждый вечер хозяйка предупреждала всех своих жильцов о возможности прихода ночью полиции и что в таком случае надо говорить «этим подлецам», как она выражалась. На мою настойчивую просьбу прописать мой паспорт она неизменно отвечала: «Зачем деньги тратить, живи, сколько нужно так, придет ночью полиция — скажи: сейчас с поезда». По-видимому, у нее были свои, какого-то тайного характера, причины на такое отношение к полиции и к прописке. Впрочем, весь этот многоэтажный дом, как мне стало потом известно, был занят личностями «не вполне чтоб», и порядки в меблированных квартирах были аналогичные с нашими.

Затянувшаяся неопределенность положения, неясность, когда потребуется войти в работу, подсказывали как-нибудь изменить тягостную жизнь. По конспиративным квартирам нельзя было никого видеть, тем более посещать знакомых, обстановка же не позволяла даже читать ни книг, ни газет. И вот я решаюсь поехать в Кронштадт, посмотреть и хоть немного понять широкую популярность, движущую причину толпы, осаждавшей тогда известного Ивана Кронштадтского¹⁴. Правда, к тому времени слава его уже начала в народе значительно угасать, часто уже приходилось слышать непочтительные о нем отзывы среди простолудинов. Так, между прочим, одна ехавшая с

нами простая совершенно баба, везшая к нему слепую девочку, наставлялась другою вернуться домой, не тратиться зря.

— Говорят, он помощь оказывает, — возражала ей другая, — авось, даст на обратную дорогу.

— Говорят, — заметила скептически и резко женщина, — говорят, кур доят, да сисек нету, мы, дураки, всему верим, поезжай, поезжай с Богом, он тебе скажет то же, что нашему безглазому Семену: «Ступай, — говорит, — к доктору, я не Бог, другие глаза не вставлю».

Ехала нас целая группа простых женщин, некоторые из них там бывали уже по многу раз, всё знали, и они направили нас с парохода в общежитие.

В громадных зданиях о. Ивана было все расценено до последней ниточки. По одной и той же лестнице, одинаково для всех загаженной и вонючей, направо — рублевые номера, рядом — пяти, по мере подъема вверх цена понижалась и, наконец, на самом верху, в общей комнате, плата за ночевку взималась от 10 до 30 копеек. По дороге в Кронштадт ко мне присоединилось несколько девушек, потерявших места прислуг и направлявшихся туда просто отдохнуть, поразнообразить свою скучную маету. Мы все поместились в общежитии, с оплатой 10 к. с койки посуточно. Это была большая квадратная комната, сплошь занятая примыкающими друг к другу кроватями, без прохода между ними, так что в средние ряды приходилось перепрыгивать через лежащих людей. Кровати с соломенными тюфяками, в труху перетертыми боками усердных богомольцев, походили на омерзительное гноище. Ни подушек, ни одеял вовсе не полагалось. Рано, очень рано утром, когда пароход привозил новых усердствующих, все ночующие женщины, полусонные, плохо одетые, выгонялись надзирательницей на улицу, «для порядка». Происходили баталии с надзирательницей за такую бесцельную жестокость, благодаря чему богомолки вынуждались два-три часа стоять на холоде в ожидании открытия церкви. Более смелые продолжали лежать на кроватях, отказываясь подчиниться безрассудному требованию.

В том же этаже на одной площад-

ке, в смежной с нашей комнате помещались сапожная и швейная мастерские. В первой работали все мальчики от восьмилетнего возраста до 16—17 л., во второй — девочки приблизительно такого же возраста. Мастерскими заведовал немец с женой.

Дело было во время японской войны. В мастерских шла спешная работа для армии. Жена немца ездила сама во дворец за получением материала от самой царицы, и если не считалась там своим человеком, то все же выражалась: «Мы с императрицей решили так-то и так-то». Она громко рассказывала о воровстве, как при вскрытии ящиков находили в них камни вместо полотна, передавала множество дворцовых сплетен.

Часов в 10 вечера мы заходили в мастерские. Дети сидели за сапожными столиками, продолжая своими маленькими детскими ручками выполнять большую и трудную задачу. Значительное большинство между ними казались истощенными и хилыми. Из старших некоторые бегали, под предлогом «за утюгом», на кухню, туда же шмыгали девочки-подростки, спешно вместе с мальчиками курили; другие тут же при всех обнимались и целовались.

На вторые сутки, среди ночи, мы были разбужены громким детским плачем, доносившимся из чулана, три стены которого врезались в нашу комнату. Рыдание все усиливалось. «Чей это ребенок плачет?» — спрашивали пробудившиеся богомолки. «Чай, опять немец измывается над детьми», — отвечала надзирательница. Мастер-немец, и он же начальник мастерской, очень строго расправлялся со своими учениками, не исполнившими свой урок. Он сажал виновника в пустой и темный чулан на целую ночь, а когда ребенок чересчур громко выражал свой страх и горечь, немец врывался сам туда и жестоко хлестал ремнем плачущего. Это были дети богомольцев, оставленные на попечение батюшки. О. Иван, проходя мимо мужика или бабы с ребенком 7—8 лет, трогательно простирали свою руку над головой деревенского мальчика или девочки со словами: «Отдай мне его в дети». Отец или мать, пораженные такой неожиданностью, не верили своему счастью, свалившие-

муса на долю их ребенка, — стать сыном святого отца. Нимало не сомневаясь в истинности слов о. Ивана, что он их Гришутку берет себе в дети, они радостно оставляли ребенка. И что им этот бедный Гришутка, как не лишний рот в голодной семье? Из ребенка в их нищенской жизни ничего путного не выйдет. Одет он в лохмотья, обут в лапти, косматый, грязный, лицо зеленое. «Батюшка, не оставь парнишку, доведи до толку», — просят родители, уходя домой, не подозревая, что сынишка их попадает в мастерскую к немцу, ничем не лучшую всякой иной сапожной мастерской. И вся жизнь малыша сведется к сидению около столика, с шилом в руках, весь день по поздней ночи. А для сокращения жажды детских удовольствий его запрут в темный чулан. В этом для него страшном месте он облегчает свое большое горе рыданиями и призывает мать защитить его, взять его домой отсюда.

— Одни безобразия тут, и больше ничего не вижу хорошего, — заметила одна из посетительниц при нашем возвращении в Петербург.

По возвращении из Кронштадта необходимо было занять оседлое положение, определенное место, с пропиской и подготовкой к званию прислуги. Необходимо было стать в самую простую обстановку, изолироваться от всего, не иметь ни с кем связей, а главное, жить в положении, где бы не падало и тени сомнения. Паспорт у меня был неграмотной прислуги с отметками служебных качеств. С одной девушкой мы пустились на поиски углов или недорогой комнаты. Весь день мы проходили без видимой пользы по грязным и вонючим лестницам; только под вечер, в громадном проходном дворе, поднявшись на 6-й этаж очень населенного дома, наняла я маленькую комнатку без мебели. Хозяйка посулила оставить кровать с гольями досками, на которой при нашем посещении лежала какая-то могучая, мертвецки пьяная фигура. Мы рассчитали так: лучше взять за 8 р. хотя и конуру собачью, но отдельную комнату и поселиться вдвоем, чем жить в густо набитом жильцами помещении, тем более что светлый угол стоил 4—4½ р. Я оставила рублевый задаток вертлявой хозяйке с предупреждением, что переселюсь наутро.

Ранним мгlistым утром я поднималась на самый верх, предвкушая удовольствие остаться одной без посторонних глаз и ушей. Но меня ждало тут худшее из худшего. Хозяйка с порога сразу ввела меня в необычную обстановку — в общую комнату. Весело, очень развязно она заявила о совершенной ненужности, даже вреде для одинокой отдельного помещения.

— Вот тут, у окна, — трещала эта сорока, — сейчас освободился светлый угол, чего лучше? — Да я же наняла у вас комнату, задаток дала, не так ли? Чего же ради вдруг предлагаете угол? — Светлый угол самое подходящее для вас место, — настойчиво повторяла она, — как вы есть одинокая, скудность одолеет, на людях то ли дело! Вот тут у окна столик поставлю, матрасик дам, приладишься, устроишься, так-то хорошо. Хотя бы поговорить или спросить о чем... Дело твое бессемейное — тут всякого народу найдется: и бабы, и девки, тоже почтенные торговцы есть. У меня вежливо, благородно, не бойся. Я прямо скажу, тут вот тебе самое подходящее место, лучше не найти, а комната занята.

Было до очевидности ясно, что никакие резоны, угрозы, ни требования возврата задатка не в состоянии ни чуточки поколебать эту бабу-выжигу. Резониться с этим верченым существом было напрасной и бесполезной тратой сил, а мысль опять с вещами возвращаться в омерзительные номера, снова искать комнату... Бррр... Я взяла угол, светлый угол в общей комнате.

Помещение с углами было небольшое, с очень низким потолком, значительно обвислым, грозившим как-нибудь ночью придавить всех своих жильцов. По всем четырем стенам стояли кровати, т. е. просто-напросто по два ящика, на которые клались две-три доски, сообразуясь с тем, на сколько душ готовилось логовище. Многие вместо кровати пользовались своими сундуками, а случайные ночевщики просто ложились на свободное место на полу. В нашей комнате стояло 8 помостов. От двери на первой кровати муж с женой и крошечным ребенком; рядом с ними по той же стене горничная, молодая девушка, спала на сундуке; дальше судомойка, лет 20 полька; за нею я. По

противоположной стене против нас — кухарка с пятнадцатилетним сыном, почивавшим вместе с матерью; за ними — горничная и затем пряничник 45 лет с взрослым сыном. Часто в нашу комнату приходил законный муж хозяйки с тремя подростками-детьми. Отец с своими цыплятами все время ютился кое-как и где попало, не имея даже постоянного угла. Все углы и закоулки квартиры имели не менее сгущенное население. В кухне, лишенной совершенно света, жила дряхлая старуха, сапожник, работавший при мерцающем свете копеечной лампочки; иной раз, бросая работу, проклинающая собачью конуру, он уходил в кабак. Пропойца-техник являлся по ночам, уходя на рассвете. В нанятой было мною комнатке, третьей, помещалась сама хозяйка с двумя спившимися типами; один был ее любовник, другой — ближайший сотрудник и друг любовника. Не было того дня, когда бы число постоянных обитателей спускалось ниже 25 душ обоего пола. Каждый, не будучи даже знаком с угловыми помещениями, может легко себе представить всю обстановку и условия, в каких ютился весь там собранный муравейник.

Так как питание большинства состояло из селедки и черного хлеба, то ночная атмосфера доходила до предельного своего насыщения, вызывая у спящих удушье и головные боли. Приходилось почти каждую ночь нарушать признанное всеми правило общежития не открывать окна; тихонько на один сантиметр отворишь раму, и под свежей только струйкой воздуха приходил крепкий предутренний сон.

Для цельности представления постараюсь правдиво описать этих случайно собранных, бесхозяйственных, бессемейных и в большинстве случаев безвольных людей. Начну с главы угла.

Муж хозяйки, николаевский солдат, уже старик, служил все еще на железной дороге; он вполне и безраздельно находился во власти жены. Трое анемичных детей знали только отцовскую заботу, когда он, вернувшись со службы, собирал, как насадка, своих ребятишек, кормил их и вместе ложился в одной куче на полу спать. Это было единственное проявление его личности в семье, да еще

ежемесячная отдача жене своего жалованья. К жене он относился безусловно, как к предмету чуждому и чужому, детей нежно любил. Очень редко, утаив из жалованья несколько пятак, он являлся домой в развязно-веселом настроении, созывал своих ребят и одевал их пряниками. Тогда же происходила великая «трамбола» между супругами, с весьма, впрочем, маленькими последствиями.— «Я твой муж,— дребезжал старческий голос, наступая с выпяченной грудью николаевского солдата на нее,— не какой-нибудь, живу в законе, зарабатываю, а у нас ни синь пороха, дети без призора. Убью! Путаешься в этих грязных свинствах».— «Ну, завелись,— грубо и зло говорил кто-нибудь из угловиков,— кричите, нам одно только причиняете беспокойство». Хозяин, почитая себя как бы пассажиром в этой квартире, умолкал, весь виновато съеживаясь. Хозяйка жила в отдельной комнате с «Рыжим» и его другом. Всегда косматая, очумелая, она бегала, суетилась, забывая про детей, пила с любовником водку, как воду в себя лила, потом они дрались, кричали, и всё без какой-нибудь надобности, по какой-то душевной раздрганности. «У нее до нитки все было пропито, проедено,— судачили жильцы,— даже последнюю икону, ежели никто не помешает, несла в кабак за бутылку водки».— «Сегодня,— ояовещал кто-нибудь,— отнесла тюфяк из-под себя, чтобы опохмелить своего «Рыжего».— А «Рыжий», еще молодой, крепкий мужчина, весь отекавший, не выходил ни одного дня из чада, не оправлялся от пьяного угара. Или в забытьи, вытянувшись во весь рост, он лежал на голых досках кровати, а на полу около него не менее пьяный покоился его друг и соучастник. Или у них всю ночь шла гульба, крики, «нехорошим занимались», как выражался наш чистоплотный пряничник.

Ночная компания причиняла нам немалые тревоги. Часто слышались истерические взвизгивания, порой хозяйка вылетала в коридор, следом за нею врывался ее «Рыжий», и начиналась в этом узком и темном туннеле потеха молодецкая, да такая, что расцелиться не могли, как разъяренные собаки. «Заволоводились»,— брезгливо и громко замечал, кто раньше всех

просыпался. Из нашей комнаты выбегали почти все бабы и скучивались у настежь открытой двери. Насладившись даровым зрелищем, давали окрик: «Да будет вам, кажется, можно бы покончить покуда?»— «Шельма баба,— замечал сапожник,— кошацья порода, точило!» Зрелище скоро наскучивало, а главное, все это было видно и перевидно, и только однообразие однотонного существования поддерживало интерес к дракам. Одни уходили по своим углам, более активные растаскивали любовников или разливали их попросту водой. Спектакль вызывал между угловиками обмен мнений между собой: «Ну баба, я бы ее!»— «А чего старик-то смотрит? Тоже законный муж».— «Подика, нашелся храбрый, он, «Рыжий»-то, тебе покажет закон!»

Изредка, на похмелье, этот «Рыжий» являлся к нам в нашу комнату, одетый в одно белье, с распахнутым воротом. Японская война тогда только что началась. Интерес и любопытство волной проникали всюду. Он приносил с собой чурбан для сидения, замусленную, затрепанную газетку. Друг его становился у дверной щитолоки. Начиналось чтение хриплым, пропитым голосом, сопровождавшееся либеральными мудрствованиями. Все это проделывал он, пожалуй, для отвлечения своей пьяной тоски. Его замечания о войне были и метки, и оригинальны. Однако, видя свои слова падающими на каменистую почву, он снимался и уходил со своим другом... пить. Кто они были? Оба пропойцы, не имевшие ничего, даже пары сапог для четырех ног; по рубахе и штаны— вот все их достояние, но водка находилась каждый день, да и то сказать, они так просочились ею, что незначительная доза этой влаги валила их с ног.

В нашей комнате, как раньше было сказано, жильцов самостоятельных, т. е. имевших свою кровать, свой образ на стене, было 11 человек. Первый по порядку от входной двери налево угол занимала, как я уже упомянула, женщина с маленьким ребенком. Любовник ее, хотя не жил у нас, проводил много времени здесь: ел, спал, длинно рассуждал.

Анна, мать ребенка, была незаурядная женщина, с очень серьезным, почти мужским, некрасивым лицом, вы-

сокая, как жердь, прямая, с плоской грудью. Она выделялась из всех угловиков. Большие серые глаза искрились добротой и юмором. Всегда сдержанная, спокойная, она любила захватывающее веселье и даже бешеный разгул. К 30 годам она уже перепробовала в различных положениях, перепробовала все прелести многообразной жизни. Особенно увлекал ее непосредственный разгул. Острый, хорошо подвешенный язык, красивая речь, пересыпанная меткими пословицами, стихами, особенно из любимого ею Некрасова, создавали ей выгодное положение в компании гуляк. Она была совсем неграмотна, но собрала и вобрала в себя изрядное богатство. Откуда она все знала? — «А где и в каких переделках мне не довелось побывать», — ответила однажды она. Ее умное молчание и такт поражали, когда пьяный любовник, — что повторялось почти каждый вечер, — в тысячный раз «облаживал» ее будущую жизнь. Он служил раньше хорошо, но, катясь вниз, теперь получал всего 25 р., пропиваемые им ранее получки жалования. По срывающимся словечкам можно было догадаться, что он служил в охранке.

Еще молодой, с интеллигентной красивой наружностью, с большими пытливыми глазами, белым с зализанми лбом, он, среди нашей кудлатой публики, выделялся резким пятном. Сам он рассказывал свою биографию с горькой жалобой на судьбу. Четырнадцатилетним мальчиком он бежал из деревни в Питер, шатался и мыкался по всем углам и баржам, как бездомная собака. Сам учился грамоте, сам доходил до всего с присущей ему любознательностью. Ставши на ноги, служил у больших коммерсантов. Знал весь Петербург, как свои пять пальцев, бывал в палатах, в кабинетах сановников. Им дорожили, как ловким дельцом. — «Сейчас я в последней степени деградации», — заканчивал он. Возвращаясь к Анне семь раз в неделю пьяным, он, сидя на кровати жены, заводил пьяную канитель, долгую, тягучую, как зарядивший осенний дождик. — «Чего ты, Анна, бездельничаешь целыми днями? Поступай учиться заготовки для сапог делать. С мастером я уже сговорился, три рубля в месяц, ручается, в этот срок обучит. Куплю машинку в

ломбарде, стану по три рубля на ребенка выдавать ежемесячно, чего же больше? Не хочу больше жить с тобой, надоело, кончено!»

Хотя он очень убедительно старался внедрить в голову Анны красоту трудовой ее будущей жизни, но эти перспективы нисколько не соблазнили ее. Не возражая, оставаясь все время молчаливой, она только раз или два ему заметила: «А маленький ребенок как?»

Однажды, среди потока этих надоевших речей, я не выдержала роли простой слушательницы и возразила: «Однако ловко! Сам получает 25 руб., а жене с ребенком сулит всего три, по какой же это такой правде?» — «А это не ваше дело, почтенная Федосья Егоровна, в наши семейные порядки не путайтесь!» — отвечал он.

— «Не выносите на торжище своих семейных дел, тогда никто не станет и соваться в них».

— «Правильно. Только вы напрасно, уважаемая! У Анны таких, как я, было 25, будет и того больше. Что такое женщина? Воздушный поцелуй, роскошный цветок, через мгновение увядающий. Свободный дух выше всяких привязанностей. Любовь не осуществляется никогда так, как она живет в нашем сердце, а без этого семейная жизнь — хомут, ненавистный мне в высокой степени. Любовь к жене, детям — бессознательное самообожание». И долго еще лился поток его и дельных, и беспутных слов на разные темы.

Ребенок у них рос в забросе, хотя Анна очень любила его. Всегда больной, хилый, с головой вылупившегося индюшонка, он вечно скулил писклом брошенного котенка. Под конец он заболел воспалением легких, и — праведное небо! — кто только не лечил это бедное крошечное существо! Конечно, средства употреблялись самые героические: обливали с головы мочой и невытертого оставляли голым до полного высыхания, поили смесью перца с водкой.

Казалось, тут ему и аминь, ан выжил, остался докучливо скрипеть.

В этих темных щелях дети рождаются неведомо для чего и, как блуждающие в степи огоньки, быстро исчезают... Голова в голову с Анной спала очень молодая, высокая девушка —

полька. Довольно миловидная блондинка, необыкновенно наивная во всем, как дитя, и как дитя привязчивая, еще не стяхнувшая с себя деревенщины. Мать ее, вдова, нищетою вынужденная отправить свою единственную дочь с братом на заработки, теперь с великой тревогой звала ее обратно домой. Адель — так звали эту девушку — служила в Питере судомойкой у каких-то богатых господ, державших повар. Этот повар, имевший уже взрослых внуков, сделал эту наивно-простую девушку беременной.

— «Любила ты его, что ли?» — «Какой там любила. Ты посмотри, вот он придет сюда, ведь ему 83 года, и зову-то я его дедкой».

Сидя на постели и сжав обеими руками голову, она порой так жалобно выла, как ночью собака, долго, безумно, вспоминая мать, которую любила больше всего на свете.

— «И кого же, как не ее, мне больше любить? Она живет на Литве, далеко, далеко отсюда. У нас свой домишко, свой огород, мать много работает. Ежели узнает мой грех, она проклянет меня и умрет с горя».

Брат уже знал трагическое положение сестры и грозил зарезать Адель. Она сбежала с той квартиры, куда ее поместил по обнаружении положения повар, куда уже в отсутствие Адели приходил брат покончить с ней. Поэтому она тщательно скрывала свой адрес, живя без прописки, угождая во всем пьяной хозяйке, трепеща и волнуясь при всяком намеке об отказе ей от угла.

И смотришь на эти скорби людей, на эту юдоль печали, и во всей наготу там в этих темных щелях, во всем объеме видишь болезненные явления нашей искривленной жизни. Только два раза, говорят, паук хватает свои жертвы — в начале и в конце, а эти несчастные в ожидании его живут и мечутся в тенетах.

Старик повар приходил изредка, урывками, к Адели, принося ей то сэкономленный кусочек масла, то шей крошечный горшочек, оставляя еще 5—10 коп. на хлеб. Жильцы угловые встречали его удивленными взглядами, полными недоверия и нескрываемой гадливости. Старый-престарый, дряхлый, с пожелтевшими, как мох на дереве, клоچьями волос, с навис-

шими жесткими бровями. Он был груб и резко держался с Аделью.

— «Как же ты, Адель, сошлась с таким?» — «Да так, однажды ночью пришел, ну...» Прожив все свои заработки, весь скарб, Адель осталась полуприкрытой. Впрочем, она не составляла большого исключения среди нашего населения, разве было на ней немного больше грязи и вшей, да от этого царства паразитов никому нельзя было уберечься, как трубочисту от сажи. По ночам жуткие тени, как лунатики, вскидывались, вставали, трясли свои лохмотья. Особенно была страшна Адель. Высокая, с большим животом, длинными руками, в одной рубаше, она шагала между спящими и через них выходила в коридор, на лестницу, садилась на подоконник, охая, проклиная и стеная. В этой же комнате, на глазах у всех, среди неопишуемой грязи, гомона, она разрешилась живым младенцем мужского пола, который вскоре поступил на попечение воспитательного дома. В период лежания Адели больше всех внимания проявлял к ней живший в темном углу кухни сапожник. Раньше он заходил к нам во время подвыпития. Тогда у него речь становилась тихой, нежной, какой-то ласкающей, как ветерок в теплую ночь. У него недавно умерла жена в больнице, сильно им любимая, а вслед за ней, через месяц, умерли двое деток. Глубокая пустота и пропасть образовались около него, пропало то, что вышло и дороже было для него его жизни. — «Бог, создавший меня мужчиной, по ошибке вложил женскую душу, привязчивую и однолюбскую. Я держался, как ребенок за грудь матери, за жену и детей, а теперь колосом в поле одиноким остался. Если бы не боялся Бога, то отверг бы теперешнюю жизнь мою», — говаривал он. Глубокой горе светилось в его еще молодых глазах, в его голосе, в тихом плаче и во всей его скорбной фигуре.

Среди остальных сереньких жильцов заметной индивидуальностью был ночевщик, которого почти никто не видал, но каждый хоть раз, ночью слышал. Это был техник с высшим образованием, средних лет, красивый брюнет. Приходил он всегда за полночь, сейчас же валился на сложенную поленницу дров в темной кухне. Одет он был в черный сюртук и брю-

ки еще изрядного вида, но обувь на одной ноге — обрезок сапога, на другой — дырявая калоша, сильно протившая его вид. Уходил он всегда с зарей, почему мы сначала совсем и не знали о его присутствии. Долго спустя, притом довольно своеобразно, он обнаружился. Возвращаясь из своих экскурсий ночами, он с некоторых пор стал находить дверь запертой накрепко. Им давался робкий звонок, на который никто не отзывался, звонок постепенно учащался, переходя в отчаянный непрекращающийся трезвон. Хозяйка или старик, крадучись, подвязывали язык звонка. Наступала непродолжительная тишина. Проснувшиеся жильцы с затаенной тревогой и любопытством ждали конца. Видимая неизбежность остаться на лестнице подбодряла техника. Он начинал дубасить кулаками в дверь, присоединяя потом в помощь и ноги. Грохот шел по всей квартире неопиcуемый. Кто-нибудь, более милосердный или сильнее спать хотевший, советовал хозяйке впустить. — «Да отвори ему, места не проспит». — «Не пушу, — взвизгивала она, — не платит третий месяц, думает, подлец, улестить обещаниями. Не пу-шу!» — раздается издалека ее крик. Тогда уже начинался настоящий набат: дверь гроыхала, грозя сорваться с петель. Оглушающий шум наконец действовал на старика, срывавшегося с своего логовища и быстро открывавшего дверь. Впущенный техник моментально бесшумно валился на дрова, и все затихало. Тянулась эта музыка довольно долго, пока однажды техник не вручил хозяйке полтинника, отдалив на более или менее продолжительное время свои ночные штурмы дверей.

День наш начинался очень рано. Пряничник с сыном всех раньше поднимались. Они становились рядом против чужой иконы и долго усердно молились, шепча тихо молитвы, склоняясь иногда на колени. Сын делал все так, как поступал отец, и чудно было смотреть на эти две здоровые, крепкие фигуры, особенно вечером, при мерцающей лампаде, точно один только двигался, сгибался, а рядом с ним тень его моталась тут же. Бабы поднимались позже, кто шел в трактир, а кто тоже сгибался униженно перед своим Богом. Поодиночке и

компаниями шли за кипятком, купить кто чего. По утрам большинство пило чай с черным хлебом, в обед питались, исключая имевших работу с хозяйскими харчами, все приблизительно одинаково. В 12 часов заходили в лавку приобрести там на 3 к. кофе, на 3—5 к. сливок, в ближайшем трактире получали за 1 к. огромный чайник кипятку и еще за одну коп. к нашим услугам была плита. Скипятить кофе требовалось не больше пяти минут. Иногда там же обжаривали картофель, и даже в масле: это деликатным кушаньем называлось. Дома кофе пили без конца, вновь и вновь кипятя его, а после приходила просить для себя хозяйка оставшуюся гушу.

Кое-кто питался исключительно подавляющими сострадательных жильцов, другие черным хлебом и 3-копеечной селедкой, делимой на две равные части: с хвостом в первый день, с головой на завтра. На воскресный день Анна варила для своего избалованного ресторанами любовника обед; тогда можно было у нее получить за 10 к. тарелку супа.

Спать укладывались рано, в надежде — авось уснешь до событий и нападения врагов. Впрочем, эта общая мечта редко — увы, как редко! — осуществлялась. То пьяные, то муж Анны, а то слетались тяжкие мысли, у каждого свои...

Под праздники наши довольно-таки циничные и атеистичные жильцы старались соблюсти внешний декорум религиозности, задобрить богов. Каждая женщина зажигала лампаду перед ей только принадлежащей иконой. Масло, по естественной причине его экономности, воняло, фитили трещали, комната наполнялась густым тяжелым смрадом. Особенно ночью, когда в скупое отпущенной Богу порции масла немилосердно чадил сгорающий фитиль. Угловая жизнь во многом напоминает тюремную, с прибавкой того минуса, что эти вольные обитатели отвратительных гнезд не имеют и того минимума обеспечения, который имеют арестанты в виде арестантского пайка.

Упомяну еще об одной квартире, в которой мне пришлось позже жить, в тот период, когда я торговала семечками и фруктами.

Это помещение на Лиговке, в три

комнаты, занимали муж с женой. Хозяйка — совершенно трезвая, пожалуй, и домовитая, недурная жена — едва занималась заря, едва брезжил свет, срывалась с постели и бегом неслась на толкучку, скупая там всякую рвань, грязные старые юбки и пр. Из этих лохмотьев муж стряпал узорчатые одеяла, продававшиеся женой на базаре холостым рабчим по довольно дешевым ценам. Она все утро без куска хлеба мыкалась по Лиговке, нагруженная до головы изготовленным товаром. Неудача в купле-продаже настраивала ее очень свирепо. Весь ее гнев выливался тогда на нас довольно грубо: «У меня не дростать, не пачкать! Я люблю чистоту, не какая-нибудь, не во рву валяюсь, чтобы тут заводить всякую нечисть!»

Понять эту придирчивость было трудно: хлеб ей доставался весьма нелегко!

Муж — кроткий, тихий, даже нежный, забитый мужик, с детским выражением глаз, сгорбленный, кривоногий — целый день ерзал по полу, разбирая куски вонючей дряни, разрывая пыльные ключья хлопка. Его развлекал и сокращал серые, докучливые дни спившийся купец, жилец угла, когда-то, по словам хозяйки, очень богатый, но обобранный до ниточки своим приказчиком. Будучи пьяным, на похмелье и трезвым, купец этот всегда, без перерыва, читал работавшему хозяину, читал все, читал без усталости: что попадалось ему под руки. Если его постоянный слушатель отсутствовал, то он предлагал почитать древней старухе, торговке семечками, часто занемогавшей, кучеру какого-то князя, интересовавшемуся одними лошадьми. Мое вселение подвинуло купца дальше и лишило его самых примитивных удобств — спать на кровати. В узком и темном коридоре мы помещались втроем: я и торговка с маленькой девочкой. Через эту темную дыру проходили населявшие квартиру, гости и пр. Днем с полбеда, так как мы с товаром бродили весь день по городу; ночью же часто проходящие спугивали нередко наш сон.

Густота населения в этой квартире была не менее плотная, но пьяного элемента было несравнимо меньше. А вообще все угловые общежития мало

чем отличаются друг от друга, и по рассказам лиц, работавших тогда на одном и том же революционном деле, живших по углам, исключение составляли только жилища извозчиков, сравнить которые безошибочно и без преувеличения можно было только с клоакой.

Глава III НА КОНСПИРАТИВНОЙ КВАРТИРЕ

Однажды, отлучившись из первой еще квартиры на целый день на дачу П. Ф. Якубовича, я возвратилась под вечер, сразу заметив в своем муравейнике несколько приподнятое настроение. Несколько друг друга, женщины передавали: «Приходили, Григорьевна, к тебе господа, в услужение нанять. Барыня такая красивая, роскошная. А барин чудной, не русский, по всему видать, говорит как-то неладно, морда некрасивая. Обещались завтра придти». Я тоже почувствовала большую радость, что кончается тягостная и уродливая жизнь, мучительная по условиям, жизнь напряженная, с оглядкой, с боязнью обнаружиться, не попасть в тон окружающих обитателей. Главное — не было для нее и принудительной необходимости.

Решаю завтра никуда не отлучаться с квартиры, но устроить, однако, так, чтобы моя встреча с «господами» произошла вне общей комнаты. Муж Анны оставался дома, и его острый глаз мог уловить какие-либо обмолвки в наших разговорах, не соответствующие моему званию и положению. Уже странным могло казаться и то, что богатые господа поднимаются на шестой этаж за прислугой сами, и бабы мне не преминули заметить: «Знать, ты, Григорьевна, искусная стряпка, сами ишь пришли!»

Утром, к приближению назначенного часа, с большим чайником в руках, как бы идя за кипятком, я вышла на лестницу и стала тихо спускаться вниз. Расчет оказался верен. На третьем спуске подымался навстречу очень изысканно одетый молодой господин, каких, вероятно, эта лестница никогда и не видывала на своих ступенях. Приблизившись, он приподнял красивым жестом свою шляпу, спрашивая у меня обо мне.

Переговорив быстро о времени явки к ним на квартиру и взяв у «барина» их адрес, я возвратилась радостная в комнату, спеша поделиться со своими сожительницами приятно неожиданностью: «Получила-де хорошее доходное место к одиноким господам. Кроме меня у господ будет лакей, жалованье дают достаточное, работа необременительная». Многие жильцы слушали с затаенной горечью, завидуя счастью, без труда свалившемуся мне. Анна даже предлагала уступить ей, давно и тщетно искавшей именно такое место. Адель обещалась придти раз в неделю, не чаще, дабы не раздражать барыню более частым посещением.

Положение именинницы обязывало угостить вместе живших женщин кофе внакладку и дать обещание не шибко зазнаваться в положении прислуги богатых господ.

Наутро, не беря с собой всех вещей, как это принято у поступающих на место, и поручив присмотреть за ними Адели, я налегке отправилась по врученному адресу.

«Господа», которых я раньше не знала, только что переехали из гостиницы в нанятую ими (на Жуковской ул., № 30) хорошую большую квартиру с полной мебелировкой и всем готовым хозяйством. Дама-хозяйка хвастливо уверяла, что она в городе имеет еще несколько квартир, обитаемых по преимуществу графами и баронами. В нашей квартире тоже жили раньше генералы, неожиданно уехавшие на войну. При вечернем освещении, правда, наша квартира казалась нарядной, эффектной, но дневной свет обнаруживал все ее убожество и «поддельную краску ланит». Тут были электрические люстры, зеркала и картины, рядом с бумажными цветами и замызганными коврами, поцарапанными стенами, просвечивались пятна на полинявших обоях.

Равнодушие и холодность «барыни» к болтливой профессионалке по сводничеству прервали поток ее безудержного вранья о своем благородстве. Она перенесла свое благосклонное внимание на меня, давая множество советов по части угождения «гостям» и рисуя заманчивую перспективу возможности, после некоторого искусства, перейти к ней в качестве экономки. Познакомив с своим

прошлым, настоящим, со связями и обширным кругом знакомств, она в конце концов примотилась завтракать со мной. Отвращение и страх, что эта дама-нахалка станет пытаться проникнуть в нашу жизнь, заставила меня просто грубо оставить ее одну в кухне, уйти будто бы помогать моей «барыне».

«Господа», как уже упоминалось выше, были мне совсем не знакомые люди, и тут, на нелегальной квартире, мы встретились лицом к лицу впервые, с самой определенной целью, с твердым, непреклонным желанием осуществить эту цель, а это сразу сделало между нами отношения хорошими.

В апреле (1904 г.) — не помню числа — квартиру на Жуковской, № 30, занял под видом богатого англичанина Мак-Куллох* с содержанкой, бывшей певицей «Буффа». «Барин» действительно выглядел иностранцем, совсем не русским, и характеристика моих угловых людей была правильной. Это был новый человек нового поколения, яркий, с внешностью изящного джентльмена, с нерусским акцентом речи, в безукоризненном костюме, благожелательный в обращении, — все эти качества резко его выделяли и делали заметной величиной во всякой среде. Наружность его не была красива: маленькие карие глаза, голова, слабо покрытая волосами, небольшие усики, выражение аристократической надменности в лице, с немного остро выступающими вперед плечами над впалой грудью, делали его похожим на ватного дворянчика. И, однако, все эти внешние черты в значительной степени стусевывались. В нем, в глубине, было какое-то тонкое «нечто», вызывавшее большой интерес, глубокую привязанность, любовь к даровитой его природе. Он красиво рассказывал, спорил без претенциозности, умно, с какой-то особенной правдивостью высказывал свои мысли и отношения к людям, что часто рисовало его не совсем выгодно для него самого. Да, это был новый представитель молодого поколения, уже сильно и резко отошедшего от своих предшественников, восьмидесятников, все разложившего, переоценившего ценности, выпукло и резко выдвинувшего свою индивидуальность.

* Б. В. Савинков («Жорж») ¹⁵ — *Ред.*

Жена «Жоржа» — так звали Мак-Куллоха — или, вернее, будто бы «содержанка», с первого взгляда приковывала внимание своими огромными, миндалевидными, черными, как крыло ворона, глазами*. От этих глаз нелегко было оторваться. Какая-то невыразимо глубокая грусть, будто веками пережитая, отражалась в них, и все лицо тонуло в этих, дымкой подернутых, больших, печальных глазах, а между бровями залегла думная морщинка...

Глава IV

Е. С. САЗОНОВ («АФАНАСИЙ»)

На второй день нашего вселения на квартиру было сделано объявление о найме лакея. На самом же деле по объявлению должно было, конечно, явиться к нанявшим квартиру господам знакомое лицо. Эта публикация указывала только адрес явки. Барин дал мне пароль, точные приметы наружности того, кто придет с черного хода, чтобы занять должность лакея. Почему-то явкою он запоздал на несколько дней, а между тем по объявлению в газете каждый день валом валил народ с предложением готовности поступить на службу. Один из них так настойчиво просил обмануть господ, сказать барину, что будто бы нанятой лакей отказался, дать возможность стать ему на место, что едва удалось от него избавиться. Прошло несколько дней ожидания, когда рано утром кто-то постучался с черного хода. За эту неделю у меня уже установились весьма добрые отношения со старшим дворником и соседскими кухарками. Думая, не дворник ли стучится, я осторожно приоткрыла кухонную дверь. В небольшой просвет скважины глянули брызжущие каким-то особенным лучистым светом глаза. Живое, радостное лицо, немного искривленный нос убедительно подтверждали, что за дверью стоял наш лакей «Афанасий»; без всякого пароля было легко его узнать.

Сдерживая смех, он начал было что-то говорить и тут же, вероятно, заметив встречную дружескую улыбку, прыснул от душившего его смеха и

перепрыгнул порог кухни. — «Наконец-то я у пристани, на своем посту, какая радость!» — говорил Афанасий.

Афанасий был выше среднего роста, гибкий, подвижный, с быстро менявшимся выражением лица, с выразительными линиями в очертаниях рта, весь трепетавший молодой радостной жизнью. Непосредственная жизнерадостная натура резко выделяла его среди нового типа молодежи с шаткой, порой издерганной, опустошенной душой «голеньких». Цельность Афанасия сказывалась во всем, и в малом, и в значительном, и он входил в дело без сдерживающего раздумья, без разъедающих душевных ковыряний. — «Вот этот человек — настоящий, хороший», — говорила о нем простая девушка Адель, которой он оказывал совсем просто маленькие услуги, а главное, был с ней ласков и внимателен.

— «Хороший парень ваш лакей, — замечали не раз швейцар и дворник, — к каждому норовит он подойти с открытым сердцем, всем поможет».

От его смеющихся глаз, от веселых слов и готовности оказать помощь делалось окружающим легче, радостнее: как бы весенний луч обогреет и вольет бодрость.

Благожелательность, помощь слабому были у него не столько долгом, сколько безотчетным движением его природы. Несколько раз, увидев дворников или рабочих, поднимавшихся с тяжестью вверх, Афанасий срывался от обеда или чтения помогать несущим. Непосредственность выявлялась в каждом его жесте, в каждом движении. Афанасий верил и поступал без раздумья, по вере своей. Он не любил обыденщины, легко выходил из себя от житейских мелочей, но в крупном всегда был тверд, решителен. — «Что решу, то доведу до конца», — говорил он, и даже в самом голосе его слышалась эта непоколебимость. С упорством и самоотвержением он весь уходил в нужное большое дело, внимательно обслуживая его, обнаруживая при этом красивую отвагу борца и нежное сердце. — «Ходит храбро, ступит — под ногами свистит», — заметил однажды дворник. При спорах, довольно часто происходивших у нас на квартире, когда высказывался крайне разъедающий

* Дора Влад. Бриллиант. — *Ред.*

скептицизм, подрывавший упование и веру в общество, в интеллигенцию и многомиллионную массу, в черный народный мир, Афанасий весь загорался негодованием. Как ужаленный, вскакивал он со стула, осыпая говорившего упреками: «Вы говорите, может, и правду, да не всю, а значит, и неправду. Видите низость, легкомыслие, предательство, но забываете, не хотите видеть благородства и самоотвержения. В тех же «низах» были и есть грандиозные порывы беззаветного энтузиазма, геройства, самоотвержения. Мало ли у нас анонимных героев, великих безвестных могил? Наша история полна мучениками, полагавшими душу за други своя». Негодование и горькая обида слышались за огульное осуждение всего без разбора, без внимательного, вдумчивого отношения к огромнейшей стране, к великому народу, не раз выводившему свою родину на путь человеческого существования, на путь настоящей правды и добра. Указывая на своих предшественников, оставивших в нем глубокий и неизгладимый след, на партию «Народная воля», он говорил:

— «Мы воскресим героический период этих борцов, мы будем достойными сынами своих славных отцов».

Эту любовь к народовольческому направлению, к их мощной борьбе с вооруженным во всех пунктах правительством высказывал он с особенной чарующей нежностью, любовью искренней, горячеей. Афанасий был фанатичен во всем, во что верил, что любил. У него было много своего, им самим приобретенного, самодельного, самостоятельного. Это свое было заложено у него с самого раннего детства. Родившись в крепостной семье староверов, он с юности пережил период глубокого до фанатизма религиозного настроения, исполняя все служебные церковные требы, читал псалтыри, углублялся в духовное писание, молитвы, жития.

По-видимому, религиозность им была воспринята от матери, женщины нежной, вдумчивой, бесконечно доброй, с разлитым оттенком на ее лице чего-то скорбного, страдальческого. Егор Сергеевич Сазонов («Афанасий») очень любил ее, в самые для него трагические моменты вспоминал мать. «Какая она у меня добрая, хо-

рошая, сколько в ней чуткости!» — говаривал он.

Жили мы на своей аристократической квартире дружно, занятые каждый своими неотложными обязанностями. Быстро вспыхивавший Афанасий так же скоро начинал терзаться, искренне сожалел и порицая свою несдержанность, открыто исправляя «в сердцах» сделанный им поступок. Раз только за все наше общее сожительство у него произошла маленькая ссора с «барыней», о чем он потом глубоко сожалел и раскаивался перед ней.

Пыхнул гневно раз и на меня Афанасий, но эта его вспышка еще ярче осветила его красивую душу.

Случилось это вскоре по основании нашей квартиры, до той поры, когда наше близкое знакомство друг с другом еще не вполне совершилось. Шел разговор о неудаче, затяжке дела, по каким-то случайным и непредвиденным обстоятельствам. В самых отдаленных уголках громадной России напряженное ожидание конца вызывало недоуменные вопросы. Афанасий при разговоре волновался, огорчался замедлением, казалось бы, хорошо обдуманного плана действия.

Делу, поставленному уже на рельсы, казалось, оставалось бы только катиться по намеченному пути, но все уже подготовленное внезапно, как кривая лошадь, сбивалось в сторону, останавливалось... Снова принимались облаживать почти оконченное. Одни работники в неудаче черпали новые силы, лишний опыт; другие слабели, падали духом, теряли терпение, считая дело вообще трудным, едва ли достижимым. При обсуждении происходивших неудач, непредвиденных трагических случаев у меня вырвалось невольное замечание, что, видно, этому делу конца не будет; по-видимому, нет соответствующего настроения, нет надлежащего желанья у работников, или же самое это дело не столь важно, не существенно. Афанасий, как подброшенный шар, вскочил на ноги, сразу лицо его побагровело, а через миг сменилось странной, пугающей, мертвенной бледностью... «Вы жестоки! Мы не хотим! Да как же это могут думать! Если общество не чувствует или рабски переносит оплеухи, унижается, то мы, партия, не можем молчать, оставаясь равнодушными

свидетелями этого позора страны. Это наше кровное дело, мы доведем его до конца, даже если все до одного погибнем!»

Наша жизнь как-то вошла сама собой в определенные рамки.

Кухарка вставала раньше всех и шла за провизией. Квартира наша считалась весьма богатой, барин на свою содержанку не жалел денег, сообразно с этим и продукты приходилось закупать не какие-нибудь залежавшиеся, а высокой марки. В первые дни встречались затруднения во многих отделах хозяйственного обихода; незнание разных частей мяса и иных предметов вынуждало меня осторожно выжидать в лавке, прислушиваясь к заказам солидных поварих и поваров, покупавших деликатесы, и к их толкам — у кого лучше найти, дешевле, дороже и т. д. Через неделю весь курс кухарских плутов был пройден мною с успехом. Оказалось, если ежемесячный забор достигал ста рублей, лавочник платил не меньше пяти рублей ежемесячно же забиравшему провизию. Наш суточный забор часто превышал 5—10 р. Вся прислуга нашей лестницы, всегда все знавшая по части объегоривания своих господ, с завистью и с некоторой дозой уважения относилась не ко мне, конечно, а к моему доходному месту. Груня (дверь против нашей кухни) — горничная и кухарка двух холостых присяжных поверенных — настойчиво просила передать ей, когда надумаю уйти, такое доходное местечко.

— «Мои господа что! шантрапа! мяса берут всего по 1½ ф., которым норовят кормиться два дня. Смотрят, как бы не украли у них, да чего тут украдешь-то?» — жаловалась Груня. После утренних закупок из магазинов мы расходились по домам, обогащенные точнейшими сведениями про господ на одной лестнице нашего дома, но и соседних жильцов. Раз как-то в холодный день в мясной лавке обратил общее внимание раньше не виданный там субъект, наружности не весьма порядочной. С этого времени его визиты участились, но к нашему дому его интереса совсем не было заметно. Одна прислуга, жившая по линии улицы Жуковского, выразилась, указывая на незнакомца, совсем просто: «Это сыщик. На панели, вишь, в

непогоду стоять-то неудобно, ну, он и норовит переждать в лавке. Он тут за Грунькиными господами следит». Это случайное обнаружение цели сыщиковских наблюдений успокоило нас*. Довольно часто при возвращении с покупками домой я встречала на черной лестнице Афанасия, чистящего юбки и камзолы спящих еще господ, а в кухне кипел уже им поставленный самовар. В этот ранний час охотно к нам на кухню заглядывал старший дворник со свежими новостями, а главным образом попить чаю или кофе, в чем, конечно, он почти никогда не ошибался. Афанасий охотно, весело подставлял ему стул и чашку кофе. Шла японская война. Афанасий накупил множество лубочных патристических картин, оклеив ими все кухонные стены. Старший дворник, указывая как-то на одну картину, где японца избивал казак нагайкой, заметил: «Кого они обманывают этим?» — «Но мы побьем, поколотим, беспременно одолеем!» — вдруг свирепо выпалил Афанасий. — «Оставь фигурировать, кому одолевать-то?» — возразил мрачно дворник.

С двенадцати до обеда квартира пустела, расходились по делам. Кто шел на свидание с другими работниками, кто для показной видимости уходил куда-нибудь. Часто, не дожидаясь опоздавших хозяев наших, вдвоем с Афанасием мы обедали на кухне, и в эти часы он много рассказывал о своей прошлой жизни, о студенческих годах и погибших друзьях. Не помнится, чтобы он дурно отзывался о ком-нибудь из своих товарищей. Особенно радостно вспоминал он о каком-то старом уфимском друге-наставнике** и о «бабушке»¹⁷. Из-за последней у него вышла серьезная неприятность с отцом, едва не окончившаяся полным разрывом. Когда уводили арестованного Егора в тюрьму, отец, указывая на висевший портрет «бабушки», сказал: «Вот кто

* По доносу (ложному) Азефа на жившего в этой квартире пом. прис. пов. Грандафилова за домом № 35 по Жуковской ул. было поставлено секретное наблюдение. Это один из трюков Азефа, о цели которого можно лишь догадываться. Он или хотел спугнуть конспиративную квартиру, или, в случае ее провала, иметь в руках козырь, что он уже указал на этот дом. — *Ред.*

** Дело идет, по всей вероятности, о В. В. Леоновиче¹⁸. — *Ред.*

виноват, а вы его арестуете». Воспоминание об этом причиняло Афанасию большие страдания. Он любил пылко и страстно своих родителей; когда он начинал рассказывать о них, то весь изменялся: голос становился таким нежным, приглушенным, без резких нот, музыкальным; глаза подергивались задумчивою грустью; все лицо трепетало и чуть-чуть мягко улыбалось.— «А мама моя добрая, добрая и кроткая». И снова, уже перейдя на другой предмет разговора, он вновь возвращался к матери. Все, казалось, в нем было полно большой и горячей привязанностью к ней. Для него тогда порвалась уже почти окончательно нить, связывавшая его с ними, и вновь обнять их никакой надежды не было больше. Раньше, будучи в Питере, исполняя роль извозчика, он иногда стаивал у Знаменской гостиницы.— «Раз у подъезда жду седока,— рассказывал Афанасий,— вдруг вижу, из парадной выходит... мой отец... Удар кнута, и я мчался в другую сторону, сам не зная куда. Не думаю, чтобы отец узнал меня».

Проводив в театр господ, вечером Афанасий шел к швейцару на разведку с бутылкой пива и уворованными якобы барскими папиросами. Швейцар наш был до фанатичности набожен. Все стены конуры его под лестницей сплошь украшались образами, образочками, крестами, святыми картинами, перед ликами которых лился разноцветный лампадный свет. И говорил швейцар много на религиозные темы, что, однако, нисколько не мешало ему иметь двух жен: одну для города, другую для деревни, с изрядным количеством детворы от каждой; а деревенская, как это полагалось в большинстве случаев, предоставлялась им притом своей собственной участи. Из этих экскурсий Афанасий возвращался переполненный «всякие скверны». Он отплевывался и с отвращением мотал головой, отказываясь передавать отзывы и суждения швейцара купно с дворником о жильцах дома. «Собственно, порядочные господа во всем доме, можно сказать, одни твои господа, остальное все сволочь, шушера и шантрапа»,— говорили они, не обнаруживая при этом ни малейшего намека на какую-либо подозрительность. После обеда в празд-

ничные дни мы, прислуга, вместе выходили за ворота постоять зеваками. Даже мой возраст не удерживал швейцара или дворника от похабного разговора, что заставляло подальше отходить от их компании, ссылаясь на свои годы и греховность слушать такие скверные речи.

— «Никогда,— говорил Афанасий,— я не слыхивал столько похабства, как за время общения с набожным швейцаром»*.

* Для полноты духовного прекрасного образа, нежной любви к товарищам нашего «Афанасия» я привожу письмо его, написанное мне в 1906 г., когда его, после суда и Шлиссельбурга, пересылали в далекий Акатуй.

«Дорогая, незабвенная наша тетушка!

Я так счастлив, что могу приветствовать Вас. Мне все время, еще в нашей могиле, хотелось обнять Вас крепко и выразить Вам, хотя задним числом, чувства любви и глубокого уважения к Вам, волновавшие меня.

Мне было всегда тяжело вспомнить, что Вы, на основании некоторых эксцессов с моей стороны, или, лучше, со стороны моего дурного нрава, быть может, остались при неверном представлении относительно моих чувств к Вам. Мне хотелось целовать Ваши руки, поклониться Вам, что я теперь и делаю... Но будет об этом. Я так рад, что могу писать Вам с уверенностью, что мое письмо дойдет по назначению.

Дорогая! Когда я оглядываюсь назад, на это бранное поле, усеянное головами тех, кто был дорог бесконечно, за кого тысячу раз готов был бы умереть, с кем неразрывно и тесно связывали самые святые чувства, ах, я не могу назвать этого подходящим именем!— Тоска гнетет меня: мне кажется тогда, что я жил какою-то особенною, прекрасною жизнью, среди людей, которые странно не похожи на других людей: озаренные сиянием, они в моих глазах вырастают в гигантов. Хочется преклоняться перед ними. Странно, что я жил с ними, видел и осознал их и хотя любил их, но в моих чувствах и отношениях к ним, этим людям, было слишком много человеческого, низкого. И когда я вспоминаю об этих прекрасных образах,— увы! уже образах,— меня охватывает смертная тоска; сам себе я начинаю казаться выходящим с того света, чуждым действительно, и завидую мертвецам.

Дорогая, простите за эти строки; я уверен, что Ваше сердце поймет, какими чувствами они продиктованы. Я хорошо помню: «Умереть за убеждения — значит звать на борьбу», и моя тоска по погибшим претворится в жгучее чувство мести их палачам и жажду борьбы — борьбы против ужасных условий, которые обрекают на гибель прекрасное, доброе, борьбы за идеалы, во имя которых они сложили головы, озаренные сиянием этих идеалов.

Дорогая, глубокоуважаемая! Я теперь узнал, кто Вы, знаю Ваше прошлое и с тем большим чувством уважения преклоняюсь перед Вашим прекрасным образом. Буду верить, что, когда настанет желанное время свободы, я окажусь достойным Вашего объятия и достойно назовусь Вашим сыном. Желаю Вам сил и здоровья с тем, чтобы Вы дожили до по-

И. ПЛ. КАЛЯЕВ
 («ПОЭТ»)

В первые же дни по организации квартиры «барыня» предложила сходить повидаться с одним из нашей группы, с Иваном Платоновичем Каляевым, известным среди всех работников под кличкой «Поэт». Решительно все относились к нему с самым дружеским расположением и неподдельной искренней любовью.

Мы шли по Владимирской улице в направлении Технологического института. «Вот поэт,— указывая глазами вперед, сказала барыня,— посмотрите на него всего».

К нам навстречу двигалась фигура торговца-папиросника, с лотком на ремне через плечо. Заметно было, что тяжесть товара сильно давила ему плечи, он несколько горбился, медленно подаваясь к нам. Большой белый фартук закрывал его грудь и опоясывал пиджак, прикрывая таким образом его рваную одежду. Вытертый картузишко и стоптанные сапоги дополняли его костюм, как у всех мелких уличных разносных торговцев. Даже набившие руку филеры не могли бы его признать за переодетого интеллигента. И, однако, его молодое, задумчивое, как бы дымкой подернутое лицо немного разнило «Поэта» от заурядного папиросника. Заметив наше приближение и видимое намерение с ним остановиться, он весь выпрямился и засветился такой детски чистой лаской, лучистые серые большие глаза загорелись радостным и приветливым огнем. Но кругом снова люди. Иван Платонович быстро овладел своим настроением, приняв повадку профессионала-торговца. Пышались приглашения купить самые лучшие папиросы, кошельки и проч., с этими возгласами он приблизился к нам, развернув весь свой красиво уложенный товар. Торгуясь и рекомендуя купить один предмет за другим, он тут же в промежутках сообщал нужные для других работников результаты наблюдений, тщательно им проверенных, или точно замечен-

беды тех идеалов, на служение которым отдана была вся Ваша жизнь.

Победа близка! До свидания же, дорогая, незабвенная тетушка,— глубоко уважающий и любящий Вас Афанасий».

ных отклонений от раньше виденных.

С этих пор наши встречи с И. П. происходили в большинстве случаев в обстановке, сейчас описанной, где-нибудь на улице; но в праздники он решался на свидание в каком-нибудь плохоньком, третьеклассном трактире. Там мы садились в самый укромный, в самый отдаленный уголок, пили чай вприкуску, медленно, с отдыхом. Когда же приходили другие работники, место в трактире занимали более фешенебельное, как настоящие мещане-торговцы. Шумно и весело велись рассказы самого фантастического характера. Народ был все молодой, жизнерадостный, красивый отвагой и беззаветными жертвенными порывами. Иван Платонович тогда в своей компании больше всех острит и смеется раскатисто, заразительно. У всех у них была одинаковая приблизительно жизнь в углах, одна работа и одинаковый конец. Иван Платонович всегда вносил в общее настроение значительную дозу бодрости, увлекающей красоты подвига.

Однажды опять мы «Поэта» встретили около Исаакьевского собора, на людной и чистой от «шантрапы» улице. Лоток его на этот раз был уже заполнен фруктами. Красивыми ромбами были разложены персики, горевшие издали ярко-красным цветом. Приблизившись близко, он громко выразил радость встречи непредвиденной, такой для него радостной, и, как бы желая подкрепить им сказанное, он пригоршнями начал сыпать нам фрукты, сообщая свою полную победу в изысканиях, свою уверенность близкого конца напряженной и трудной для всех жизни. Между тем городской уже заметил остановившегося торговца не в указанном месте и быстро направлялся с окриком: «Пошел, пошел». — «Поэт,— предупредила Дора,— на вас устремился блюститель закона, берегитесь!».

— «Э, черт дер!» — ругнулся поэт, быстро исчезая за поворотом улицы со своими прекрасными товарами.

Е. Ф. АЗЕФ

Так жили мы до приезда Азефа. В конце мая, но может, и позже, помнится, «барин», возвратясь однажды

со свидания с наблюдателями, предупредил, чтобы мы укараулили завтра момент прихода к нам Азефа, дабы он проскользнул никем не замеченный. Роли поделились естественно. Афанасий на «стрему» спустился к швейцару — отвлекать его внимание, а черный ход, само собою, стерегся кухаркой.

Наружность Азефа была так необычайна, до такой степени индивидуальна, что раз, всего один только раз встретившись с ним, лицо его, как бы оно потом ни изменялось, не могло уже забыться во всю жизнь, запечатлеваясь властно, навсегда, и нельзя было смешать его с кем-нибудь другим, ошибиться.

Высокого роста, толстая широкая фигура его опиралась, несоразмерно с туловищем, на тонкие ноги. Длинные руки женской формы, вялые, мягкие, вызвали при прикосновении неприятное ощущение чего-то склизкого, холодного, точно прикоснулся к холодной лягушке или слизняку. Глаза у него были карие, всегда бегающие, всегда как бы что-то высматривающие, но в них искрилось много ума и какой-то лукавой сметки. В особенности характерен был рот с эфиопскими толстыми губами, которые часто складывались трубочкой и вытягивались вперед, выражая презрительное недовольство и неприязнь; какое-то странное и не поддающееся объяснению сочетание было в этом типе: соединение добра и зла, нежной ласки, внимания и поразительной жестокости, соединение заботливой дружбы и предательства. В Вильне и Варшаве вспоминается, как он не пропускал мимо себя ни одного маленького еврейского малыша, продававших три коробочки спичек, несколько штук иголок и мешочек крошечный сахарного песка. Это трогало и подкупало, это как бы говорило, что при самых серьезных делах, разговорах Азеф помнил свои обязанности к человеку, обязанности к нуждающемуся.

Ввиду заметности наружности никто не должен был видеть его приход в нашу квартиру, а визит Азефа носил чересчур деловой характер.

Наше положение обязывало с возможно большей заботливостью предохранить от провала квартиру, хотя первоначальная цель устройства бар-

ской квартиры значительно изменилась. Кроме безопасности для всей группы Б. О., являвшейся скрепой и рулевым для всех работников в деле, — так мы понимали, в частности, ее роль, — еще предполагались две существенные функции квартиры: покупка и держание при квартире автомобиля, с которого, быть может, в конечном счете придется с большей вероятностью делать нападение на министра Плеве, и в ней же, при полной ее чистоте, нашему технику «Павлу» (М. Швейцару) было бы лучше всего накануне покушения зарядить бомбы. Предполагавшаяся покупка автомобиля не состоялась, пожалуй, по причине начавшихся выясняться обстоятельства, что покончить дело удастся при помощи одних метательных ручных бомб. Все возникшие во время хода работ вопросы должны были решиться совместно с Азефом теперь, для чего он и должен был остаться на некоторое время у нас.

Азеф нашел нашу квартиру недурной, удобной в конспиративном отношении, строй нашей жизни им был одобрен, но за невыполнение первоначальных предначертаний касательно автомобиля он жестоко разнес «барина». Несмотря на твердую позицию, занятую жильцами квартиры, он упорно отстаивал необходимость автомобиля. Споры велись по этому предмету с одинаковым упорством и горячностью — с обеих сторон. Азеф горячился, негодовал, был груб, выражался чересчур категорично и авторитетно, упрекая «барина» в самовольстве. — «Вы не имели права отступать от выработанного плана!.. Как вы смели это сделать!»

Такие выражения весьма коробили присутствующих, но возражать было нелегко: ведь каждый отлично понимал, что крупное, большой важности дело требовало при тогдашних условиях строгой дисциплины, подчинения раз выработанному сообще плану действия. После долгих прений и обсуждений Азеф уступил, положась на мнение работавших все это время. По окончании деловых объяснений Азеф становился простым, сердечным, обнимал «барина», боролся с Афанасием, дурил с ним. К последнему, казалось, у Азефа было какое-то особое трогательно-нежное отношение. Он больше чем любил Афанасия — он

ежился, заискивал перед ним, становясь до некоторой степени в положение побитой собачонки. Велико, говорят, влияние честности в большом характере. Жил Азеф у нас больше недели, ни разу не выходя из дому. Спал он в одной комнате с Афанасием, на полу. Еще один раз за это время, пока он у нас оставался, у него произошла жестокая баталия с Жоржем.

В один из дней поездки Плеве в Царское Село барин тоже решил туда отправиться для наблюдения за ним. В тот же день там происходили скачки, облегчавшие ему поездку. Вернувшись из Царского Села, он рассказал о любопытной встрече на вокзале в ожидании поезда с какой-то барыней, ехавшей тоже в Царское Село, якобы на скачки. Болтая о том и о сем, она свела разговор на министра Плеве. Весь город, по ее словам, занят событием в Центральной гостинице, его связывают с готовившимся покушением на Плеве.— «Разве он не слышал?» — ее это удивляет, тем более для иностранца.— «Каков вы есть, думаю я, это невероятно», — говорила она. Она живет на Морской — там-то... «Иностранец», в свою очередь, рекомендует ей и сообщает свой адрес.

Выслушав этот рассказ, Азеф взбесился. Со стороны «барина» это непростительная легкомысленность и неосторожность. До очевидности ясно — дама эта шпионка, квартиру нашу надо считать проваленной.— «Немедленно приступить к ее ликвидации, — сердито повторял Азеф, — иначе все дело погибнет, а данный ею свой адрес наверно фиктивный». Всех жителей квартиры эта оказия очень смутила, хотя и чувствовалось какое-то тут преувеличение со стороны Азефа.

На другой день наш «барин»-иностранец отправился на Морскую проверить, действительно ли там живет его случайная знакомка, и по обстановке квартиры определить ее профессию. Вернулся он из своей экскурсии радостный и спокойный. Со смехом передавал подробности своего визита к барыне, жившей на Морской, обстановку жилища, наружность кавалеров, ожидавших в передней своей очереди приема. Все сомнения рассеялись. Она была «одна из многих».

Тем не менее Азеф остался непоколебим относительно упразднения нашей квартиры. Ему стали казаться недостаточными наши наблюдения, разрозненными собранные факты о Плеве. Необходимо стать всем в простое положение, усилить слежку, не найдется ли более лучший случай, более простой, с меньшими жертвами. В подтверждение нашей неполной осведомленности он сообщил о Плеве такой факт: «Я слышал, что Плеве ходит каждый день по Морской, пешком, один, к своей любовнице. Конечно, эти визиты обставлены весьма таинственно. Раньше он посещал другую даму, уверенный в незнании ею его особы. Но вот после назначения его министром внутренних дел, когда он уходил после одного из визитов от первой содержанки, она ему заметила: «Теперь вы могли бы быть немного щедрее».

— Почему? — вспыхнув весь, спросил ее Плеве.

— Вы уже сейчас большая особа, министр...

Плеве прекратил свои посещения к ней». Как стал известен Азефу такой случай? Он бывает у значительных содержанок, когда приходится туго, когда необходимо следы замести, он ловкий.

Глава VII

ЛИКВИДАЦИЯ КОНСПИРАТИВНОЙ КВАРТИРЫ. — НА УЛИЦЕ

Азеф уехал, посоветовав нам скорее ликвидировать квартиру. Началось ее упразднение. Афанасий поехал искать себе новый паспорт, решившись опять стать извозчиком. «Барин», якобы по делам коммерческо-агентурным, отметился в Ростов. Кухарка тогда ушла за город и провела там несколько дней. Осталась на квартире одна Дора, взяв себе прислугу с рынка. Возвратившись в город, я нашла себе угол на Лиговке, в квартире, о которой упоминала раньше, и занялась торговлей семечками — положение, дававшее возможность проникать всюду без боязни обратить внимание филеров. Со мной в углу жила еще торговка, от которой много пришлось позаимствовать приемов по части искусства торговать. Желая оформить свое положение, я

обратилась к старшему дворнику за указанием, где взять разрешение на право уличной торговли и сколько это будет стоить. — «А на какого лешего тебе тратиться? — резонировал толстый, красный, как бурак, старший дворник. — Торгуй себе без бляхи, никто не тронет, для тебя три рубля капитал. Тут все безбляшные на нашем дворе».

На другой день, приобретя корзину и семечки, мы с жилицей рано утром отправились промышлять. Моему вниманию сугубо рекомендовалось наблюдение: во-первых — пути по Каменноостровскому пр. вплоть до Карповки и дальше, — местности расположения летней резиденции Плева, во-вторых, Балтийский вокзал и путь к нему в те часы, когда эта часть не обслуживалась другими. День наш начинался рано и кончался с заходом солнца. К вечеру брели без ощущения ног, с одним желанием бухнуться и уснуть. Обедали на скамеечке в парке или в дешевой чайной. В ней за пять коп. была возможность получить чашку щей или супу, конечно, самого прискорбного вкуса. Кое-кто примешивал туда на 1 к. сметаны, но все без исключения в свою миску выливали из судка уксус, горчицу и перец. Были трактиры, в которых кулинария разнообразилась молочными супами и котлетами, но — праведное небо! — что это были за блюда, какой прихотливый вкус они имели! Впоследствии предмет торговли пришлось переменить, сезон требовал этого. Корзина наполнялась фруктами, торговля пошла ходче, зато тяжесть значительно прибавилась. За фруктами чуть свет, когда их привозили со станции железной дор., ходили на Щукин двор¹⁸. Туда же значительно раньше приходил «поэт», тоже за фруктами. Он покупал целыми ящиками, долго и упорно торгуясь с пафосом и пылкой жестикуляцией, выжимая копейки у оптовщика. Казалось, сознание хорошо разыгранной роли мелкого торговца доставляло ему большое удовольствие. Он откладывал мне фрукты, передавал в то же время свои новые наблюдения проездов Плева, увлекаясь, забывая о всем окружающем, радуясь удаче, браня неуспех, волнуясь без резких слов. Потом мы расходились в разные стороны. За эти дни — недели, до

возвращения еще Афанасия, два раза пришлось иметь возможность встретить фон Плева. Трудно было не узнать этого бюрократа, только слепой не заметил бы той помпы, которая сопровождала его проезд. Весь его путь, как по волшебству, принимал какой-то театральный вид. От низшего полицейского чина до полицейского высшего ранга, умноженных во много раз, все в блестящих новеньких мундирах, все вытягивались в струнку, одергивая мундиры, поправляя шашки, точно готовясь ко смотру, охорашиваясь, а главное и самое приметное, все они поворачивали, как по команде, головы в ту сторону, откуда должен был ехать Плева. Между этими вертящимися чинами полиции, в недалеком расстоянии друг от друга, ходили изящные джентльмены с тросточками и с небрежным, независимым видом — филеры. Живая изгородь вырастала по обеим сторонам тротуаров, внезапно живой стеной обеспечивая путь. В первый раз встреча случилась у Балтийского вокзала. Торговка семечками могла идти тихо, по временам останавливаясь, поддавалась невольно общему настроению поворачивать голову туда, назад, куда все смотрели. Через пять — десять минут ясно послышался грохот шумно мчащейся кареты. Позади нее, шагах в пяти, на чудном рысаке сидел сыщик еврейской наружности. Сейчас же за мостом, при повороте к Варшавскому вокзалу, карета пролетела так близко мимо меня, что чуть не задела колесами. В окне, подавшись немного вперед, виднелось характерное лицо Плева. Ошибиться было трудно. Подойдя несколько ближе к каналу, я села, наблюдая копошащихся и шмыгающих филеров, принимавших теперь позы солдат после маневров. Эта встреча и возможность уцелеть среди целой рати шпионов укрепляли и обнадеживали наше решение уличного нападения. Одно войско, революционное, менее многочисленное, станет выбивать более превосходящее по количеству — царское. Возвратившийся Афанасий, одновременно наблюдавший за проездом Плева в другом пункте и встретивший ту же карету, в свою очередь, без колебания поддерживал уличное выступление. Вполне понятно, что другие встречи в пути изыскивались теперь неохотно. На-

блюдение считалось как бы оконченным. Один «поэт» продолжал бродить с лотком в разных направлениях, все думая, авось подвернется случай более подходящий. Намерения его были ясны: с меньшими жертвами покончить начатое дело. Для его нежной души слишком болезненно было сознание неизбежности гибели не одного его, а и других товарищей.

Глава VIII

ДОРА ВЛАДИМИРОВНА БРИЛЛИАНТ

В свободные, праздничные дни мы навещали «барыню», оставшуюся одинокой на Жуковской квартире. Ей требовалось разыгрывать роль покинутой «другом» и носить на лице следы глубокой печали при посещениях хозяйки. Эта сводница утешала «барыню» тем, что «барин», хотя она его и не знает, не так уж обворожителен и красив, чтобы стоило о нем убиваться и долго думать. Если «барыня» пожелает, то она, хозяйка стольких богатых квартир, бескорыстно сейчас же найдет ей друга позначительнее и поважнее. «Барыня» в самом деле сильно страдала, конечно, не от потери друга, а от вырешенной ненужности квартиры, где она бесцельно продолжала жить. Ее пугала перспектива остаться надолго без всякой работы. Она стремилась отдать свою жизнь в серьезном и значительном деле, с сознанием, что она не напрасно прожила. К повседневному тихому существованию она не чувствовала себя способной; для другой работы, например пропаганды, у нее не было склонности; заниматься техникой — казалось, не хватает сил. Начать учиться теперь, когда сердце переполнено ужасами жизни, а душа полна страданий за загубленных братьев, друзей... Глаза у «барыни», большие, огромные, как бы отражали всю переживаемую ею скорбь; они как бы смотрели на то, что позади жизни. В них светилась грусть глубокая, приковывающая к себе даже посторонних. Однажды мы с ней шли по Забалканскому проспекту. Два студента несколько раз обгоняли и останавливались впереди, рассматривая Дору. На замечание о неприличии их поведения один ответил: «Ничего ни позорного,

ни бесчестного нет в том, что мы останавливаемся перед красивой». Она не была солидно образованной, но природный большой ум, способность ориентироваться в различных положениях делали ее очень ценным работником, приятным другом и верным товарищем, не способным оплошать или малодушно уклониться. — «Почему, — с горечью спрашивала она часто, — не хотят пустить меня на выход? У меня хватит мужества не скомпрометировать партию. У меня достаточно гордости, чтобы вот так сложить руки, не дрогнуть, не показать врагу самую крошечную слабость, ничтожную робость». И она крепко сжимала ладонь в ладонь руки на коленях и казалась олицетворением спокойной гордости. Физически она была слабая, хрупкая, как растение без солнца, которому одно дыхание утренника несет смерть. Тюрьма для Доры была удушливым газом, который не щадит ничьей жизни; в ней она покончила свою полную горечи и печали жизнь. Сидела она сначала в Петропавловской крепости — этой темной глубокой могиле, мрачной дыре, поглотившей столько молодых сил. В то время там многие в одну ночь лишались рассудка. Одна девушка после двухмесячного заключения в этой проклятой волчьей яме с трепетом души рассказывала мне про свою безумную соседку (Дору). Ночью у нее внезапно потухло электричество — оно должно гореть целую ночь; неслышно, в одно мгновение, что-то звякнуло, дверь с шумом распахнулась. С зажженной свечой ворвались к одинокой заключенной какие-то неясные, дикие фигуры. В первый момент появления света частности ускользали из поля зрения, лишь надвигалась какая-то темная чудовищная масса. Неописуемый ужас охватил все существо, и нечеловеческий крик пронесся в угрюмых стенах Петропавловки. С этой ночи соседка не переставала оглашать отчаянными криками крепостные своды, пока не увезли ее в больницу (в 1906 г.).

Дора Владимировна Бриллиант родилась весной 1880 г. в городе Херсоне, в зажиточной купеческой еврейской, очень ортодоксальной семье. В Херсонской гимназии окончила 4 класса. Сильное стремление к образованию, не могшее найти удовлетворения,

сказывалось с ранней юности. Мешала этой склонности ортодоксальность семьи; по этой же причине курс наук ее продолжался всего 4 года. В 1898 году, после тяжело перенесенной смерти матери, она с большой настойчивостью и усилием воли добилась права продолжать образование. В 1898—1900 гг. она училась акушерству при Юрьевском унив. Часть 1900 года провела в провинции, где готовилась к аттестату семи классов гимназии.

В конце 1900 г. переехала в Киев, продолжая заниматься в период студенческих волнений, особенно сильных в Киеве. Первые встречи, первые соприкосновения с не революционными в собственном смысле, а с прогрессивными студенческими кружками. Участвовала в большой студенческой демонстрации в Киеве, была арестована, просидела недолго в Лукьяновской тюрьме, была выслана в провинцию под надзор.

Она местом ссылки избрала Кишинев, но через несколько дней изменила его на Екатеринодар, в котором оставалась недолго, полтора-два месяца, затем переехала в Полтаву. В Полтаве сильное и исключительное влияние П. Ф. Николаева¹⁹ (б. каркозовца) и наезжавших в Полтаву «бабушки», Гр. Андр. Гершуни²⁰. Эти знакомства окончательно укрепляют ее в эсеровских убеждениях, создают несокрушимую до смерти преданность им и определяют характер всей последующей ее революционной деятельности. В Полтаве Дора принимает очень деятельное участие в местном комитете партии, где архивы и вся техника лежат на ней. Ею же отпечатана была оригинальная прокламация Боевой организации по поводу убийства Богдановича²¹. Ею же выполнялась и вся техническая часть издания «Крестьянской газеты».

Осенью 1903 года оканчивается срок надзора, и Дора Вл. перебирается в Киев, продолжая там в местном комитете работу до весны 1904 г., когда она вступает в ряды членов Боевой организации, и таким образом исполняется ее, во все время мирной работы, заветная мечта.

Весною 1902 г., после Толстовской демонстрации в Полтаве, в городском театре, Дора Вл. была арестована вместе с другими поднадзорными,

проживавшими в то время в г. Полтаве, и просидела в арестантских ротах несколько дней.

Дальнейшая ее судьба следующая. После дела Плеве — поездка за границу (август 1904 г. по январь 1905 г.). Затем она в Москве работает техником в деле убийства вел. кн. Сергея²². Вторая поездка за границу (сентябрь — октябрь 1905 г.). К первому декабря 1905 г. она возвращается в Петербург, и через несколько дней по приезде ее арестовывают. Крепость, голодовка, болезнь и полное истощение. Ее переводят в Литовский замок, в котором она окончательно заболевает до такой степени, что не имеет сил не только встать с койки, но даже и повернуться собственными силами. В это время ей разрешается свидание в камере с приехавшей сестрой. Затем Д. В. переводят в больницу Николая-Чудотворца²³, где она умирает 27 октября 1906 г. Похоронена она на Преображенском кладбище. Обвинялась она по 101, 102 и 2 ч. 126 ст.

Дора Владимировна, как стало потом известно, в Петропавловской крепости сошла с ума. Эта гордая девушка умоляла в безумии своих врагов дать ей яду для прекращения глужих страданий.

Впрочем, все это произошло впоследствии. Раньше было сказано, что по расформировании квартиры на Жуковской там оставалась одна Дора, маячившая одиноко в больших комнатах. Навещать ее без риска была возможность для одной только старой кухарки, приходы которой к тоскующей, брошенной «барыне» не казались ничуть подозрительными. Однажды, в на редкость прекрасную погоду, я заглянула к Доре и, найдя ее грустно-молчаливой, предложила поехать куда-нибудь так, без цели, просто проветриться. Был какой-то праздник. Извозчику было предоставлено самому избрать маршрут. На углу Б. Морской и Невского образовался невероятный водоворот от скопления пешеходов, карет, извозчиков. Над всем этим гомонящим, ругающимся извозчицким криком слышались бешеные ругательства городских и приставов. Затертые этой живой лавиной в центре, мы и не пытались, и не могли двигаться вперед. В этом ожидательном положении наше внимание

привлекла к себе одна карета, медленно хотя, но все же пробивавшая себе дорогу. Наши головы как-то сразу повернулись в сторону кареты. Совсем близко мимо нас, бок о бок, двигалась та хорошо знакомая карета, с тем же кучером с крестами на груди, окладистой бородой. У обеих нас в тот же миг вырвалось одно восклицание: «Плеве». Из окна кареты, точь в точь, как раньше, в виденной нашими наблюдателями позе, подавшись вперед всем корпусом, вперялись в толпу колючие суровые глаза, с напряженным ожиданием чего-то внезапного, непредвиденного. Этот тяжелый свинцовый взгляд быстро скользил по толпе сидящих в экипажах. Непродолжительное время наш извозчик держался за ним, а мы в простоте сердечной рассчитывали проводить Плеве до его конечного пути, быть может, узнать место, им посещаемое. Разумеется, расчеты эти оказались никчемными. Карета катилась с быстротой экспресса и через несколько минут утонула вдали. Такую случайную встречу можно было принять за аберрацию, за обман зрения, так необычайна, проста, близка была она.— «Вот удивительный, редкостный случай,— досадливо заметила Дора,— мы одни могли бы с ним кончить». В эту прогулку Дора много вспоминала и рассказывала про Покотилова*, с которым ее связывала давнишняя дружба, полная взаимности, искренней доверчивости, не носившей случайного характера. В этой дружбе, в их отношениях было много трогательного и высоко привлекательного. Они много работали вместе, жили и обменивались своими настроениями, своими едва родившимися мыслями, составляли как бы одну душу. Когда он болел и лежал в лазарете, страдая мучительно от упорной экземы, Дора всегда была около него, не оставляя одного, заботливо ухаживая, поддерживая бодрость, разгоняя мрачное настроение, удерживая от рокового шага.

И Покотиллов платил ей трогательной братской привязанностью, бескорыстной заботой.

Простота Покотилова в отношении

* Алексей Покотиллов, член Боевой организации, погиб при снаряжении, для покушения на Плеве, снарядов в Северной гостинице в Петербурге в ночь на 31 марта 1904 г.

ях к людям, сердечность были присущи ему так же, как прядение шелковичному червю. Рабочие, безработные, выпущенные на волю из тюрьмы, просто нуждающиеся обращались к нему не то что за помощью или с просьбой, а просто брали у него, как в кассе, и когда уже не было в Полтаве Покотилова, они справедливо говорили: «Эх, нашей кассы не стало».

Лично мне не довелось встретить этого скромного, в высокой степени привлекательного работника нашей организации, но горячая и трогательная привязанность, обвеянная чистой нежной любовью Афанасия и Доры, печаль других товарищей долго спустя после его трагического конца создают прекрасный образ человека-друга в самом неприкрашенном, истинном смысле этого слова. Происходя из богатой семьи, он сам жил более чем скромно, порой и вовсе бедно, голодно, держа всегда кассу открытой для нуждающихся.

Глава IX

15 ИЮЛЯ И ПОСЛЕ НЕГО

В начале июля окончательно решили кончить работу слезки и выступить с нападением. «Барин» привез нам после состоявшегося совещания в Москве распоряжение: нам с Дорой уезжать вон из города, непосредственным же участникам выбыть на день-два — кому куда, но чтобы утром 8-го вернуться обратно. Пятого или шестого июля утром я зашла на Жуковскую квартиру попрощаться с Дорой. Глаза ее сугубо заволклись печальной дымкой и ушли глубоко в себя. Она казалась подавленной большим, неисходным горем.

Укладывая свои вещи, она упавшим голосом промолвила: «Жестоко решили там, устранив меня от участия и высылая в самый опасный момент отсюда». Она делала догадки и предположения, что против ее участия был, наверное, один «барин» (Жорж). Это была правда, но не вся, что и побудило меня передать ей мнение Афанасия, касавшееся участия женщин, дабы смягчить тем ее неприязнь к «барину».

Задолго еще до окончания обследования путей выезда Плеве, за обедом,

перебирая различные способы борьбы с наименьшими жертвами, я высказала уверенность о возможности женского участия и даже неизбежности его. Афанасий очень решительно, весь пламенея, проговорил: «Мы, участники, почли бы за позор пускать женщин, когда в работе есть мужчины».

«Поэт», оставшийся на своем посту торговца вразнос, 6-го должен был ликвидировать свое дело и вечером ехать в Псков, а 8-го утром вернуться обратно и занять назначенную ему позицию.

Помнится, Афанасий передал мне просьбу, не помню, чью,— «барина» или самого «поэта»,— поехать с ним вместе и, пробыв во Пскове до вечера, проводить «поэта» обратно. Предстояла необходимость торопиться на свою квартиру на Лиговке и развести турысы на колесах со своей хозяйкой, дабы не бросился в глаза мой поспешный, беспричинный отъезд. Притом же оставался кое-какой товар: немного земляники, семечки, абрикосы. В глазах угловиков, дорожащих каждым грошом, это составляло целое богатство, и бросить его — значило породить толки не только среди квартирантов, но и целого двора. Перепродав свое имущество такой же уличной торговке, я предупредила хозяйку с радостным видом: «Сегодня на улице неожиданно встретила лакея своих бывших господ, вернулись из-за границы. Наказывали отыскать меня и привезти в имение к ним. Вот лакей и заедет вечером за мной». Мои сожители по углам и соседи все радовались моему благополучию, неожиданно свалившемуся, поздравляли, точно я выиграла по меньшей мере сто тысяч.

Среди огромной толпы народа, в вокзале 3-го класса, виднелась задумчиво ходившая фигура «поэта». По внешности он ничем не отличался от мелкого торговца или приказчика неважного магазина. Одежда не отличалась ни новизной, ни опрятностью: сильно потертый «спинджак», рваный сплюснутый картуз и высокие сапоги. Немного впалые щеки, большие серые глаза с тихим задумчивым выражением и какое-то разлитое во всех чертах поэтическое самоуглубление, по которому нетрудно было угадать с первого же взгляда человека тонкой

и хрупкой организации, существо «не от мира сего», пожалуй, немного странное.

Он радостно встретил меня, засуетился со своим узелком, не зная, как и куда его приспособить. В небольшом свертке находился весь оставшийся от торговли товар в виде папирос, спичек и проч. Устроившись по местам, «поэт» со смехом рассказал о своих мытарствах по части ликвидации товара. Он едва не угодил в охранку, заподозренный на толкучке в сбыте воровских вещей. По счастью, привез его свой извозчик, ручательство которого рассеяло подозрение толпы. Ночью «поэт» несколько раз подходил ко мне, озабоченный, справлялся, удобно ли, принес свое замызганное одеяло, составлявшее все его богатство.

Рано утром мы приехали в Псков, которого никто из нас ни разу не видел раньше. Город походил на большой грязный сарай, наполненный рухлядью, навозом и всякой живностью. Редкие встречные вяло, нехотя плелись, как будто бесцельно и бездельно. Избегая возбудить провинциальное любопытство, мы, купив хлеба и земляники на базаре, ушли далеко за город и там на лугу отдыхали довольно долго. «Поэт» тщательно обдумывал, в каком виде наилучше нести бомбу завтра, чтобы ловчее бросить ее и чтобы внешняя обертка как-нибудь не помешала разрыву. Купленная стеклянная банка не казалась ему вполне подходящей формой. Теперь уже не помнится, на чем остановился «поэт», кажется, он решил просто завернуть ее в виде узелка в бельевые тряпки.

Завтра, 8-го, «поэту» приходилось первому идти на приступ, и как ни стремился он бежать от мыслей об этом «завтра», но настроение удержаться было нелегко, оно сказывалось в словах, жестах. Глаза, эти милые большие, кроткие глаза «поэта» особенно вдумчиво, сосредоточенно задерживались подолгу на предметах, не замечая их, будто скользя по ним. Он заглядывал назад на пройденную жизнь, восторженно и с трогательной нежностью говорил о близких ему лицах, с которыми судьба крепко и навсегда связала его недолгую жизнь. Чувства глубочайшего восторга и благодарности, восхищения «поэт» пи-

тал к Савинкову, пробудившему в нем мысль и красоту подвига жизни.

Завтра он пойдет на верную смерть, но она не пугает, не страшит того, кто сознательно, без колебания, радостно отдает душу за страждущих и униженных.

— Наше место недолго останется пустым, наша смерть — почки грядущих цветов.

И не слышалось в его голосе ни малейшей натяжки, никакой надуманности. — «В последние минуты мои мысли будут принадлежать «бабушке», беспредельно мною любимой, уважаемой». Часа за три перед тем, как идти на вокзал, мы зашли в чайную близ станции. В ней не было ни одного посетителя. Попросив письменные принадлежности и заказав порцию чая, «поэт» долго и много писал матери в этом последнем своем прощальном письме. Через его душу, казалось, стремительно неслись самые разнообразные настроения, порой вызывавшие детскую улыбку ребенка при виде матери, то вдруг задумчивая грусть разливалась по его бледному лицу. Он весь ушел в эти воскресавшие в памяти образы дорогих, самых близких.

«Поэт» сам рисовал образ своей матери, как вечной труженицы, всю свою долгую жизнь работавшей (отец рано умер), чтобы вырастить детей, поставить их на ноги. Ей обязан он был своей любовью к прекрасному и той мечтательностью, о которой он говорит:

Мечтательный ум мне природа дала,
Отвагу и пыл к порыванью.
А ненависть в сердце так жизнь разожгла
И чуткость внушила к страданью...

В терроре он остался тем же нежным, задумчивым, с теми же грезами романтика и символиста, с чуткой, детской, без соринки, душой.

Близился вечер, «поэт» прервал письмо, чтобы идти на вокзал, и там все время посреди толкучки он был задумчив, молчалив, бессильный отрваться от охвативших его воспоминаний далеких детских лет, носившихся перед его глазами. Иногда, ничего не замечая около себя, он останавливался перед кем-нибудь, глухой ко всему окружающему.

В самый последний момент отхода поезда, увозившего «поэта» в Питер,

он подал мне письмо с просьбой задержать пока или бросить в огонь, смотря по последствиям; потом снял с шеи крест, вынул Евангелие и передал со словами: «Возьмите, это спутники моих тяжелых холуйских дней». Еще минута, и через окно вагона показалось вдохновенное лицо как бы отрешенного человека от всего житейского, преходящего*.

Глава X

В ВИЛЬНО И ВАРШАВЕ

Час спустя я ехала в Вильно, где на другой день предстояла условленная встреча с Азефом. В Вильно должна была получиться телеграмма

* Дальнейшая судьба Ив. Плат. такова: в 1905 г. в Москве, выследив вместе с Куликовским выезды Сергея, 2 февраля И. П. Каляев один вышел на тот путь, по которому ездил генерал-губернатор Москвы. Был сильный мороз, поднималась вьюга; в 9 часов показалась карета, и Каляев узнал знакомую ему карету, кучера и бросился наперерез экипажу. Он поднял уже руку, чтобы бросить снаряд, но внутри кареты заметил вдруг, кроме князя, его жену Елизавету Федоровну и двух детей Павла — Марию и Дмитрия. Иван Платонович опустил уже поднятую бомбу и отошел. Карета остановилась у подъезда Большого театра. Каляев сказал товарищу: «Разве можно убивать детей?» Он предложил на общее решение Б. О. вопрос, вправе ли организация, убивая князя, убитых также жену и детей? Организация высказалась, что она не считает себя вправе поступить иначе, как поступил Каляев.

4 февраля И. П. Каляев один вышел на тот путь, по которому ездил Сергей. Определенный час проезда прошел, и И. П. направился было уже домой, когда слышался топот мчавшихся лошадей — то была карета Сергея.

У здания Суда, на расстоянии четырех шагов, с разбегу, Каляев бросил бомбу в карету. Раненный сам, он без сопротивления отдался в руки полиции. Когда его вели, он кричал: «Долой проклятого царя, долой правительство, да здравствует партия с. р.». Его посадили в Якиманскую часть, но вскоре перевезли в Пугачевскую башню²⁴, куда через несколько дней явилась к И. П. жена убитого Сергея.

Об этой встрече Каляев писал: «Мы смотрели друг на друга с некоторым мистическим чувством, как двое смертных, которые остались в живых. Я — случайно, она по воле организации, по моей воле, так как организация и я обдуманно стремились избежать излишнего кровопролития. И я глядел на вел. княгиню, но не мог не видеть на ее лице благодарности, если не ко мне, то во всяком случае к судьбе за то, что она не погибла».

Это убийство было обвинительным актом против царствующего дома. «Я исполнил только свой долг перед родиной, — говорил Каляев на суде, — и вижу пробуждение и возрождение к новой жизни трудовой России».

10 мая Иван Платонович был казнен в Шлиссельбургской крепости.

при удаче оконченного дела или приезд самого Жоржа с неблагоприятными вестями. Наутро, выйдя пораньше из гостиницы, я пошла прежде всего отыскать сад, назначенный для встречи с Азефом, и побродить по незнакомому городу. Старый город, с кривыми, узкими улицами, до такой степени узкими, что шедшие по разным сторонам улицы могли бы пожать руки друг другу. В такой узкой темной щели дома походили на осиные гнезда, с такими же маленькими, как в улье, ячейками, открытыми прямо на улицу, и давали возможность видеть густоту населения каждого гнезда и все, что там совершалось.

Трудно передать впечатление от этого кишашего, копошащегося муравейника. Такой ужасающей нищеты, убожества, грязи в таком объеме редко можно было видеть. Отец, еврей, бил молотком по дребезжащему листу жести среди косматой кучи детей. Здесь же распатланная мать на таганце поджаривала детям «фриштек». Трезвон и запах из каждой конуры наполняли всю узкую улицу. Впрочем, как говорил один остроумный еврей, в каждой семье были ценности: перина, сальный лапсердак и талес. Чтобы хорошо согреться, обитатели этих улиц как бы жались ближе друг к другу спинами и таким образом защищали себя от холода.

Возвратившись от этой кошмарной действительности в сад, я скоро заметила идущего мне навстречу Азефа. Он казался сильно взволнованным, его глаза бегали еще больше...

— «Условленной телеграммы нет,— сказал он хмуро, опасливо поглядывая кругом,— значит, полная неудача или провал. Два раза был на станции, зайду еще раз,— вяло процедил он.— Завтра с приездом «барина» все разъяснится».

Ночью не спалось; мрачные думы, как черные вороны, отгоняли сон. Утром поскорее хотелось узнать, тянуло в сад, навстречу едущему из Питера.

В широкой аллее ботанического сада, густо набитой публикой к двенадцати часам дня, долго пришлось толкаться, всматриваясь в толпу, и я уже сомневалась возможности увидеть в этом народном сборище знакомое лицо, когда кто-то вдруг сзади тяжело положил мне руку на плечо. Не «барина», а лицо, залитое горькой улыб-

кой и смущением, Афанасия увидела я.

— «Вы сердитесь?» — было его первое слово.— «Что вижу вас живого?.. За что же?» — «Опять неудача,— глухо выговорил он,— еще отяжка по моей вине».— И он, облегчая свою тяжесть, камнем лежавшую у него на сердце, рассказывал подробно, пока мы шли в другой сад, каким образом они перепутали место свидания и упустили Плева.— «Все-таки они нас не проглотили еще, в следующий раз не упустим»,— уверенно и твердо вслух думал Афанасий.

Азеф, слушая доклад Афанасия, серьезничал, крутил головой, нервно передергивал плечами, вытягивая сжатые губы, и выражал особое недовольствие, что «барин» сам не явился, и опять, снова и снова, спрашивал: «Вы надеетесь на 15?..», входил с расспросами о самых незначительных подробностях.

На другой день в Вильно приехали остальные участники, которые оставались здесь до 14-го. Жили они в разных местах, не зная, кто где живет. Каждый день сходились в очень красивом, густом Гедиминовском саду, расположенном по склонам горы. На самой вершине сохранились массивные развалины замка того же названия. Хорошая погода позволяла всем оставаться в этом саду почти целый день, и туда же неизменно являлся и Афанасий, перегруженный покупками на обед, живой, бодрый, для всех желанный. Эта временная балаганная жизнь накануне уже витавшей над головою каждого гибели дружила всех в одну семью, в крестных братьев.

Обсуждались сообща и порознь все могущие встретиться случайности; желательно было предугадать, предусмотреть прискорбные ошибки; самая точная инструкция вырабатывалась для каждого участника в деле; исправлялось и договаривалось упущенное другим, и не было ни обиды, ни раздражения. Там впервые появился между работавшими уже ранее юный, худенький, без признаков растительности на лице, тщательно одетый Сикорский²⁵. Присутствие столь юного хлопца в серьезном деле не вполне было натурально. Говорил он очень плохо по-русски, прибавляя почти к каждому слову «этта», видимо, вследствие малого запаса слов в его распо-

ряжении. Это был симпатичный юнец, и только. Азеф тщательно осматривал его со всех концов, как обнюхивает торговец доброкачественность товара. Почти половина присутствующих была против участия Сикорского, у которого вряд ли имелось надлежащее представление о всех грядущих последствиях. Азеф как будто был сам того же мнения, но, однако, в конце концов заметил: «Его роль второстепенная, наверняка останется цел».

Там же, на Гедиминовской горе, собор, в присутствии всех работников, был изменен план выступления. Назначенный первым метальщиком «поэт» передвинулся на место Сазонова (Афанасия). Последний, как более ловкий, сильный и находчивый, стал первым метальщиком и самым серьезным, ответственным лицом этой группы; от удачно брошенного им снаряда спасенными оставались все остальные участники. Афанасий по окончательном решении порядка выступления тотчас же уехал к оставшимся в Петербурге «Павлу» (Швейцеру) и «барину». Там втроем они окончательно должны были, обсудивши всё полностью, утвердить виленскую комбинацию.

За день до отъезда участников в Питер Азеф, знавший отлично все рестораны, сады и окрестности города, предложил наутро собраться подальше от города. В прекрасном большом сосновом лесу сошлись после обеда прибывшие, пришел и Азеф. Обычно неразговорчивый, на этот раз он проявлял преувеличенную речистость, внимание, непритворную сердечность. Подолгу, уклоняясь от компании, в отдельности с каждым он вел беседу, давал указания, спрашивая, нет ли желания кому чего передать, рекомендовать защитника и т. д.

Утомленные к вечеру большой прогулкой и напряженными думами о завтрашнем дне, мы медленно возвращались в город. Азеф посоветовал всем зайти в какой-нибудь ресторан выпить чаю. Но рестораны не встречались, сильно вечерело, и мы вошли в первый попавшийся невзрачный не то трактир, не то кабак с довольно пакостным видом. Заспанная, вялая прислуга с трудом поняла, чего хотят поздние посетители. В маленькой, тускло освещенной комнатке сидели задумчивые обреченные, перекидыва-

ясь ничего не значащими словами. Один Азеф казался спокойным, внимательным, преувеличенно ласковым.

Я ушла раньше всех одна, но через пять минут меня нагнал Азеф, говоря, что я иду неправильно, и предложил проводить до квартиры. По дороге разговор возобновился о Сикорском, и снова он ответил, как и раньше: «Бояться за него нечего, роль его второстепенная, маленькая».

Недалеко от моей квартиры он указал гостиницу, в которой жил. Мы прошли мимо парадного подъезда, неосвещенного, с плотно запертой дверью, без заметного какого-либо следа жизни, какой-либо человеческой души. Потом Азеф говорил, что при нашем проходе мимо гостиницы у двери стояла филерская фигура, следившая за нами.

При прощании Азеф сказал, что он возвращается к оставшимся еще посидеть вместе, сократить им эту ночь, а завтра утром он едет в Варшаву, куда и мне было предложено передвинуться. Условившись, в каком месте встретиться в Варшаве, он пошел назад.

Еще из дней ранней юности, по какой-то непонятной причине, моя память сохранила самый восторженный отзыв нашей начальницы и яркие рассказы ее детям о Варшаве, о ее прекрасных садах.

Поэтому, прибыв через день туда, очень хотелось осмотреть весь город. Путь к действительно красивым садам и паркам легко было отыскать, зато самый город представлялся сильно спутанными, измельченными улицами, улочками и мелюзгой-переулками. Поражала уличная отельная чистота, выдержка обывателя, деликатность прислуги. Сады с раннего утра до позднего вечера переполнялись самой разноклассной публикой, почти сплошь занятой или чтением, или ручной работой. Масса детворы играла сама, не мешая матери или бонне отдаваться чтению или вышиванию, изредка поднятием глаз убеждавшейся, что ребенок цел и невредим.

14 июля, не припомню сейчас где, произошла встреча с Азефом, в роскошном ресторане, в саду. Занявши столик, я с любопытством осматривалась кругом, как самая настоящая деревенщина. Обстановка, люди, боль-

шой оркестр, наполовину состоявший из барышень, давно не виданное разнообразие лиц, пестрота костюмов отвлекали все внимание. Незаметно бежало время, и замедление Азефа нимало не тревожило меня. Внезапно он откуда-то вырос и занял место около меня, у стола, начав объяснять свое опоздание. В этом ресторане шпики свили свои гнезда; они, кажется, таки заметили его при входе, и потому он вынужден был прибегнуть к маленькой хитрости; пригласивши трех барышень из оркестра, он с ними немного кутнул, вон там, будучи скрытым, но все видя. Барышни-немки, прекрасные девушки, сильно жаловались на своего хозяина, жестоко их эксплуатировавшего, скверно содержавшего и т. д. Азеф советовал им поднять бунт, бороться с хозяином, а на вопрос, какими средствами, порекомендовал на первый раз хотя бы путем гласности, путем печати.

— «Кажется,— рассказывал он, загадочно и хитро улыбаясь,— они приняли меня за литератора, просили помочь им своим знанием, своей умелостью».

Простота его передачи, самообладание, ловкость подкупали донельзя, хотя чуть-чуть зерно сомнения закрадывалось, и невольно глаза разыскивали тех многочисленных шпииков, про которых так правдиво говорил Азеф. Куда же они сейчас скрылись? Не есть ли эти агенты плод его чрезмерной боязни, опасливости? * Мы недолго оставались в ресторане. Перед уходом Азеф спросил, верю ли я в завтрашний успех. Прощаясь, он с тревогой в голосе сказал: «Что-то нас ждет завтра?»

Весь этот день погода стояла зачаровывающая, не хотелось идти в гостиницу, тянуло в сад, на люди, беспокойная тревога сверлила голову. Да, «что день грядущий нам готовит?»... Мысль уперлась на одном пункте, чувствовалось ощущение какой-то жуткости и неизъяснимой печали... сна не было. На другой день, 15-го утром, на Маршалковской ул. Азеф встретил меня тем же вопросом. Мы пошли с ним все прямо, пока не вышли за город. Идем медленно, тихо, перекидываясь редкими, малозна-

* По сообщению М. Бакая, за Азефом «Виноградовым» в это время действительно следили филеры Варшавского охр. отд.

чительными словами. Дорогой Азеф опять со всех сторон, детально разбирает, правильно ли организовано нападение, все ли выдержат свою роль до конца, не оплошает ли кто? — «Вот Сикорский беспокоит меня, справится ли он?» — За городом, на краю широкой шоссейной дороги, затененной огромными, с пышной зеленью, деревьями, мы делаем привал для отдыха, и тут Азеф поинтересовался моим мнением о «барине» (Савинкове) и о новых, иных, чем мы — прежние, не похожих на нас работников. Потом он долго и распространенно стал передавать про съезд в Москве, на котором был он, Савинков, Егор Сазонов и «Павло» (Швейцер). На этом съезде решался вопрос — кому выходить на Плеве, в каком порядке и проч. Савинков внес там предложение Доры, просьбу ее допустить совместно с другими, а пожалуй, буде найдут ее способной, предоставить ей первое место при выступлении. Большинство присутствующих на съезде ничего против участия Доры, по существу, не имело, — «если хочет, почему бы нет», — заметил Павел. Очень настойчиво и упорно против высказывался Савинков, и это горячее противодействие, видимо, не было приятно ни Азефу, ни Павлу. — «Почему же, — в свою очередь, спросила я, — Савинков отклонил предложение Доры: он опасается за ее слабость, неловкость, боится, наконец, неудачливости?»

— «Кто его знает, — с едва заметной презрительной насмешкой в глазах ответил он, — на Дору можно положиться вполне: она девушка умная, находчивая, быстро соображает. Савинков убедительного для нас ничего не говорил, только под конец, как наисильнейший аргумент против допущения Доры, было высказано им то, что его мать ему никогда бы не простила, если бы мужчины переуступили женщинам те обязанности, какие лежат на них. — Вы понимаете, конечно, разве это убедительный довод? Ведь Дора же сама просится». Среди этого разговора Азеф, подавляемый как будто неотвязной мыслью, несколько раз восклицал: как-то там теперь?

К часу кончится проезд Плеве, телеграф разнесет всюду весть, если удачно, если нет — участники дадут знать о постигшей их неудаче. Мы на-

правляемся в город. На Маршалковской, недалеко от Венского вокзала, навстречу к нам, выкрикивая что-то по-польски, звонко, четко, бежали мальчишки с телеграммами. Азеф стремительно выхватил у малыша один экземпляр, прочитал вслух: «Брошена бомба в карету министра». И только! — «Брошена бомба, — как-то растерянно, смущенно повторял Азеф. — Неужели неудача?» Торопливо двигаемся дальше. Еще несколько домов — опять неслись газетчики с какими-то непонятными новыми словами. Азеф рванул дрожащими руками новую телеграмму «Zamordowano Plewego», громко читал он, и вдруг он осунулся, опустив свои вислые руки вдоль тела. — «У меня поясница отнялась», — объяснил он. Zamordowano, Zamordowano Plewego!!!

Громче и чаще выкрикивались эти слова, разносимые, подобно пущенным пушинкам по ветру, по всем улицам, закоулкам, поднимались ввысь и звучали как пасхальные колокола в воздухе. Все наполнилось одним этим звуком, вытеснившим всякие другие. Люди торопились куда-то, другие спешили в рестораны, в кафе с телеграммами в руках или с этими черными словами на языке, с выражением неудержимой радости на лицах. Во всех витринах магазинов через пять минут вместо товара разостлались большие белые листы бумаги с одной черной, крупной, режущей глаза строчкой из двух слов: «Zamordowano Plewego».

Азеф внезапно остановился и, обращаясь ко мне, спросил: «Что же значит zamordowano? Убит или только ранен?»

Какое-то затмение притупило способность понять смысл этого слова. На предложение зайти в любой магазин, спросить точный перевод этого слова он запротестовал, настоятельно требуя не обращаться ни к кому. «Сейчас я поеду в какое-нибудь правительственное учреждение, хоть в «Варшавский дневник», и там узнаю все подробности. Подождите меня вот здесь». Он уехал. Со стороны Азефа такая излишняя осторожность казалась уже ничем не объяснимым пересолом, это граничило с простой трусостью.

Я зашла в магазин обуви, хозяин которого, к счастью, говорил, хотя и мало, и дурно, по-русски. На мой воп-

рос, что значат выкрикиваемые на улице слова и по какому случаю такое торопливое движение, он, приняв меня за самую простую провинциалку, совсем просто ответил: «Это убили министра Плеве, zamordowano — значит «убит». А убили его социалисты... такие люди есть. Вы, верно, не знаете, что значит министр?» — и он начал сложно, беспорядочно определять это звание, сам не находя подходящих слов. Я делаю утвердительные кивки головой, что, мол, все поняла. Простой вид, мещанский костюм действуют располагающе, не возбуждая ни малейшего подозрения.

Часа полтора спустя вернулся Азеф... Он ходил в банк, потом в одну редакцию. «Дело сделано чисто, завтра приедет сюда Савинков, — быстро, на ходу, передавал он, — явка назначена до 12 часов дня в ресторане, а в 2 часа на Уяздовской аллее. Запомните, пожалуйста. К 12 часам я буду в ресторане, необходимо купить вам подходящий костюм, ресторан первоклассный». Передавая разные поручения, просьбы повидать «Павла», сказать тому то-то и то-то, он страшно торопился, точно собравшись в дорогу.

На другой день к 12 часам мои ожидания были напрасны: Азеф не пришел. Необходимо было торопиться в Уяздовскую аллею встретить Савинкова. Проблуждавши без толку по аллее изрядное время, я уже решила вернуться домой, когда неожиданно заметила издали знакомую фигуру. Совсем уже близко глянул на меня человек странный, почти незнакомый. Охваченная сомнением, не ошибаюсь ли я, я запнулась, боясь сделать непоправимую ошибку.

Лицо это было и то, и не то, как местность после наводнения; оно отражало не пережитый еще ужас, наполнявший душу Савинкова. Нужно было внимательно и напряженно всмотреться в мертвенно бледные черты, чтобы всякое сомнение исчезло.

Мы стояли с Савинковым как бы на краю засыпанной могилы, и он прерывающимся голосом рассказывал конец нашего дела, последние, как мы думали тогда, минуты жизни нашего брата Афанасия...

Тут же Савинков сообщил, что Азеф спешно уехал за границу, заметив за собою явную слезку.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 марта 1881 года
(Доклад, читанный в Музее Революции
1 марта 1922 г.)

1. 5 февраля 1880 г. произошел взрыв в Зимнем дворце, в результате которого погибло одиннадцать и ранено пятьдесят шесть человек — в основном нижние чины лейб-гвардии Финляндского полка. Никто из членов царской семьи не пострадал. Взрыв произвел Степан Николаевич Халтурин (1856—1882), руководимый Исполнительным комитетом партии «Народная воля».

2. Желябов Андрей Иванович (1850—1881), выдающийся революционер-народник, один из создателей и руководителей партии «Народная воля», организатор ряда покушений на Александра II, повешен по приговору суда над первомайцами.

3. Кобозев Е. Е., настоящая фамилия — Богданович Юрий Николаевич (1849—1888), участник хождения в народ, член Исполнительного комитета «Народной воли», хозяин квартиры — «сырной лавки», из которой производился подкуп под Малой Садовой для устройства взрыва при проезде Александра II. Умер в Шлиссельбургской крепости.

«Жена» Кобозева, Якимова Анна Васильевна (1856—1942), член Исполнительного комитета «Народной воли».

4. Михайлов Тимофей Михайлович (1859—1881), рабочий, народоволец, осужден по процессу первомайцев, повешен 3 апреля 1881 г.

5. Арсенал — оружейный завод, расположенный на Выборгской стороне.

6. Пресняков Андрей Корнеевич (1856—1880), рабочий, агент Исполнительного комитета партии «Народная воля», убил предателя Н. А. Шарашкина и А. Я. Жаркова, при аресте оказал вооруженное сопротивление, повешен в Петропавловской крепости.

январе 1881 г. его арестовали и судили по «процессу 20-ти». Умер в Алексеевском рavelине Петропавловской крепости.

А. И. Желябов

(Воспоминания товарища по гимназии)

1. Тригопи Михаил Николаевич (1850—1917), член Исполнительного комитета партии «Народная воля», в 1882 г. осужден по «процессу 20-ти» и приговорен к двадцати годам каторги, которую отбывал в Алексеевском рavelине Петропавловской крепости и в Шлиссельбургской крепости.

2. Бершадский Сергей Александрович (1850—1896), историк права, профессор Петербургского университета.

3. *in cogrore (лат.)* — в полном составе, все без исключения.

4. Ярошенко С. П., талантливый профессор математики, был уволен из университета за то, что считался «слишком коллегиальным» человеком.

5. Профессор славянских законодательств Валтазар Васильевич Богишич допустил грубость со студентом. Во время сходки, посвященной «богишичевской истории», Желябов выступил с резкой речью, за что на один год был исключен из университета. По возвращении в 1872 г. в Одессу в университет принят не был.

6. Терская область, одна из административных единиц дореволюционной России, располагалась на северных склонах Кавказского хребта и в Прикавказье, входила в состав Кавказского наместничества, главный город Владикавказ. Ее территория разделена между Кабардинской и Северо-Осетинской АССР, Грозненской областью и Ставропольским краем.

К биографии

Н. В. Клеточникова

1. Клеточников Николай Васильевич (1847—1883), член партии «Народная воля», в 1879 г. по заданию народовольцев поступил на службу в III отделение Собственной его императорского величества канцелярии. При ликвидации III отделения в 1880 г. переведен на службу в Департамент полиции, где работал помощником делопроизводителя. Через его руки проходила вся переписка, связанная с политическим сыском. Ему удалось два года оберегать народовольцев от разгрома и обезвредить несколько сот тайных полицейских агентов. В

Справка о Н. И. Кибальчиче

1. Паозерский Михаил Федорович (1866— после 1926), писатель, публицист.

2. Кибальчич Николай Иванович (1853—1881), выдающийся революционер, член партий «Земля и воля» и «Народная воля», участник покушений на Александра II, казнен в числе пяти первомайцев.

3. Клировые ведомости (клир — совокупность всех духовных лиц какой-либо церкви) — рукописные книги, имевшиеся в каждой церкви. В них ежегодно записывались важнейшие сведения о служителях этой церкви и членах их семей.

**Памяти Петра Филипповича
Якубовича-Мельшина
(По поводу пятнадцатилетия
со дня его смерти)**

Пять писем П. Ф. Якубовича

1. Стародворский Николай Петрович (1863—1918), народоволец, осужден по «процессу 21-го», заключен в Шлиссельбургскую крепость в 1887 г., освобожден в 1905 г. по прошению о помиловании и с этого времени числился секретным агентом столичного Охранного отделения.

2. Шебакин Михаил Петрович (1857—1937), народоволец, перешел в «Молодую партию Народной воли», арестован в 1884 г., осужден по киевскому «процессу 12-ти», содержался в Шлиссельбургской крепости с 1884 по 1896 г.

3. Гриневский Игнатий Иоахимович (1856—1881), член партии «Народная воля», 1 марта 1881 г. убил Александра II и при этом смертельно ранил себя.

4. Рысаков Николай Иванович (1861—1881), народоволец, бросил первую бомбу 1 марта 1881 г. в Александра II, после ареста дал предательские показания против товарищей, осужден по процессу первомайцев, казнен 3 апреля 1881 г.

5. Лопатин Герман Александрович (1845—1918), друг К. Маркса и Ф. Энгельса, переводчик «Капитала», революционер, многократно арестовывался. В 1883—1884 гг. пытался возродить партию «Народная воля», арестован 6 октября 1884 г. и осужден по «процессу 21-го», с 1887 по 1905 г. содержался в Шлиссельбургской крепости.

6. Карауловы: Василий Андреевич (1854—1910), народоволец, осужден по «процессу 12-ти», в 1884—1896 гг. содержался в Шлиссельбургской крепости; Николай Андреевич, народоволец, существенной роли в партии не играл.

7. Усова Софья Ермолаевна, учительница, народоволка, активный работник «Общества помощи политическим ссыльным и заключенным», арестована по доносу Дегаева в начале января 1884 г., в административном порядке сослана в Сибирь.

8. Дегаев Сергей Петрович (1857—1920), народоволец, был завербован инспектором Петербургского охранного отделения Г. П. Судейкиным. Выдал многих революционеров. После разоблачения участвовал в убийстве Судейкина, за что отпущен народовольцами, окончил жизнь в США.

9. Попов Иван Иванович (1862—1942), народоволец, в 1884 г. арестован и сослан в Сибирь.

10. 22 марта 1889 г. произошла перестрелка между политическими ссыльными и охраной, в результате которой погибло шесть человек. Ссыльные протесовали против отправки их к месту ссылки зимой с уменьшенным количеством груза, что считалось равносильным убийству. Три зачинщика перестрелки казнены 8 августа 1889 г.

11. Кошачев Василий Петрович (1860—1915), народоволец, осужден по «процессу 21-го», за участие совместно со Стародворским и Дегаевым в убийстве Судейкина, заключен в Шлиссельбургскую крепость, где сошел с ума и в 1896 г. переведен в Казанскую психиатрическую лечебницу, из которой не вышел.

12. Елько Петр Андреевич (1861— после

1892), народоволец, осужден на 4 года по «процессу 21-го», дал предательские показания, за что был помилован.

13. Салова Неонила Михайловна (1860— после 1934), агент Исполнительного комитета «Народной воли», осуждена по «процессу 21-го», которую отбывала на Каре.

14. Френкель Яков Григорьевич (1863—1926), народоволец, по «процессу 21-го» оправдан.

15. Степурин Константин Алексеевич, отставной штаб-капитан, член Исполнительного комитета партии «Народная воля», покончил с собой в 1886 г. в Доме предварительного заключения.

16. Надсон Семен Яковлевич (1862—1887), поэт.

17. Спасович Владимир Дмитриевич (1829—1906), юрист, публицист.

18. Кара — самый страшный район Нерчинской категории, Читинская область.

19. Дейч Лев Григорьевич (1855—1941), народоволец, один из первых марксистов, меньшевик, после Октябрьской революции занимался историко-литературной работой.

20. Михайловский Николай Константинович (1842—1904), социолог, публицист, идеолог либерального народничества.

21. Гоц Михаил Рафаилович (1866—1906), член московских народнических кружков, арестован в 1887 г., в 1888 г. по высочайшему повелению выслан в Восточную Сибирь, участвовал в якутской драме 22 марта 1889 г., был тяжело ранен и предан военному суду. В 1889—1895 гг. находился в тюрьмах Восточной Сибири, в 1895 г. отправлен на поселение в Курган, в 1899 г. переехал в Одессу, с 1901 г. жил в Париже и Женеве. Один из основателей партии социалистов-революционеров.

22. Грабовский Павел Арсеньевич (1864—1902), украинский поэт, революционер.

23. Фигнер Ольга Николаевна (г. рожд. не уст. — 1919), в замужестве Флоровская, родная сестра известной народоволки В. Н. Фигнер, общественная деятельница.

24. Султанова Екатерина Павловна, рожденная Леткова (1856—1937), писательница, член комитета Высших женских курсов.

25. Зволянский Сергей Эрстович, в 1897—1902 гг. директор Департамента полиции.

26. Бехтерев Владимир Михайлович (1857—1927), выдающийся невропатолог и психиатр.

27. Южак Сергей Николаевич (1849—1910), публицист.

28. Горнфельд Аркадий Георгиевич (1867—1941), литературовед, критик, переводчик.

29. Бодлер Шарль (1821—1867), выдающийся французский поэт.

30. Толстой Дмитрий Андреевич (1823—1889), министр внутренних дел, один из наиболее реакционных царских администраторов Александра III.

31. Антонов Петр Леонтьевич (1859—1916), народоволец, после «процесса 21-го» до 1905 г. содержался в Шлиссельбургской крепости.

32. Иванов Сергей Андреевич (1859—1927), народоволец, после «процесса 21-го» до 1905 г. содержался в Шлиссельбургской крепости, после Октябрьской революции занимался литературной деятельностью.

33. Сухомлин Василий Иванович (1860—1938), народоволец, осужден по «процессу 21-го», наказание отбывал на Каре, в 1903 г. вернулся в Европейскую Россию, член партии социалистов-революционеров,

34. Сухомлина Анна Марковна, урожденная Гальперина, на Каре проживала добровольно.

35. Добрускина Генриета Николаевна (1862—1945), народоволка, после «процесса 21-го» находилась на Каре, в 1900 г. переселилась в Читгу, примкнула к социалистам-революционерам.

36. Михайлов Адриан Федорович (1853—1929), народник, участник землевольческих поселений, арестован в 1878 г., осужден в 1880 г. по процессу центра «Земли и воли», содержался на Каре.

37. Кирсанов Василий Иванович (1864—1912), народоволец, по «процессу 21-го» приговорен к четырехмесячному тюремному заключению.

**М. Е. Салтыков-Щедрин
в его переписке с Н. А. Некрасовым
(По неизданным материалам)**

1. Максимов Владислав Евгеньевич (1883—1955), псевдоним Евгеньев-Максимов, литературовед.

2. Анненков Павел Васильевич (1813—1887), критик, историк литературы, прозаик, мемуарист.

3. Дружинин Александр Васильевич (1824—1864), писатель, критик.

4. Елисеев Григорий Захарович (1821—1891), публицист, один из редакторов «Отечественных записок» и некрасовского «Современника», был близок к Н. Г. Чернышевскому, позже отошел от его радикальных взглядов.

5. Антонович Максим Алексеевич (1835—1918), критик, публицист, переводчик, философ, в начале 1860-х гг. был близок к организации «Земля и воля».

6. Краевский Андрей Александрович (1810—1889), журналист.

7. Панаева Авдотья Яковлевна (1820—1893), писательница, гражданская жена Н. А. Некрасова.

8. Шилов Алексей Алексеевич (1881—1942), историк, архивист, библиограф.

9. Арсеньев Константин Константинович (1837—1919), юрист, литературный критик, журналист, публицист, общественный деятель. Здесь имеется в виду книга: Салтыков-Щедрин (Лит.-обществ. характеристика). Спб., 1906.

10. Решетников Федор Михайлович (1841—1871), писатель.

11. Авецариус Василий Петрович (1839—1923), писатель.

12. Розанов Леонтий Иванович (1835—1890), публицист.

13. Жуковский Юлий Галактионович (1822—1907), экономист, публицист, управляющий Государственным банком, сенатор.

14. Тиблен Николай Львович (1825 — не установлен), прогрессивный издатель и типограф.

15. Жемчужников Алексей Михайлович (1821—1908), поэт-сатирик, один из авторов сочинений Козьмича Прутков.

16. Катков Михаил Никифорович (1818—1887), журналист, публицист, редактор реакционной газеты «Московские ведомости».

17. Ал. Ник. — Ераков Александр Николаевич (1817—1886), инженер путей сообщения, близкий знакомый Салтыкова; Петр. Ив. — Петр Иванович Сизеневский, врач Н. А. Некрасова; Анна Алексеевна — Анна Алексеевна Буткевич, рожденная Некрасова (1823—1882),

сестра и близкий друг Н. А. Некрасова, гражданская жена Еракова.

18. Унковский Алексей Михайлович (1828—1893), адвокат, либеральный деятель крестьянской реформы 1861 г., публицист.

19. Рождественский Иван Александрович (1849—1876), публицист, критик.

20. Лермонтов Геннадий Васильевич (1836—1900), мировой судья, «один из приверженцев Чернышевского».

21. Лавров Петр Лаврович (1823—1900), публицист, философ, теоретик народничества, выдающийся деятель русского освободительного движения.

22. Маркович Мария Александровна (1833—1907), рожденная Вилинская, писательница, псевдоним — Марко Вовчок.

23. Зайцев Варфоломей Александрович (1842—1882), критик, публицист, участник революционного движения.

24. Якоби Павел Иванович (1840—1905), врач, публицист, участник польского восстания 1864 г., эмигрант.

25. Яковлев Николай Васильевич (1891—1981), литературовед, исследователь творчества М. Е. Салтыкова-Щедрин и А. С. Пушкина, ученик Е. Е. Максимова.

26. См.: Архив села Карабихи: Письма Н. А. Некрасова и к Некрасову. М., 1916 (книга издана К. Ф. Некрасовым, племянником поэта).

27. Потанин Григорий Николаевич (1835—1920), путешественник, этнограф, публицист.

28. Горбунов Иван Федорович (1831—1895), писатель, актер, рассказчик бытовых сцен.

29. Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921), писатель.

30. Деммерт Николай Александрович (1835—1876), писатель, публицист.

31. Буренин Виктор Петрович (1841—1926), писатель, поэт-пародист, публицист, драматург, переводчик.

32. Зинаида Николаевна — Фекла Онисимовна Некрасова, рожденная Викторова (1851—1915), жена А. Н. Некрасова.

33. Статья не закончена.

«Контрабандисты»

1. Лесгафт Петр Францевич (1837—1909), крупный анатом, педагог и общественный деятель, в 1896 г. организовал Высшие научные курсы воспитательниц и руководительниц физического образования, на которых и занималась Е. С. Коц.

2. Туган-Барановский Михаил Иванович (1865—1919), крупный экономист, легальный марксист, один из основателей партии конституционных демократов, в 1905 г. выступил с критикой теории классов и классовой борьбы К. Маркса.

3. Вольное экономическое общество — старейшее сельскохозяйственное и экономическое общество в России и одно из старейших в Европе, учреждено в Петербурге в 1765 г. в целях «распространения в государстве полезных для земледелия и промышленности сведений». В конце XIX — начале XX века в нем проходили дебаты легальных марксистов.

4. Струве Петр Бернгардович (1870—1944), выдающийся экономист и публицист, легальный марксист.

5. *Alma mater* (лат.) — кормящая, питающая мать.

6. Бестужевские курсы — Высшие женские курсы — образованы в Петербурге в 1878 г., первым их главой был профессор К. Н. Бестужев-Рюмин. Курсы делились на факультеты: словесно-исторический (историко-филологический) и физико-математический. В 1900 г. на курсах занималось около тысячи человек.

7. Литовский замок — старая петербургская тюрьма, построенная в 1787 г., располагалась на территории, ограниченной Мойкой, ул. Декабристов, Мастерским переулком и Никольским каналом. Первое время в нем квартировали войска, в том числе и Литовский полк (откуда пошло название замка). В феврале 1917 г. Литовский замок был сожжен.

8. «Северный курьер» — ежедневная общественная, политическая и литературная газета, издавалась князем В. В. Барятинским и К. И. Арабажиным.

9. Крылов Виктор Александрович (1838—1906), драматург, поэт. Эфрон Савелий Константинович, драматург, псевдоним — Литвин.

10. Карабчевский Николай Платонович (1851—1925), известный судебный оратор.

11. Меншуткин Владимир Васильевич, столичный мировой судья 3-го участка.

12. Дорошечин Влас Михайлович (1864—1922), известный фельетонист.

13. Калмыков Владимир Адрианович (род. 1877), фельетонист, псевдоним В. Адич.

14. *Mise en scéne (франц.)* — постановка.

Дело Плеве (Из воспоминаний)

1. Ивановский Василий Семенович (1846—1911), врач, народник, неоднократно привлекался к дознаниям, арестовывался, в 1877 г. эмигрировал в Европу, в 1878 г. поселился в Румынии и жил там безвыездно.

2. Алексеев Петр Алексеевич (1849—1891), рабочий, член «Всероссийской социально-революционной организации», осужден по «процессу 50-ти», убит бандитами в Якутии.

3. Потапов Яков Семенович (1860 — после 1895), рабочий, за участие в Казанской демонстрации сослан в Сибирь. Казанская демонстрация состоялась 6 декабря 1876 г., считается первой рабочей революционной демонстрацией в России. После речи Г. В. Плеханова рабочие двинулись по Невскому, но вскоре были разогнаны полицией, арестовавшей тридцать два человека.

4. Окладский Иван Федорович (1858 — после 1926), народник, в 1880 г. по «процессу 16-ти» приговорен к смертной казни, помилован за согласие служить полиции, до Февральской революции состоял секретным агентом, в 1925 г. осужден Верховным судом РСФСР.

5. Обнорский Виктор Павлович (1852—1920), рабочий, один из организаторов «Северо-русского рабочего союза», арестован в 1879 г. и осужден на десять лет каторги.

6. Сазонов Егор Сергеевич (1879—1910), социалист-революционер, 15 июля 1904 г. взорвал экипаж, в котором ехал министр внутренних дел В. К. Плеве. Покончил с собой.

7. Каляев Иван Платонович (1877—1905), социалист-революционер, 4 февраля 1905 г. убит вел. кн. Сергея Александровича.

8. Бриллиант Дора Владимировна (1880—1906), активный член Боевой организации партии социалистов-революционеров, участник

подготовки нескольких покушений, умерла в тюрьме.

9. Швейцер Максимилиан Ильич (1881—1905), социалист-революционер, один из руководителей Боевой организации, участник нескольких покушений на крупных царских администраторов.

10. Тютчев Николай Сергеевич (1856—1924), член партии «Земля и воля», вел пропаганду среди рабочих, участвовал в подготовке покушений на Александра II, сослан в Сибирь, в 1902 г. вступил в партию социалистов-революционеров, после Октябрьской революции занимался литературной работой.

11. Перовская Софья Львовна (1853—1881), член Исполнительного комитета «Народной воли», руководитель покушения на Александра II 1 марта 1881 г., казнена в числе пяти первоартовцев 3 апреля 1881 г.

12. «Павловцы» — баптисты, сторонники учения Василия Гурьевича Павлова. За отказ от службы в армии подвергались судебным преследованиям и высылке в отдаленные районы России.

13. Цадик (*др.-евр.*) — праведник.

14. Кронштадтский Иоанн, в миру Иоанн Ильич Сергиев (1828—1909), крупный религиозный деятель, пользовался громадным авторитетом, причислен к лику святых.

15. Савинков Борис Викторович (1879—1925), крупный деятель партии социалистов-революционеров, один из руководителей Боевой организации.

16. Леонович Василий Викторович (1875 — после 1928), народовец, затем социалист-революционер.

17. Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1844—1934), один из лидеров партии социалистов-революционеров, ее прозвище — «бабушка».

18. Шукин двор находился на территории дома 59 по набережной реки Фонтанки, где ныне расположен Ленизнад.

19. Николаев Петр Федорович (1844—1910), арестован после выстрела Каракозова и приговорен к двенадцати годам каторги за участие в организации, ставившей своей целью убийство царя, почти всю жизнь провел на каторге и в ссылках.

20. Гершуни Григорий Андреевич (1870—1908), один из основателей партии социалистов-революционеров и ее Боевой организации.

21. Богданович Н. М., уфимский губернатор, убит 6 мая 1903 г.

22. Сергей Александрович, вел. кн. (1857—1905), генерал-адъютант, член Государственного совета, Московский генерал-губернатор, четвертый сын Александра II, дядя Николая II.

23. Больница Николая-Чудотворца, ныне Психиатрическая больница № 2, расположена на наб. р. Мойки, 126—128.

24. Пугачевская башня — место с самой строгой изоляцией заключенных в Бутырской тюрьме.

25. Сикорский Лейба Вульфович (1884—1927), участник покушения на Плеве, не сумел утопить не использованную им бомбу, был схвачен и судим вместе с Сазоновым.

26. Панкеев Константин Матвеевич (ок. 1860—1908), публицист, редактор.

27. Матюшенко Афанасий Николаевич (1879—1907), минный машинист на броненосце «Князь Потемкин-Таврический», восставшем 14 июня 1905 г. В 1903 г. вступил в РСДРП,

руководил восстанием на Потемкине, в 1907 г. вернулся из эмиграции в Россию, арестован и судом приговорен к смерти, повешен.

28. Молокане — одна из протестантских религиозных сект, возникшая в России в последней четверти XVIII в. Ее члены отказались от священников и церквей, перестали почитать иконы, мощи, кресты. В конце XIX в. большинство молокан перешло к баптистам и евангелистам.

29. Карпович Петр Владимирович (1874—1917), социалист-революционер, смертельно ранил министра просвещения Н. П. Боголепова, автора упомянутых правил.

30. Засулич Вера Ивановна (1849—1919), народница, в 1878 г. совершила покушение на петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова, распорядившегося высечь заключенного, не снявшего перед ним шапку.

31. Каин — партийная кличка эсера Михаила Соколова, он с Евгением Лозинским и другими молодыми социалистами-революционерами, группировавшимися около Брешко-Брешковской, в 1904 г. в Женеве образовали кружок приверженцев аграрного террора, как главного способа борьбы крестьян против помещиков. Из этого кружка сформировалась группа максималистов.

32. Шишко Леонид Эммануилович (1852—1910), историк, публицист, по «процессу 193-х» приговорен к десяти годам каторги, которую отбывал на Каре, в 1902 г. вступил в партию социалистов-революционеров.

33. Чернов Виктор Михайлович (1873—1952), один из организаторов партии социалистов-революционеров, ее лидер и теоретик.

34. Волховский (Волховской) Феликс Владимирович (1864—1914), народник, по «процессу 193-х» был сослан в Тобольскую губернию, в 1890 г. бежал за границу, в начале XX в. вступил в партию социалистов-революционеров.

35. Татаров Николай Юрьевич, член партии социалистов-революционеров, провокатор, после разоблачения убит в 1906 г.

36. Гапон Георгий Аполлонович (1870—1906), священник церкви Петербургской пересыльной тюрьмы, агент полиции, организатор «Собрания русских фабрично-заводских рабочих С.-Петербурга», возглавлял шествие рабочих к Зимнему дворцу 9 января 1905 г.

37. Рутенберг Петр Моисеевич (1879—1942), член партии социалистов-революционеров. 9 января 1905 г. помог Гапону скрыться от полиции. Узнав о его предательстве, организовал 28 марта 1906 г. над ним суд.

38. Леонтьева Татьяна Николаевна (умерла около 1908), дочь якутского губернатора, дальняя родственница Треповых, входила в Боевую организацию эсеров.

39. Владимир Александрович, вел. кн. (1847—1909), генерал-адъютант, главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа, руководил расстрелом рабочих 9 января 1905 г., родной дядя Николая II.

40. Булыгин Александр Григорьевич (1851—1919), статс-секретарь, член Государственного совета, министр внутренних дел с 20 января по 22 октября 1905 г.

41. Фриденсон Григорий Михайлович (1854—1912), член партии «Народная воля», осужден в 1882 г. по «процессу 20-ти» к десяти годам каторги.

42. Меблированные комнаты «Бристоль» находились в доме, на месте которого в 1908 г. построена гостиница «Астория» (ул. Герцена,

39). Швейцер занимал комнату № 27 с окнами, обращенными на Исаакиевский сквер. Взрыв произошел 26 февраля 1905 г. в 4 часа утра.

43. Дулебов Егор Олимпиаевич (1883—1908), социалист-революционер, участвовал в покушениях на Плеве, арестован 16 марта 1905 г.

44. Мякотин Виктор Александрович (1867—1937), историк и публицист, социалист-революционер.

45. Моисеенко Борис Васильевич (убит в 1919), член Боевой организации партии социалистов-революционеров, участник нескольких покушений.

46. Муравьев Николай Валерьянович (1850—1908), действительный тайный советник, в 1894—1905 гг. министр юстиции.

47. Волошенко Иннокентий Федорович (1848—1908), народник, кариец, муж автора воспоминаний.

48. Клейгельс Николай Васильевич, генерал-адъютант, генерал-лейтенант, варшавский обер-полицейстер, петербургский градоначальник, киевский генерал-губернатор.

Ростовская коммуна 1905 года

1. Поалей-Цион — немногочисленная буржуазная еврейская партия, существовавшая на Украине и в Белоруссии.

Суд над первым Советом рабочих депутатов (Воспоминания прокурора)

1. Таганцев Николай Степанович (1843—1923), действительный тайный советник, член Государственного совета, сенатор, профессор криминалистики.

2. Du choc des opinions jaillit la verité (франц.). — Из столкновения мнений рождается истина.

3. Святловский Владимир Владимирович (1869—1927), революционер, известный историк.

4. Манифест был опубликован в «Известиях Совета рабочих депутатов». Приведем его начало: «Правительство на краю банкротства. Оно превратило страну в развалины и усеяло их трупами. Измученные и изголодавшиеся крестьяне не в состоянии платить подати. Правительство на народные деньги открыло кредит помещикам. <...>».

5. Urbi et orbi (лат.) — всем и каждому.

6. Веймарн — железнодорожная станция близ Кингисеппа.

7. Скиталец — псевдоним Петрова Степана Гавриловича (1869—1941), поэт, публицист.

8. Дубровин Александр Иванович (1855—1918), вождь черносотенцев, один из основателей и председатель Союза русского народа, редактор газеты «Русское знамя».

9. Булацель Павел Федорович (1867 — после 1927), публицист, присяжный поверенный, соратник Дубровина.

10. Марат Жан Поль (1744—1793), публицист, один из вождей Великой французской революции.

11. Рамишвили Исидор Иванович (родился в 1859), социал-демократ.

12. Муромцев Сергей Андреевич (1850—1910), публицист, юрист, профессор Московско-

го университета, один из основателей и лидеров кадетской партии, председатель I Государственной думы.

13. Павлов Владимир Петрович, генерал-лейтенант, главный военный прокурор, убит в 1906 г. эсером Н. Егоровым.

14. Селюк Николай Яковлевич, помощник присяжного поверенного, на процессе Совета рабочих депутатов значительной роли не играл. В 1908 г. он дал согласие числиться фиктивным редактором журнала «Минувшие годы», выходящего вместо закрытого журнала «Былое».

К юбилею отлучения Толстого

1. Кравчинский Сергей Михайлович (1851—1895), писатель, публицист, выдающийся революционер, член «Земли и воли», в 1878 г. убил шефа жандармов Н. В. Мезенцева, литературный псевдоним — Степняк.

2. Драго Николай Иванович (1852—1922), народник, член «Земли и воли».

3. Чайковский Николай Васильевич (1850—1926), выдающийся деятель русского освободительного движения, народник.

4. Фроленко Михаил Федорович (1848—1938), член Исполнительного комитета партии «Народная воля», в 1882 г. осужден по «процессу 20-ти», до 1905 г. содержался в Петропавловской крепости.

5. Армфельд Наталья Александровна, по мужу Комова (1848—1887), народница, умерла на Каре.

6. Мышкин Ипполит Никитич (1848—1885), выдающийся революционер-народник, многократно судим, расстрелян в Шлиссельбургской крепости.

7. Урусов Леонид Дмитриевич, князь (умер в 1885 г.), тульский вице-губернатор.

8. Бём Елизавета Меркурьевна (1843—1914), художница, иллюстрировала ряд книг Л. Н. Толстого.

«БЫЛОЕ»
Неизвестные номера журнала
КНИГА 2

Составитель
ЛУРЬЕ Феликс Моисеевич

Заведующий редакцией И. Ю. Куберский
Художник Л. А. Яценко
Художественный редактор А. К. Тимошевский
Младший редактор Е. Т. Смирнова
Технический редактор Л. П. Никитина
Корректор В. В. Безымянская

ИБ № 5478

Сдано в набор 22.03.91. Подписано к печати 06.11.91. Формат 70×108¹/₁₆. Бумага газетная. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 14,70. Усл. кр.-отг. 15,75. Уч.-изд. л. 17,09. Тираж 23 000 экз. Заказ № 743. Цена 1 р. 90 к.

Лениздат, 191023, Санкт-Петербург, Фонтанка, 59. Типография им. Володарского Лениздата, 191023, Санкт-Петербург, Фонтанка, 57.

Б95 **«Былое»:** Неизвестные номера журнала / Сост.:
Ф. М. Лурье. — Кн. 2. — Л.: Лениздат, 1991. —
165 с. — (Голоса революции).
ISBN 5-289-01021-1

Сборник продолжает начатую в 1990 году серию публикаций материалов из исторических журналов давних лет. Он состоит из № 2 (36) и № 3 (37) журнала «Былое» за 1926 год, подготовленных к печати, но не увидевших свет, так как издательство прекратило существование. В этих номерах «Былого» собраны интереснейшие материалы, посвященные истории освободительного движения в России, и среди них: воспоминания о народовольцах А. И. Желябове и Н. В. Клеточникове, воспоминания прокурора В. А. Бальца о суде над Петербургским Советом рабочих депутатов, П. С. Ивановской о Боевой организации эсеров, статьи о Николае II и военном министре В. А. Сухомяте, об Октябрьских днях 1917 года в Москве и другие публикации.

Б $\frac{0503020000-132}{M171(03)-91}$ 19—91

63.3(0)5

ИЗДАТЕЛЬСТВО „БЫЛОЕ“

Предполагаемое содержание 20-ой книги.

1. *Черты биографии В. Г. Короленко.* С. Д. Протопопова. 2. *К биографии П. И. Пестеля.* Сообщ. С. Я. Штрайха. 3. *Н. К. Михайловский в деле Каракозова.* Е. Е. Нолосова. 4. *Алония „Современника“.* В. Е. Евгеньевна-Максимова. 5. *Воспоминания о Некрасове.* Е. Жуковской. 6. *Печать в Алексеевском равелине.* П. Е. Щеголева. 7. *Литературные воспоминания.* А. Р. Кугеля. 8. *Григорий Распутин.* Из записок бывшего сановника и др.

Новые издания.

Из серии «Библиотека революционных мемуаров».

Денабрист М. И. Муравьев-Апостол. Воспоминания и письма. Предисловие и примечания С. Я. Штрайха. (Вышло из печати).

М. Ил. Михайлов. Записки (1861—1862). Редакция А. А. Шилова.

Денабрист А. М. Муравьев. Записки. Предисловие и примечания С. Я. Штрайха.

В. С. Панкратов. Жизнь в Шлссельбургской крепости (1884—1893).

Из серии «Историко-революционная библиотека».

В. И. Иохельсон и Р. М. Кантор. Геся Гельфман. Материалы для биографии и характеристики. (Вышло из печати).

В. П. Семенников. Новый текст „Путешествия“ Радищева. (Вышло из печати).

И. И. Лапшин. Философские взгляды Радищева.

Из серии «Библиотека социалистической мысли».

Франсис Бэкон. Новая Атлантида. Перевод, вступительная статья и примечания проф. С. Я. Лурье. (Вышло из печати).

Г. Г. Фихте. Замкнутое торговое государство. Пер. Э. Э. Эссена.

Из серии «Историческая библиотека».

С. Я. Лурье. Антисемитизм в древнем мире, попытки объяснения его в современной науке и действительные его причины

Е. В. Тарле. Печать при Наполеоне I. По неизданным материалам.

А. Н. Чеботаревская-Сологуб. Женщина-какануне Великой Французской Революции.

Былое литературы.

Материалы к истории жизни и творчества русских писателей XIX—XX вв.—Неизданные тексты и письма.

Печатаются вып. I и II.



1 р. 90 к. 1-96

ИЗДАТЕЛЬСТВО „БЫЛОЕ“

Ленинград, просп. Володарского (б. Литейный), д. 21, кв. 16. Тел. 574-82.

К юбилею декабрьского восстания 1825 г.

Содержание. ОТДЕЛ I Б. Д. Греков - Хозяин Бунта декабристов. Содержание выступления декабристов. А. Е. Чернов - Ответственное состояние России накануне послитники у декабристов. С. Н. Чернов - Мотивы реальной политики у декабристов. Н. Ф. Лавров - Диктатор 14-го декабря. Солдатские настроения 20-х годов. В. Шенников - Путь декабризма к 1825 г. В. Шенников - Замысел декабристов. Письмо Заметки

1929 г. XII



Удостоверение

Дано мне гражд. Шенеру Менделевичу ДЕВИНУ в том, что он состоит с 15 декабря 1925 г. помощником редактора журнала "Былое" и сокращен 10 декабря 1926 г. вследствие приостановки выхода журнала.

карте-
мы угл
и за
миссара
уялова



ЛЕНИНГРАД,
просп. Володарского, 21
Тел. 5-74-62
МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Мясницкая, 22
Тел. 1-11-00 и 4-78-02

„БЫЛОЕ“

Исторический журнал.

Издание возобновлено с 1 июля 1917 г.

Подписка на журнал временно не принимается. Номера журнала поступают в розничную продажу во всех книжных магазинах.

Адрес редакции и издательства «БЫЛОЕ»:
Петербург, Литейный пр., 21. Телеф. 26-69.
Московское отделение—Петровка, 7.

Редакция и контора открыты ежедневно от 10 до 12 утра; редакция принимает по пятницам от 4 до 6 час. дня.

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН
Издательского товарищества
„БЫЛОЕ“



№ 294